
МЕРСЕР

Картини
ПАРИЖА

II



academia



ФРАНЦУЗСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЛУИ-СЕБАСТЬЯН МЕРСЬЕ

1740—1814

А С А Д Е М И А

Москва—Ленинград

ЛУИ-СЕБАСТЬЯН МЕРСЬЕ

КАРТИНЫ ПАРИЖА

Перевод В. А. Барбашевой

Редакция и комментарии

Е. А. Гунста

ТОМ ВТОРОЙ

А С А Д Е М І А

1 9 3 6

LOUIS-SÉBASTIEN MERCIER

TABLEAU DE PARIS

1781

*Супер-обложка и переплет
Н. В. Кузьмина*

ТОМ ВТОРОЙ

Corruptio optimi pessima

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

206. Стряпчие. Судебные пристава

Если у вас в доме есть темное, грязное, зловонное место, заваленное всевозможными отбросами, то в нем обязательно заведутся мыши и крысы. Так, в тине и суетоке нашей юриспруденции появилась особая порода грызунов в лице стряпчих и судебных приставов.

Они чувствуют себя превосходно в темных закоулках крючкотворства, жиреют в лабиринтах судопроизводства, поневоле приходится за ними следовать и подчиняться их руководству.

Эти бумагомаратели покупают за деньги свои презренные должности, которые делают из них явных и привилегированных вампиров. Но так как корень зла лежит в нашем противоречивом и запутанном законодательстве, то искусный стряпчий смеется над бедой истца и крепко придерживается путаных старинных законов, столь для него выгодных.

Наше законодательство представляет собой груду загадок, почерпнутых наудачу из сочи-

нений тех или иных чужестранных законоведов. А когда обычаи и законы лишены ясности, нечего удивляться уродствам судопроизводства.

Войдите к какому-нибудь стряпчему в его канцелярию, неправильно называемую конторой. Восемь-десять юношей, восседая на жестких скамейках, с утра до вечера царапают гербовую бумагу. Великолепное занятие! Они переписывают *вызовы в суд, повестки, копии решений, прошения, заготавливают бумаги*. Что значит выражение: *заготавливать бумаги*? Так называется искусство удлинять слова и строчки, употреблять как можно больше бумаги, продавать эту исписанную вдоль и поперек бумагу несчастным истцам, затем составлять из всего этого *толстое дело*. А что такое *дело*? Это и есть курьезное собрание подобных чудовищных бумаг. Сколько же может стоить такое *толстое дело*? От семи до восьми тысяч франков, которые берут за то, чтобы только слегка разобратся в обстоятельствах тяжбы.

Но, по крайней мере, пользуется ли судья всей этой грудой исписанных бумаг? Никогда. В тех случаях, когда имеется докладчик, секретарь выписывает для него на отдельном листке краткое извлечение из всех этих бесконечных бумаг, и все доводы стряпчего остаются на дне мешка. Таким образом, весь этот бумажный потоп не будет играть никакой роли при разбирательстве данного дела, а судья увидит только точное или неточное *извлечение*, сделанное секретарем. Вот что называется *судебным следствием* у цивилизованного или якобы цивилизованного народа.

В канцелярии стряпчий окружен, как трофеями, всеми этими *делами*, возвышающимися грудями почти до самого потолка,—подобно тому, как какой-нибудь американский дикарь окружен в своей хижине горами шевелюр *скальпированных* им людей.

В Париже насчитывают около восьми сотен стряпчих (в Шатле* и в парламенте) и около пятисот судебных приставов,—и все это существует за счет чернил, потоком льющихся на гербовую бумагу.

Попробуйте сказать какому-нибудь судейскому, что в Европе существуют страны, где правосудие совершается без злополучного участия стряпчих; где расходы по ведению дела совсем ничтожны; где в вестибюле храма правосудия вас с трогательным вниманием выслушивают посредники и от всего сердца стараются мирно уладить дело, что им обычно и удается. Слушая вас, стряпчий пожмет плечами, позвонит в колокольчик и скажет явившемуся клерку: *Подготовляйте, раздувайте тяжбы! И помните, что философия—вещь опасная!*

Грабежи, практикуемые в пыльных канцеляриях, узаконены этими охотниками до взятки. Между собой они не ссорятся, они мирно делят третью часть наследств. *Они всегда в черном*,—говорил один крестьянин,—*а знаете ли почему? Потому что они ото всех получают наследства.*

Грабеж должен зайти уж очень далеко, чтобы сочли необходимым его пресечь. Стряпчие почти всегда отделяются тем, что во время разбирательства выслушивают несколько саркасти-

ческих замечаний от адвокатов, а от судей несколько угроз быть временно отрешенными от должности. Один судья сказал как-то особенно обнаглевшему стряпчему: *Господин такой-то, вы—мошенник.—У вас, сударь, всегда в запасе забавное словечко,*—ответил тот.

Некоторые стряпчие живут на широкую ногу; их конторы приносят им от сорока до пятидесяти тысяч франков в год. За ними всячески ухаживают адвокаты, чтобы получить побольше дел. По вечерам адвокаты играют в карты с женою стряпчего, уже распустившей на ночь волосы, и изо всех сил стараются угодить ей, чтобы выбор пал на них при раздаче особенно доходного дела, столь любезного *адвокатскому сословию*. Такое дело стоит того, чтобы немного пренебречь ораторским искусством и постараться угодить жене стряпчего.

Именно стряпчий выбирает адвоката. Истец знает только лавочку стряпчего, а так как дела начинаются с вызова в суд, то стряпчий, по необходимости, является зачинщиком всех тяжб; поэтому адвокаты слушаются его больше, чем аптекари—докторов.

Нужно пройти ряд долгих испытаний, чтобы быть в состоянии хорошо справляться с должностью стряпчего; подъем по этой крутой лестнице совершается медленно! Печальный период обучения в качестве клерка продолжается лет восемь-десять. Вот почему стряпчие располагают множеством дешевых клерков; даже старший клерк и тот получает очень небольшое жалованье, остальные же с утра до вечера марают бумагу за одно только жалкое пропитание.

Они живут надеждой и ютятся в мансардах в ожидании вакансии.

В небольших конторах наиболее ловкие из них стараются привлечь внимание жены стряпчего, чтобы смягчить тягость давящего их ярма; но в больших конторах хозяйка никогда не согласится обедать за одним столом с клерком.

Она забывает, что ее муж—ни кто иной, как бывший клерк, купивший себе должность. Глупец-стряпчий одобряет благородную гордость жены,—ее чванство, наряды, ее горничных, ее тон, ее жеманство. Он не желает знать никого кроме друзей жены, которые сулят ему богатую клиентуру.

Судебные пристава, идущие по пятам стряпчих, не менее их опасны и еще более алчны. Когда же брешь пробита, они начинают форменную осаду и поступают с тем или иным домом совершенно так же, как солдаты с городом, оставленным на разграбление. Посмотрите на коршуна, набросившегося на добычу и разрывающего ее на части своим черным и крючкообразным клювом,—это точное подобие алчной радости судебных приставов, когда их руки, вооруженные роковым пером, хватают мебель, чтобы отправить ее на публичные торги.

Эти же самые судебные пристава, которые, едва только им дадут волю, подобно прожорливой своре набрасываются на частных лиц, не осмеливаются послать повестки ни члену парламента, ни одному из должностных лиц; каждый старается свалить эту обязанность на другого. Когда судишься с вельможей, приходится прибегать к главному прокурору, чтобы

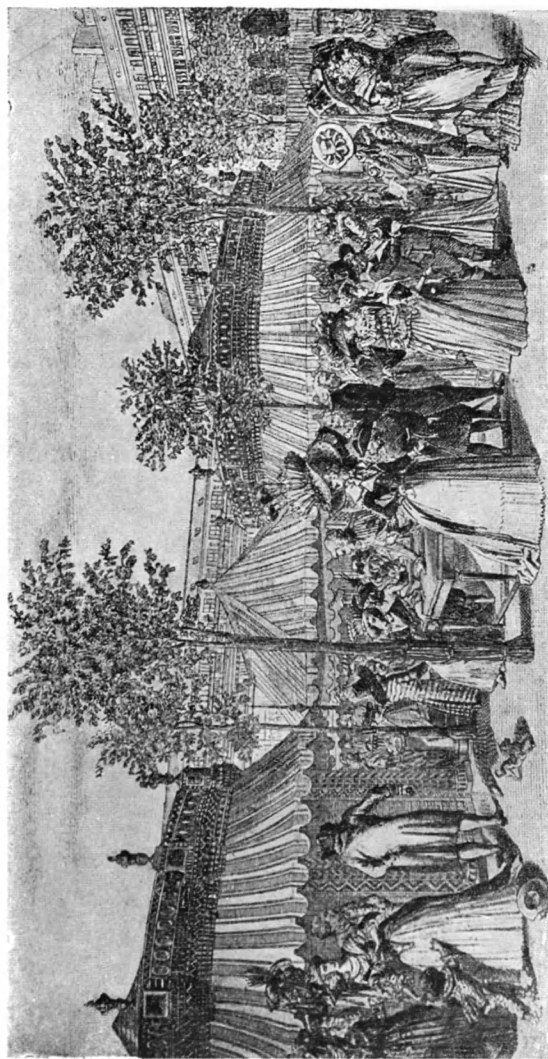
заставить судебного пристава исполнить его обязанность.

Таким образом, парижский буржуа, помимо всяких других обуз, должен еще вести борьбу с властным дворянством. Он встречается со сплоченным союзом, который незаметно становится все могущественнее и могущественнее.

Эти-то низшие служители правосудия, наводняющие его храм, и являются причиной того, что к нему приближаются теперь не иначе, как со страхом и трепетом. Благодаря этим людям судьи оказались окруженными всякими ловушками и неожиданностями, а медлительность судебных учреждений заставляет пострадавших отказываться от самых ценных своих прав, так как каждое законное ходатайство ведет за собой неизбежное разорение целого семейства.

Это зло, которое верховные судьи и не думают пресечь, терзает неимущее население столицы. Были примеры, когда бесчестные люди грозили судом тем, кого они же сами разорили, в случае если те не прекратят своих жалоб и ропота, и бедняки, желая сберечь хотя бы остатки своих средств, умолкали, боясь, что чудовищное крючкотворство отнимет у них последние крохи.

Стряпчие любят вести между собой шуточные разговоры, в которых двусмысленно звучат профессиональные словечки. Ничего нет безвкуснее и противнее насмешки этих дельцов; их грубые и плоские шутки к тому же и бесчеловечны, так как предметом насмешек являются люди, которых они сами же притесняют и разоряют.



Гуляние в Пале-Рояле
С гравюры Дебюкура

Нельзя сказать, что бесчестность является неотъемлемой принадлежностью этой профессии. Существуют и честные стряпчие, которые знакомят своих клиентов с подлинным правосудием, а не с его тенью. Они пользуются своим искусством для вызволения клиентов из лабиринта ошибок и гибельных положений. Многие облагораживают свою профессию добродетелью, которая способна украсить любую профессию. Они служат примером другим и заслуживают всеобщее уважение и доверие, но про них можно тоже сказать:

*Apparent rari nautes in gurgite vasto*¹.

Корпорации стряпчих тесно связаны с парламентом. Они послушны всем его движениям и горячо воспринимают все его идеи.

207. Базош*

Это корпорация клерков; здесь обсуждают они все свои дела. В прежние времена существовал король Базоша, повелитель базошского королевства, предоставлявший членам этой корпорации право производить суд. Но когда число клерков дошло до десяти тысяч, — Генрих III отменил этот королевский титул. «Генрих был очень труслив», — скажут иные; но нередко люди дают над собою такую власть словам, что

¹ Изредка только пловцы появляются в бездне огромной*.

последние заводят их гораздо дальше, чем можно было предположить.

Герб Базоша состоит из *трех чернильниц*. О, какой всепоглощающий поток устремляется, подобно черным водам Стикса, из этого красно-речивого орудия, все губя и уничтожая на своем пути! Как! Монтескьё, Руссо, Вольтер и Бюффон тоже обмакивали свои перья в чернильницу? Судебный пристав и вдохновенный писатель пользуются одним и тем же орудием!

208. Актеры

Актеры будут отлучены от церкви до тех пор, пока король, парламент и духовенство не пожелают снять с них анафему. Такова власть обычая, предрассудков, или, если хотите, непоследовательности. Что касается самих актеров, то они предпочитают потешаться над этим отлучением, чем стараться освободиться от него.

Девушка Клерон* составила докладную записку по этому вопросу. Адвокат, к которому она обратилась для ведения дела, был за свою предприимчивость и смелость немедленно исключен из адвокатского сословия, и возлюбленная Танкреда* была вынуждена подыскать другую службу своему защитнику, потерявшему место за старание помирить актрису с церковью. Адвокат вскоре поступил на сцену, но и там его постигла неудача: *отлучение* от церкви обрушилось на его голову так же, как и на голову девушки Клерон!

Некоторое время Клерон сердилась на публику. Актер или актриса никогда не должны выражать своего недовольства этому всемогущему властелину. Однажды, когда занавес был уже поднят и зала полна,—девица Клерон отказалась играть из-за какой-то закулисной ссоры. Партер резко выразил ей свое неодобрение, и ей пришлось провести ту ночь в Фор-л'Эвек*. Чтобы отомстить дерзкому партеру за грубые крики и за тюрьму, Клерон бросила театр, уверенная, что на другой же день ее на коленях будут умолять вернуться. Что же произошло? Публика ее позабыла, а у нее из-за отсутствия практики пропал талант. Оставшись в тени, вдали от рукоплесканий, она провела однообразные дни, которые могли бы быть полны жизни и славы, не сними она с себя одежду Мельпомены, которая ее устами говорила с большим достоинством.

Людовик XIV принимал на сцену только актеров высокого роста и с благородными чертами лица. Государственный театр, на сцене которого оживают герои древности, требует строгого подбора. Среди современных актеров слишком мало хорошо сложенных мужчин, что не может внушить иностранцу выгодное мнение о нашей любви к красоте. Когда он видит людей маленького роста, изображающих величественных и прекрасных исторических лиц, он, естественно, составляет себе крайне неблагоприятное представление о природных данных нашей нации и увозит это впечатление с собою на родину.

Тщеславие актеров маленького роста благо-

приятствует принятию на сцену еще более низкорослых людей, так как актеры воображают, что при таком сравнении они покажутся выше. Если эта мания уменьшать рост трагических персонажей продолжится в течение некоторого времени, то, в конце-концов, мы увидим в театре *лилипутов*, которые, желая изображать героев, будут только смешны.

Когда актер очень тонок, слаб или когда у него одни только кости, покрытые мертвенно-бледной кожей,—он даже при наличии известной доли ума тщетно будет стараться произвести благоприятное впечатление: усилия его слабой груди заставят зрителя страдать, и, чем решительнее и горделивее будут его жесты, тем он будет казаться ничтожнее. Его облик унижает величие Мельпомены. Дворец, окружающий актера на сцене, возвышенный язык его речей, мощные и бурные страсти, которые он силится изобразить,—все это давит, уничтожает его. Он настолько не соответствует окружающему, что зрение и слух не могут ему этого простить.

Александр Великий,—скажут мне в оправдание трагического карлика,—был небольшого роста и держал обычно голову склоненной на грудь. Видя его живым, в походной палатке, я бы восхищался им, какого бы маленького роста он ни был, даже если бы голова совсем свисла ему на плечо. Но после его смерти я требую, чтобы он был представлен высоким и статным, чтобы его внешность и движения находились в полной гармонии с образом завоевателя, имя которого наполняет собою мир.

Дюкло* играла однажды в *Горацци*. Произ-

неся проклятия, она, как известно, в безумном гневе уходит со сцены. И вот в этот момент актриса, запутавшись в длинном пюйефе, упала. Тотчас же актер, игравший Горация, вежливо снял одной рукой шляпу¹, а другою помог ей подняться; доведя ее до кулис, он горделивым жестом снова надел шляпу, выхватил шпагу и убил ее, как того требовала роль!

Подобные нелепости больше уже не повторяются, но во скольких еще реформах нуждается наш театр!

После ухода со сцены мадмуазель Дюмениль* и совершенно невероятной ссылки мадмуазель Сенваль²*, — трагедия сделалась тягучей, деревянной, однообразной, напыщенной; второстепенные актеры недостаточно внимательно относятся к тому, чтобы поддержать у зрителя иллюзии. Они допускают грубые ошибки как в отношении костюмов, так и в отношении понимания исполняемых ролей. На что мне нужны, например, кокетство наших театральных принцесс, их прически, сделанные по последней моде?! Глядя на них, я вижу только скучное мастерство парикмахера, но не вижу ни Клеопатры, ни Меровы, ни Аталии, ни Идаме.

Поменьше мишуры, побольше правды! Как не смеяться при виде театральных капельдинеров, когда они изображают римских сена-

¹ Трагические актеры всегда носили шляпы, украшенные перьями. Именно так исполняли во Франции в течение почти ста лет трагедии Корнеля и Расина.
Прим. автора.

² Изгнанной на основании королевского указа.
Прим. автора.

торов и выходят из-за кулис в красных мантиях докторов из *Мнимого больного**, в длинных завитых и напудренных париках и в довершение всего еще пытаются подражать походке наших молодых советников!

А когда зрители постоянно видят одни и те же жалкие, потемневшие от времени и местами дырявые декорации, когда они видят скифов и сарматов во дворце греческой архитектуры, а свирепого Замора* под римским портиком, — разве могут они не осуждать актеров, участвующих в антрепризе, за скупость, которая заставляет их пренебрегать аксессуарами, необходимыми для усиления впечатления?

Если бы у нас существовало два театра, которые соперничали и соревновались бы друг с другом, ставя одинаковые пьесы и взаимно служа друг другу постоянным объектом сравнений, то это вернуло бы сценическому искусству его благородство, достоинство и славу.

Все в один голос жалуются, что французская сцена лишилась прежнего блеска. Особенно пострадала трагедия, изуродованная до неузнаваемости. Отсюда следующие стихи:

Нет больше слез. Печаль уж не видна,
За деньги всюду нам потеха,
И та трагедия, что нам дана,
Лишь служит поводом для смеха.

209. Даровые спектакли

По торжественным дням, как то: дни *заклочения мира, рождения какого-нибудь принца* и т. п., актеры дают даровые спектакли. Такие

спектакли начинаются в полдень. Угольщики и рыночные торговки, по установившемуся обычаю, занимают оба яруса; угольщики—со стороны короля, торговки—со стороны королевы. Всего удивительнее то, что эта чернь рукоплещет именно там, где нужно, в красивых и даже в тонких местах; видимо, она чувствует их совершенно так же, как самое избранное общество¹.

Сколько поэтического чутья у простонародья, которое желающие могли бы изучить! По окончании пьесы—Мельпомена, Талия и Терпсихора подают руку носильщику, каменщику или чистильщику сапог. Превиль* и Бризар* танцуют с публичной девкой на тех самых подмостках, где играли *Поливекта* и *Аталию**. В такие дни фузелеры осматривательнее, а *голубая гвардия* держит себя более демократично. Актеры принимают участие в этих шумных танцах не из любви к народу, а по расчету; они очень желали бы от этого избавиться, но их участия требует служебный долг, и они очень искусно делают вид, что исполняют его весьма охотно.

По их примеру и бульварные театры: *Знаменитые королевские танцоры*, *Амбигю-Комик*, *Забавное разнообразие*—в подобных случаях тоже дают даровые представления и также пишут на афишах: *Перерыв в придворных представлениях—даровой спектакль в честь рождения...* и т. д., что очень огорчает и обижает

¹ Факт этот оспаривали многие, но я говорю на основании опыта: высокохудожественные места никогда не проходят без аплодисментов. *Прим. автора.*

королевских актеров, которые ничего так не боятся, как быть уподобленными ярмарочным актерам, совсем так же, как прокурор парламента боится, что его примут за судебного пристава.

В Париже отличают подмостки *бульварных театров* от подмостков *привилегированных*; те, на которых выступает *Жанно**, от тех, на которых играет толстяк *Дезессар**. Но это различие ускользает от народа, который ставит на одну доску и в один ряд всех, кто своим пением, декламацией или лаем доставляет ему удовольствие за деньги.

Один только *забавный осел** боя быков не удостоивается чести давать бесплатные представления и заслуживать тем самым придворные милости. Ему следовало бы подать об этом особое прошение.

210. Как объясняются хозяева с кучерами

Легко отличить кучера куртизанки от кучера председателя суда, кучера герцога от кучера финансиста, но если при выходе из театра вам захочется с точностью узнать, в какой квартал направился тот или другой экипаж, то прислушайтесь только к приказанию хозяина выездному лакею, или, лучше, к приказанию, которое передает лакей кучеру. Возвращаясь в Маре, говорят: *На квартиру!*, на остров Сен-Луи—*Домой!*, в Сен-Жерменское предместье—*Во дворец!*, а в предместье Сент-Оноре—*Пошел!* Внушительность этого последнего слова вы почувствуете без всяких комментариев.

У театрального подъезда всегда стоит присяжный *крикун*, который голосом Стентора* выкрикивает: *Карету господина маркиза! Карету ее сиятельства графини! Карету господина председателя!* Его страшный голос доходит до глубины харчевни, где пьют лакеи, до глубины биллиардной, где спорят и ссорятся кучера. Этот голос, наполняющий собой весь квартал, все покрывает, все поглощает — и смутный гул людской толпы, и лошадиный топот. Заслышав этот оклик, лакеи и кучера оставляют кружки пива и кии, снова берутся за вожжи и открывают дверцы карет.

Чтобы придать своей груди сверхчеловеческую силу, такой *крикун* не употребляет вина, а пьет только водку. Голос у него всегда хрипит, но эта охриплость придает ему особый, сильный, ужасающий звук, напоминающий звук набата. Крикун скоро издыхает от этого ремесла. На смену ему тотчас же является другой, который так же громко орет, так же пьет, и умирает так же, как и его предшественник, от водки, приобретаемой у бакалейных торговцев.

211. Речь, произнесенная в театре Комеди-Франсез перед началом дарового спектакля

Одному актеру, более искреннему, чем его товарищи, более проникнутому сознанием того, чем он обязан публике, и обладающему благородной скромностью, которая кое у кого еще сохранилась, — в прошлом году было поручено произнести обычное приветствие публике. По-

дойдя к рампе, он сделал глубокий поклон и, выпрямившись, проговорил скромным, но уверенным голосом:

«Милостивые государи! Два раза в год мы приносим вам скромную дань уважения, которое вам подобает; мы помним, что обязаны вам нравиться; мы ласкаем вас похвалами, чтобы заставить вас закрывать глаза на наши недостатки. Мы не всегда о них умалчиваем, ибо иные из них скрыть было бы невозможно. Но мы боимся вам признаться (совесть заставляет меня вам это открыть) в отсутствии среди нас согласия, в нежелании совершенствоваться, в нашей лени, нашей гордости и мелочных спорах, которые не дают нам объединиться,—как для того, чтобы ставить новые пьесы, которые разнообразили бы ваши развлечения, так и для того, чтобы лучше обставлять пьесы, которые уже обратили на себя ваше внимание. Мы, не краснея, удваиваем цены на места, зная, что вызванный этим ропот будет непродолжителен.

«Сегодня, чувствуя себя более склонными к искренности, мы исповедуемся перед вами в наших многочисленных грехах и умоляем наложить на нас наказание, какое вы сочтете наиболее полезным, наиболее способным заставить нас возненавидеть наши дурные привычки. Ваша чрезмерная снисходительность слишком глубоко внедрила их в наши сердца. Мы считаем, что если бы вы на время совершенно перестали посещать наш театр, то это нас встряхнуло бы, пробудило бы от той спячки, в которую мы погружены, и оживило бы в нас любовь к труду, которую совершенно

заглушили получаемые нами *двадцать тысяч ливров ежегодного дохода*. Ложи обогащают нас еще до поднятия занавеса. Как вы хотите, чтобы мы серьезно работали, если нам уже заранее платят так хорошо? Какое нам дело до искусства и до сочинителей, раз наши кошельки туго набиты? Мы не любим искусства, мы любим деньги, а вы, милостивые государи, даете их нам слишком много, чтобы мы могли хорошо вам служить.

«Сократите же наши доходы. Мы будем тогда с большим уважением относиться к искусству, будем внимательнее к авторам. Если наш театр будет некоторое время пустовать, нужда обучит нас секрету вам нравиться; вы будете в выигрыше потому, что мы постараемся, путем тщательного поставленных, интересных спектаклей, вновь приобрести то, что мы потеряли по собственной небрежности. Сами мы бессильны исправиться. Наша служба превратилась в беспрестанное получение доходов. Прибегните же, милостивые государи, прибегните к полезному наказанию, которое нам так необходимо: покиньте нас (*тут он обвел глазами залу*)! Пусть эти ложи и амфитеатр останутся несколько месяцев пустыми. Тогда наш собственный интерес, разбуженный задетым самолюбием, вернет нас к принципам, о которых мы совсем позабыли!»

212. Рукоплекания

Рукоплекания—это язык и ходячая монета парижан. Они иначе и не объясняются. Они

рукоплещут королеве и принцам, когда те появляются в ложе и грациозно раскланиваются; *рукоплещут* не менее громко при появлении на сцене актера; *рукоплещут* красивому стихотворению; насмешливо *рукоплещут*, когда пьеса их раздражает или надоедает; *рукоплещут* настойчиво, вызывая автора; *рукоплещут* Глюку и шумят так, что заглушают оркестр; в общественном саду они *рукоплещут* возвратившемуся герою; в часовне Французской академии *рукоплещут* какому-нибудь похвальному слову и даже надгробной речи,—странное новшество, которое, пожалуй, подчинит проповедников Евангелия одобрению или неодобрению присутствующих! Они *рукоплещут* как стихам, так и прозе на всех академических или литературных собраниях. Порой рукоплескания доходят до неистовства, а не так давно к ним стали присоединять еще слова: *браво, брависсимо!* При этом нередко топают ногами и стучат палками; получается невообразимый, оглушительный шум, смущающий благодушных и чувствительных людей, а нередко и самого виновника таких восторгов. Эта шумная привычка умаляет значение приговоров как партера, так и вообще всего театрального зала.

Кто-то посоветовал одному сочинителю, которого всегда освистывали, соорудить машину, которая подражала бы рукоплесканию трехсот-четырёхсот зрителей, и поручить распоряжаться ею какому-нибудь преданному, верному другу. Автору осталось бы только скупать билеты, как это делают некоторые его

товарищи,—результат получился бы тот же самый.

Когда же, наконец, парижанин перестанет злоупотреблять возможностью рукоплескать, перестанет легкомысленно прерывать красноречивую тираду и портить весь эффект! Поспешное, шумное одобрение вредит и актеру и поэту; им не дают кончить, и в адском шуме мгновенно улетучивается вся иллюзия. Зачем все это? Ни один народ в мире не болтает так много языком, сколько у нас *болтают руками!*

Но какая же форма одобрения может действительно льстить великому поэту и великому актеру? Та, когда в зале царит глубокое, сосредоточенное молчание; когда зритель смотрит с замиранием сердца, со слезами на глазах и не имеет ни сил, ни желания заняться *рукоплесканиями*; когда, всецело отдавшись во власть мощной иллюзии, он забывает и об актере и об искусстве. Тогда всё, что он видит на сцене, становится для него действительностью, неизгладимое впечатление глубоко западает в его душу, и очарование это будет длиться очень долго.

213. Любительские спектакли

Это очень распространенное развлечение; оно развивает память, учит хорошо говорить и держаться, обогащает голову хорошими стихами и требует наличия некоторых знаний. Такое времяпрепровождение несравненно лучше, чем посещение кофеен, глупая игра в карты или полнейшая праздность.

Каждый понимает, что актеры, играющие для собственного развлечения, не настолько опытни, чтобы удовлетворить человека с утонченным вкусом. Но с точки зрения удовольствий излишняя требовательность вредна. Что касается лично меня, то я замечал, что знакомая мне пьеса производит на меня впечатление новизны всякий раз, когда ее исполняют незнакомые мне актеры. Я не знаю ничего более снотворного, как присутствовать три-четыре раза на спектакле, исполняемом одними и теми же актерами.

Я прекрасно знаю, что на любительских спектаклях безжалостно искажают шедевры драматургов, коверкают арии лучших композиторов и что такие спектакли служат поводом к сценам, более забавным, чем те, которые представляют на сцене. Но что же из того? Тем лучше: зрителя одновременно веселят и сама пьеса и действующие лица. К тому же все намеки приобретают тут особую остроту, так как история всех актрис знакома каждому не хуже римской истории.

В известном кругу ставят комедию не из любви к ней самой, но ради тех отношений, которые создаются ролями. Какой влюбленный откажется играть *Оросмана**? Самая робкая красавица набирается храбрости, чтобы исполнить роль *Нанины**.

Я видел в Шантйи* комедию, в которой участвовали принц Конде* и герцогиня Бурбонская. В их игре было так много непосредственности, вкуса, естественности, что этот спектакль доставил мне большое удовольствие.

Право же, они могли бы быть актерами, если бы не родились принцами.

В Сент-Ассизе герцог Орлеанский тоже справляется с ролями свободно и живо. Наконец, сама французская королева участвовала в комедии в частных апартаментах Версальского дворца. Я не имел чести ее видеть, а потому ничего не могу сказать об ее игре.

Любовь к таким спектаклям распространена начиная с самых высших классов общества вплоть до самых низших. Нередко спектакли содействуют усовершенствованию образования, нередко исправляют недостаток воспитания: неправильное произношение и обороты речи, плохую манеру держаться. Но эта забава годится только для больших городов, так как предполагает наличие некоторой роскоши и не слишком строгие нравы. Избегайте зрелищ, маленькие и мудрые республики! Бойтесь театральных представлений! Это говорит вам драматург!

Из числа забавных анекдотов об актерах-любителях (все они обожают играть трагедии) я расскажу один, напечатанный в *Бабийяре**.

«Некий башмачник, с большим искусством обувавший ножки наших красавиц и заслуживший за это громкую известность, по воскресным дням всегда надевал котурны. Однажды он поссорился с декоратором. Последний должен был в пятом акте принести на сцену кинжал и положить его на алтарь. Из мести к башмачнику он заменил кинжал сапожным *резаком*. В пылу декламации башмачник, игравший принца, не заметил этого и в конце

пьесы, готовясь лишиться себя жизни, на глазах всей публики вместо кинжала схватил безобидный инструмент, которым зарабатывал себе пропитание!» Можно судить о взрыве хохота, вызванном развязкой, столь далекой от трагизма!

214. Колизей*

Мы не римляне; мы не захотели построить амфитеатр, который просуществовал бы восемнадцать столетий, мы не захотели собирать в нем двести тысяч зрителей. Это было бы не под силу парижской полиции. Мы решили только позаимствовать название одного из самых величественных памятников Рима, да и название-то изуродовали, так как великолепный римский памятник назывался *Колосеем*. Наш же *Колизей* через десять лет после постройки начинает уже превращаться в развалины. Им завладели кредиторы, но они не смогли сговориться. *Колизей* закрыли. Единственное, что было в нем хорошего,—это место, на котором он построен; лучшего нельзя себе и представить. Внутри этого караван-сарая все навевало печаль: унылые симфонии, жалкие или ребяческие танцы, сражения на грязной, тинистой воде, однообразные фейерверки, утомительная толчея или наводящая тоску пустыня—вот и все развлечения.

Им на смену явился *Китайский домик*—новый храм, приют полной праздности, отнимающий у драматических спектаклей целую толпу зрителей.



Ярмарочный певец
С гравюры Романа по рисунку Сека

Там каждый служит друг другу зрелищем: Адонисы с мертвенно-бледными лицами, Нарциссы, любующиеся на свои изображения в зеркалах, оперные героини, напевающие легонькие арии, длинноволосые фаты, Лаисы с высоко закинутыми головами,—их там целая толпа.

Когда сравниваешь все эти увеселительные сады с лондонскими очаровательными уголками подобного же типа, то убеждаешься, что французскому известен только один род удовольствий,—это на других посмотреть и себя показать. Вкусы англичанина живее, разнообразнее, глубже, он не живет тщеславием, чванством, украшениями, мишурой, не довольствуется топтаньем взад и вперед тысячу раз по одному и тому же месту. Он требует более содержательных развлечений. Разница в форме правления чувствуется в контрасте между холодным изяществом наших собраний и изобилием разнообразных и остроумных удовольствий, существующих в Англии.

Правда и то, что англичанин платит целую гинею, а мы раскошеляемся всего лишь на тридцать су. А затем еще: кто только не вмешивается в наши удовольствия, другими словами—кто только их не портит? Начальство руководит всеми нашими развлечениями; нам их устраивают, и сами мы не имеем права их изменять.

215. Сен-Жерменская ярмарка

Эта ярмарка никогда не обходится без балаганных представлений. Там следовало бы устроить более просторный въезд, тогда как

теперь существуют только одни узкие ворота, причем спуск к ярмарке очень крут. Экипажи и пешеходы беспорядочной толпой двигаются по этой опасной дорожке.

На ярмарке мужчину шести футов ростом, обутого в башмаки на высоких каблуках, в султанском головном уборе, выдают за великана. Бритый, ошипанный медведь, одетый в рубашку, жилет, кафтан и брюки, показывается в качестве совершенно необыкновенного, единственного в мире зверя. Деревянный колосс говорит: в животе у него спрятан четырехлетний мальчик. Потребуется не мало лет, чтоб глаз философа мог найти там что-нибудь маломальски достойное внимания. Там царит грубое шарлатанство. Нахальный паяц получает привилегию надувать публику; за эту привилегию он заплатил; кому какое дело, если он будет потом обзывать парижанина *болваном*. Всем известно простодушие парижанина, и все заранее знают, что поддельное чудо приводит его в такой же восторг, как и настоящее.

Залы, где ставят разные фарсы, почти всегда набиты битком. Пьесы, которые там исполняют,— непристойны или отвратительны, потому что все вещи, где есть хоть немного соли, остроумия и здравого смысла, запрещаются. Как! Здесь имеется оборудованный театр, целая толпа зрителей, и их заставляют слушать одни только глупости? Богатство нашего театра должно бы считаться народным достоянием, а между тем оно является исключительной собственностью королевских актеров!

Как! Дюгазон*—преемник Корнея?! Шеде-

вры, которые не смогло бы создать все золото монархов, останутся собственностью кучки актеров? Они не будут принадлежать каждому, кто только почувствует в себе стремление или талант показать миру все их красоты? Как! Авторы могли руководствоваться иной идеей, кроме желания повсюду распространить свои произведения и свою славу? Жертвовать искусством ради временной выгоды актера, ограничивать влияние гения, заставлять его пользоваться одними определенными актерами, делать его рабом инструмента, который он же воодушевляет? И автор должен отдавать свои произведения только одной определенной труппе? Сожжемте же лучше наши пьесы!

Великий герцог Тосканский, обладающий истинным талантом законодателя, помимо ряда других полезных законов, вдохновленных высокой мудростью, предоставил всем театрам полную свободу в выборе пьес, так как был уверен, что соревнование и конкуренция сослужат театральному искусству лучшую службу, чем все правила, которые жалкий умишко установил с целью лишить это искусство величия и мощи.

Наконец, на этой ярмарке (не в месте дело!) вы можете видеть знаменитого Комюса*, — человека, не получившего никакого образования, всем обязанного своей врожденной исключительной проницательности, одаренного подвижным изобретательным умом. Этот физик, сделавший целый ряд открытий, приковывает к себе наше внимание, изумляет и заставляет работать наш ум. Нужно только остерегаться

и не смешивать его с разными *фокусниками*, которыми он всегда окружен. Но кто хоть раз видел его, никогда, конечно, не впадет в такую грубую ошибку. Комюс не только является соперником ученых естествоиспытателей, но имеет полное право занять видное место среди самых даровитых исследователей явлений природы. Чудеса, которые творят его искусные руки, стоят того, чтобы посвятить им несколько страниц, последовательно изложенных и написанных высоким стилем.

216. Итальянские актеры

Все еще сохраняя это название, они уже больше не ставят итальянских пьес или, лучше сказать, *сценариев*, в которых Карлино* так часто восхищал своей игрой, полной наивной и пикантной грации. Итальянцы получили право ставить интересные и поучительные пьесы, но этим правом—надо отдать им справедливость—они не злоупотребляют. Зато, как только вошли в моду водевили,—итальянцы тотчас же подчинились этому минутному капризу столицы. Они стараются как можно лучше обслуживать публику и забавляют ее всевозможными новинками, не считаясь с заботами и хлопотами. Их бескорыстие совершенно исключительно. Они не скупаются ни на декорации, ни на костюмы и стремятся придать спектаклям как можно больше блеска. У них верное чутье в выборе легкой, живой, выразительной музыки; что же касается комедий, то они еще не научи-

лись верной их оценке, но это придет со временем.

Таким образом, вот уже полтора года, как водевили почти всецело завладели этим театром. А так как успех всегда приводит к крайностям, то можно опасаться, как бы этот театр не наводнили *ребусы, чересчур фривольные куплеты, двусмысленности* и т. п. вещи. Зачем заставляя граций стыдливо опускать взоры?

Все эти милые пустячки рисуют наивные картины, не лишенные непринужденной веселости. Но возникает опасение, как бы эти прелестные васильки, разросшись на плодородной почве, не заглушили золотистые колосья питательных злаков.

Авторы решили, что можно создать в этой области второй национальный театр; они не подумали о том, что вокальное искусство в большинстве случаев несовместимо с декламационным и что все действительно драматические пьесы носят чересчур глубокий характер, чтобы слиться с легким жанром этих маленьких пьес, в большинстве случаев лишенных всякого смысла. Легкие арии и водевили всегда будут губить Мариво и его последователей.

217. Бульварные зрелища

Народ, нуждающийся в развлечениях, бросается туда гурьбой; именно поэтому такие театры и заслуживают особенного внимания должностных лиц, а репертуар их должен бы быть и при-

ятным и нравственным (вопреки писателям-соблазнительям эти два слова отнюдь не противоречат друг другу).

Отчего пьесы бульварных театров большей частью так плоски, пошлы, непристойны? Оттого, что существует кучка актеров, которые осмеливаются утверждать, что только одни они могут представлять разумные пьесы; оттого, что эти смешные притязания находят поддержку; оттого, что благодаря такой невероятной и позорной привилегии народ вынужден слушать только воплощенную разнузданность и глупость. Вот к чему привел надзор за театральными представлениями у народа, славящегося своими драматургическими шедеврами!

Всевозможные балаганные шутки, разыгрываемые на наружных подмостках театра для завлечения зрителей, крайне вредно отражаются на повседневной работе жителей, так как привлекают целые толпы рабочих, которые с орудиями производства в руках, стоят разинув рты и теряют зря ценное рабочее время.

Восковые фигуры дядюшки Курциуса* пользуются большим успехом у бульварной публики и привлекают множество народа. Он вылепил королей, великих писателей, хорошеньких женщин и знаменитых воров; там вы увидите Жанно*, Дерю*, графа д'Эстен* и Ленге*, увидите королевскую семью, восседающую за вымышленным банкетом; рядом с королем сидит император. В дверях зазывальщик громко выкрикивает: *Пожалуйте, господа, пожалуйте! Взгляните на парадный ужин; входите, здесь все точь-в-точь, как в Версале!* За вход берут по

два су с человека, и дядюшка Курциус за показ своих раскрашенных манекенов собирает порой до ста эку в день.

218. Чтения

Появился новый род представления. Тот или иной писатель, вместо того чтобы читать свое произведение друзьям и спрашивать у них мнений и совета, — назначает определенный день и час (нехватает только афиш), является в меблированную гостиную, садится за стол между двумя канделябрами, просит, чтобы ему подали сахарницу или сиропу, жалуется на свою якобы слабую грудь и, вынув из кармана рукопись, напыщенно читает свое новейшее, зачастую снотворное произведение.

В поклонниках нет недостатка, ибо он их добывается всеми способами, какие только подсказывает ему надменное самолюбие. Ему расточают любезности, в которых вообще никому никогда не отказывают, а он принимает их за чистую монету, за искренние похвалы. Когда же произведение выходит из печати, — публика поднимает насмех то, чем восхищались в гостинной. Взбешенный автор вопит, что вкус к хорошим вещам пропал и что литература явно приходит в упадок, раз публика не понимает того, что поняли первые его судьи и поклонники.

На таких чтениях все бывает нелепо: поэт является со снотворной трагедией в стихах или с длинной эпической поэмой в общество молодых, хорошеньких женщин (настроенных на веселый и легкомысленный лад); возле

них—их возлюбленные; всех гораздо больше занимает окружающее, чем автор и его пьеса. Интонации голоса, какого-нибудь слова, жеста, самого пустяка бывает достаточно, чтобы вызвать в них безудержную веселость. Стоит одной из присутствующих тихонько засмеяться, другая не удержится, разразится хохотом, и все общество тщетно будет стараться сдерживать шумную веселость. Что должен делать бедный автор с рукописью в руках? Если он выкажет недовольство, то покажется еще смешнее. Его или вовсе не слушают или слушают плохо,—все равно: он вынужден продолжать. Он чувствует себя на скамье подсудимых, чувствует себя мишенью для злобных замечаний. Присутствующие дают молчаливый урок чрезмерному самолюбию, сквозящему в его словах. Он это замечает и начинает еще усиленнее жестикулировать, точно для того, чтобы насильно вызвать слово одобрения; из писателя он превращается в фигляра.

Но зачем же читать кому-то, кроме друзей? Зачем искать других судей, помимо публики? Зачем так стремиться получить двусмысленное одобрение? Приводить в восхищение какой-нибудь кружок, не значит ли умалять идею о славе писателя? Вот ошибки, в которые ежедневно впадают столичные *умники* и люди *со вкусом*. Здесь уместно припомнить слова знаменитого доктора Сакротона¹,—слова, которых все эти люди, к несчастью, не слышали: *Та-*

¹ Комедия-парод в одном действии, изданная в Париже вдовой Балляра, королевского книгопечатника (улица Матюрен) в 1780 г. *Прим. автора.*

лант нужно оценивать,—говорит он,—в публичном месте, а никак не иначе; только там он виден в своем настоящем свете, салонные же успехи всегда сомнительны

В Париже существовало общество, именовавшееся обществом *Тридцати* и стремившееся затмить *сорок* членов Французской академии; оно организовало было публичные чтения, иные из которых были очень интересны, и, не произошли рокового разногласия (неизбежного среди *умников*), это общество сделалось бы настоящей академией, которая могла бы соперничать с *Гордячкой*. Читания предшествовали обеды в ресторане. Увы! Ум этих людей, в отличие от писателей минувшего века, никогда не постился.

Организуется несколько *литературных обществ*, члены которых считают себя не ниже бессмертных*; раз в неделю они читают свои произведения, слушатели аплодируют им, и те, кого награждают аплодисментами, так же гордятся своим триумфом, как гордится какой-нибудь академик, когда ему рукоплещут в Лувре*.

В ложе *Девяти сестер** также имеется несколько писателей; они читают свои произведения на пышных торжествах, главным украшением которых служит литература; почему, в самом деле, одним только академикам пользоваться правом читать свои произведения и выслушивать похвалы? Не следует ли предоставить свободный выход самолюбию каждого писателя, для которого такое счастье читать свою вещь и слышать свой голос звучащим в публичном месте? Справедливость, скажем лучше—сострадание, требует этого.

Один известный чтец лет восемь-десять тому назад был в Париже своего рода знаменитостью; его обожали; все наперерыв желали видеть его у себя дома. Он талантливо, с большой точностью и с изумительным разнообразием интонаций представлял всех действующих лиц той или иной пьесы. В одной своей персоне он воплощал всю *драму*; он один стоил целой труппы. Но чтец этот настолько отождествлял себя с данной пьесой, что воображал или почти что воображал себя сочинителем, а присутствовавший при чтении автор от души прощал ему это, поскольку такая иллюзия была необходима чтецу, чтобы лучше войти во все роли. Кстати сказать, этим автором был я сам.

В силу какого-то странного противоречия, этот знаменитый чтец становился посредственным актером, как только на театральных подмостках исполнял какую-нибудь одну роль; чтобы проявить свой почти единственный в мире талант, ему требовалась целая пьеса. В его приготовлениях к чтению и в создаваемой им обстановке было нечто нарочитое, но это делало его выступления только интереснее. Во всяком случае, он был окружен славой, его чествовали как в столице, так и в провинции, и всюду он затмевал автора.

219. Ростовщики, дающие краткосрочные ссуды

Таких ростовщиков можно встретить, пожалуй, только в Париже; они сами считают свое ремесло чем-то позорным: об этом говорит

их обычно нахмуренный вид. Их маклеры живут поблизости Крытого рынка. Женщины, торгующие фруктами и овощами, которые они обычно носят на *лотках*, и всевозможные различные торговцы чаще других нуждаются в скромной ссуде, в шестиливровом экю, чтобы купить макрели, горошку, ягод, груш, вишен. Заимодавец ссужает их такой суммой с условием, что в конце недели они принесут ему семь ливров четыре су; таким образом, шестиливровое экю, когда находится в деле, приносит ростовщику около шестидесяти ливров в год, другими словами—в десять раз больше своей стоимости. Вот скромные проценты заимодавцев на короткий срок!

Если я скажу, что богачи проделывают то же самое со своими капиталами и берут такие же громадные проценты, не испытывая при этом ни малейших угрызений совести, то легко себе представить черствость иных душ и их жестокую жажду наживы!

Что же должно поражать больше: отчаянное ли положение мелочных торговцев, не имеющих даже шести ливров за душой, или неизменный успех такого страшного ростовщичества? Но многие ли настолько богаты, что, оплатив все счета и расходы, остаются с луидором в кармане? Я осмелюсь сказать, что третья часть населения Парижа до такого богатства еще не дошла; и ростовщики прекрасно знают, что разменные деньги становятся с каждым днем все реже и реже, так как приток их истощен государственными займами,—этими страшными поглотителями торговых капиталов.

Таким образом, ростовщики берут за ссужаемые деньги все, что только можно взять, а чем беднее человек, тем труднее ему действовать, не имея монеты в руках. Неимущий не пользуется доверием, и по той же самой причине, по которой он платит за вино и мясо значительно дороже, чем какой-нибудь принц, он покупает и монету по непомерно высокой цене. Вот почему ему так трудно выкарабкаться из бездны, в которую он погружен, его руки и ноги начинают скользить, как только он делает усилие, чтобы из нее выбраться, ибо несравненно труднее сделать пять франков из пяти су, чем, имея десять тысяч ливров, нажить миллион.

О! Кто не попятится в ужасе, увидя вблизи эту вечную борьбу нищеты с богатством?!

Ростовщики не всегда прибегают к посредничеству маклеров или агентов: два-три раза в год они удовлетворяют свое любопытство, наблюдая собрание своих вечных должников и обогатителей; тут они судят о настроении умов и о плутнях своих подчиненных.

Тот самый человек, который одевается в яркие расшитые платья, ходит с тростью, украшенной золотым набалдашником, выезжает не иначе как в карете, носит на пальце роскошный бриллиант, посещает все спектакли и вращается в хорошем обществе,—этот человек в известные дни месяца надевает поношенное платье, старый парик, старые башмаки, заштопанные чулки, отпускает бороду, красит волосы и пудрит брови; затем он отправляется в отдаленный домишко, в комнату, оклеенную дешевыми обоями, где нет ничего, кроме жалкой

кровати, трех стульев и распятия. Там он принимает человек шестьдесят рыночных торговков, перекупщиц и бедных фруктовщиц и говорит им притворным голосом: «Друзья мои! Вы видите, что я не богаче вашего: вот моя обстановка, вот кровать, на которой я сплю, когда приезжаю в Париж. Я даю вам деньги, полагаясь на вашу совесть и благочестие, ибо, как вам известно, не беру с вас расписок и судом ничего с вас не получу. Я полезен вашей торговле, но, оказывая вам доверие, я должен иметь какое-нибудь обеспечение. Поручитесь же друг за друга и поклянитесь перед этим распятием, перед изображением нашего божественного Спасителя, что вы не сделаете мне ничего дурного и честно вернете мне то, что я вам доверю».

Селедочницы и зеленщицы поднимают руку и клянутся задушить ту, которая не заплатит в срок. Страшные клятвы сопровождаются крестным знаменем. Тогда ловкий плут спрашивает их имена и дает каждой по монете в шесть ливров, говоря при этом: «Если уж и говорить о наживе, то, во всяком случае, я не наживаю того, что наживаете вы!» Толпа расходится, а кровопийца остается с двумя агентами, у которых принимает отчет и которым платит жалованье.

На следующий день он проезжает по Крытому рынку и площади Мобер в собственном экипаже. Никто его не узнает и не может узнать: это другой человек, он блестящ, он принят в хорошем обществе, и часто в уголку гостинной, у мраморного камина он подолгу рассу-

ждает о благотворительности и человеколюбии. Никто не сомневается в его честности, благородстве и даже в некоторой доле щедрости. А пока о нем так судят, он невидимо присутствует в своих четырех-пяти темных лавчонках, выжимая и высасывая жизненные соки народа.

220. Шарлатаны

Так называют тех, кто, взобравшись на подмостки, зазывает прохожих на площадях.

Лейб-медик короля разогнал всех этих знахарей, вредящих интересам ученых докторов. Нет больше знахарей, увещевавших народ, и очень жаль. Ведь доктор Сакротон, перечисляя преимущества знахарства, говорил своему ученику: *Считаешь ты разве за ничто всюду путешествовать, носить на боку саблю, у седла—пистолеты, на голове—шапку на подкладке; иметь в своем распоряжении повозку, которая, приехав на какую-нибудь площадь, словно оперная декорация, превращается в театр; затем, подобно римским ораторам, произносить речи, обращаясь поочередно ко всем нациям, свободно говорить народу, который тебя внимательно слушает? А кто в наши дни обращается с речами к публике? Никто, мой друг, никто кроме нас. Удачным словом ты всегда можешь добиться цели, и добиться даже большего, чем думаешь.*

Нет больше толстого Тома*, нет больше ораторов, говоривших под открытым небом. Лейб-медик безжалостно разрушил последние

остатки свободы, и никто уже больше не продает ни опия, ни эликсиров, ни порошков. Это ремесло перешло всецело в руки членов медицинского факультета.

Шарлатаны же нашли себе убежище в царстве наук и литературы. Один вам обещает достоверное открытие и точное определение универсальной силы, обладающей свойством всячески изменять материю и воспроизводить все чудеса природы.

Другой объяснит, совершенно ясно и убедительно, причину притяжения и вращения планет вокруг своей оси и вокруг солнца.

Третий изложит вам теорию солнца, планет, звезд, миров, комет и в особенности земного шара и начнет с того, что развенчает Ньютона.

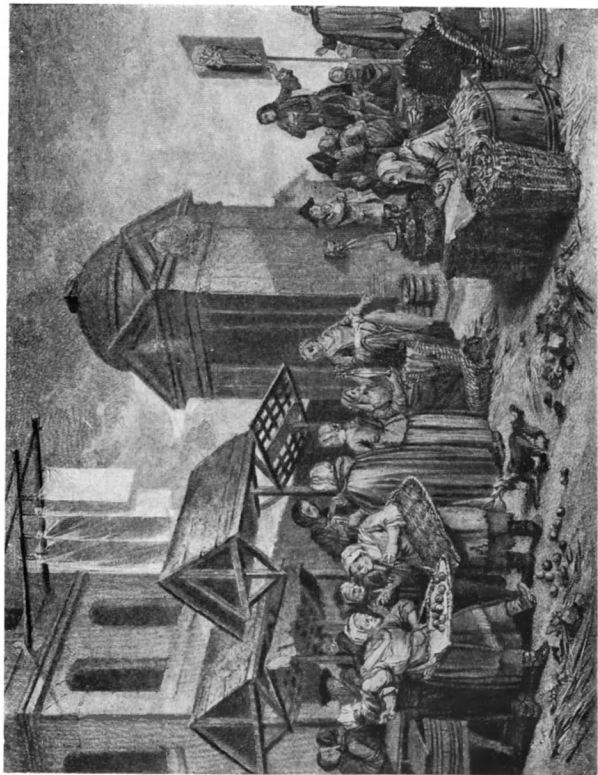
Четвертый, менее тщеславный, ограничится предложением открыть вам тайну размножения; он поведает вам под залог в тридцать шесть ливров взаимодействие всех частей животного организма, сверх того он обучит вас механизму страстей и за двенадцать экю вы познаете все науки.

Отнесем сюда же и натуралистов в халатах, туфлях и ночных колпаках, придумывающих систему формации гор, которых они никогда не видели и по которым не ходили; греясь у яркого огня, они пишут про швейцарские глетчеры. Они не исследовали ни мраморов, ни альпийских гранитов, но высказываются об этих величественных предметах как законодатели миров и, не вставая с кресел, объясняют строение и образование земного шара, хотя ноги их никогда не касались ни более или

менее высокой скалы, ни мало-мальски глубокой пропасти. Скоро они осмелятся заявлять: «Я ясно вижу сердцевину земли, так как для моих глаз земля совершенно прозрачна».

Отнесем сюда же и некоторых академиков, ничего не написавших, никому неизвестных, добывающихся пенсии и получающих плату за работу, которую они никогда не закончат. Они говорят, что уважают публику, а это весьма напоминает уважение импотентов к женщинам.

Полидор* носит платье аббата, прикрывающее его бесстыдства; он старается казаться не только ученым, но и человеком со вкусом, человеком выдающимся, гением; он напыщенно рассуждает о греческих писателях, восхваляет красоту их выражений и тонкость оборотов. У современных поэтов нет и тени всего этого. Божественный Пиндар владеет ритмом, сближающим его с богами, а великий Гомер изумительно чеканит анапесты... Произнося эти громкие слова в присутствии женщин и каких-нибудь богачей, Полидор вдруг задумывается, умолкает, точно подавленный бременем своей гениальности. Вы скажете, что он долго размышлял и в совершенстве изучил автора, о котором говорит, что он вполне освоился с ним? Будьте уверены, что он в лучшем случае прочел его лишь в переводе, что он плохо понял текст и что если он и держит книгу раскрытой на своем столе, так только для того, чтобы производить впечатление на простаков. А он думает произвести впечатление и на остальных. Площадным знахарям, шарлатанам говорят: *Исцеляйте!* Ли-



Площадь Мобер

С гравюры Альяме по рисунку Жора

тературным шарлатанам, размножившимся как никогда, можно бы сказать: *Печатайте свои сочинения!* Но они ничего не печатают.

221. Стихоплеты

Они кишмя кишат. Горе тому, кто в 1781 году сочиняет стихи! Француз ими очень богат, а потому стал крайне разборчив. Что может представить собою новая комбинация полустихий Расина, Буало, Руссо, Вольтера, Грессе* и Колардо*? Стоит ли добиваться получения такого же слепка; не смешно ли, что даже у покойного г-на Дорà* уже появились кописты и подражатели? Когда читаешь *Альманах муз*, кажется, что все стихотворения написаны одним и тем же автором, до такой степени однообразны их мысли, стиль и тон.

Когда встречаешься с каким-нибудь стихоплетом,—приходится говорить ему во избежание споров: *Я ничего не смыслю в стихах!* Тогда он ловит вас на слове и скромно заявляет, что всего лишь три-четыре человека в состоянии оценить его редкое дарование, что *хороший вкус* нашел себе убежище в его голове и в головах трех-четырех его поклонников. Вы про себя улыбаетесь и предоставляете ему говорить, раз это доставляет ему удовольствие.

Если бы такому стихоплету, бьющемуся целый месяц над каким-нибудь непослушным стихом, сказать, что такой-то прозаик (а он его не читал, потому что читает одного Расина)—большой художник; что такой-то английский

писатель, которого он называет *варваром*, — помимо своеобразия и гениальности, обладает еще и бóльшим вкусом, чем Буало, то он вас, конечно, не поймет. А потому вы говорите ему только: *Я ничего не смыслю в стихах!* Этим вы сохраните ваши легкие и будете иметь удовольствие убедиться, до какой степени стихоплет может завираться и карнать свои мысли.

Но в этом виноват, пожалуй, больше его язык, нежели он сам. Стихоплет потеет, работает, и, в сущности, ему нехватает только здравого смысла.

Что представляет собою язык, в котором гений на каждом шагу встречает непреодолимые препятствия в виде тех или иных грамматических трудностей? В этой области злопыхатели всегда находят себе пищу; *подчеркиватели*¹ завоевывают почву, утерянную отважным писателем; здесь всякое новшество терпит поражение, и сюда никак неприменимо выражение Корнеля:

Рука твоя сильна, но все же победима!

Нужно смело сказать, что такой ограниченный язык не поэтичен, что в данном случае поэзия становится лишь рифмованной прозой, что такой язык лишен богатства, силы и смелости, что он никогда не обогатится, потому что *обогащать* его запрещено*, потому что

¹ Порода мелких журналистов, которые, давая отзыв о какой-нибудь книге, бессмысленно подчеркивают в ней все, что им не нравится. Заметьте, что они особенно нападают на новые талантливые выражения, отнимая у языка право на свободный порыв. *Прим. автора.*

развитие его, вместо того чтобы быть свободным и гордым, размерено, сужено, подчинено циркулю. Прибавим к этому, что надо быть глупцом, чтобы подчиниться подлому капризу людей, приверженных нелепым обычаям, и прислушиваться к мнению журналистов, неизменных душителей поэзии, верных своему пресмыкающемуся стилю и отвергающих силу и мощь, которыми пользуется поэт, чтобы выразить свою мысль в любезных ему звуках.

Раз этот народ не желает принять ничего другого, кроме того, что он уже имеет—своего печального и жалкого Буало и сухого и жесткого Руссо*,—нужно его предоставить его глупому занятию—подсчитывать слога, вместо того чтобы предаваться фантазии и создавать множество недостающих ему выражений. Доказательством, что поэзия его бедна, служит то, что ему только еще предстоит осознать эту бедность.

Стихоплеты не простят мне этой главы, а между тем я говорю именно в их пользу; меня поймут поэты.

Стихоплеты имеют обыкновение проводить одну параллель, которая меня до крайности раздражает. Это—параллель между Расином и Корнелем. Глушцы, обладая самым слабым понятием о литературе, могут часами говорить на эту тему с таким видом, будто высказывают какие-то мысли. Это проникает в брошюры, которые с большой самоуверенностью стряпают ничтожные приказчики, вместо того чтобы заниматься своим делом; несколько журналов существует только благодаря трем-четы-

рем беспрестанно повторяющимся именам. Можно подумать, что весь человеческий ум заключен во французской трагедии, а между тем нет ничего ошибочнее такого взгляда*.

Некий юноша пришел просить Тимофея* выучить его игре на флейте. «А у вас уже были учителя?»—спросил поэт.—«Да!»—ответил юноша.—«В таком случае, вы будете платить мне вдвое дороже».—«Почему?»—«Потому что с вами мне будет вдвое труднее: мне придется прежде заставить вас забыть наставления, которые вы в себя впитали, а затем уж обучить вас тому, о чем вы пока еще не имеете никакого представления».

222. Каламбуры

Странный язык каламбуров близится к кончине. Его культивировали некоторые приверженцы, он заменял им и ум и таланты. Что станется с каламбуристами? Как может так быстро испариться подобная слава? Какая неблагодарность после стольких возгласов одобрения! О, как легкомысленно расточают парижане свои хвалы!

О всяком, кому благоприятствовало вдохновение или случай, много говорили; такого человека выделяли особо; даже вполне порядочные люди, которые никогда не согласились бы издать что-либо иначе, как под чужим именем, с успехом сочиняли на этом новом языке маленькие брошюрки*, внезапно ставившие их в ряды избранных весельчаков.

Народ их не очень-то ценит. Он предпочитает язык *Ваде**, который живописал натуру низменную, но по крайней мере действительно существующую. Там народ мог судить о сходстве. Но когда ему хотят объяснить всю тонкость каламбура, он отвечает на своем наивном языке: *Дурачок-то умер, а наследников у него оказалось много.*

Каламбуры и плохие шутки ведут к порче языка, к изъятию немногих благородных и гармоничных слов, еще уцелевших в нем, к постоянному затруднению писателя, обязанного предупреждать возможность грубых или непристойных двусмысленностей. Братья-каламбуристы оказались, таким образом, повинными в оскорблении Франции в отношении языка; многие выражения в разговоре, как и в литературном стиле, извратились, потому что они их чересчур профанировали. В настоящее время начинают излечиваться от этой нелепости, которая не могла быть продолжительной и тем не менее продолжалась слишком долго! Здравомыслящим писателям надлежит всячески бороться против такого странного изъятия слов и не обращать внимания на злонамеренных и глупых насмешников, которых у нас так много.

223. Фейерверки

Замечено, что почти никогда из ряду вон выходящее зрелище не обходится без несчастных случаев. Парижская чернь не умеет соблюдать порядка; выйдя из равновесия, она становится шумной, неприятной и буйной.

На этом именно основании был отменен как фейерверк в день св. Жана, так и те, которые пускали по случаю рождения принца и процесс и в дни празднования сомнительных побед. Взамен этих бесплодных увеселений теперь выдают замуж бедных девушек и выпускают на свободу заключенных. А такими благими идеями мы обязаны опять-таки патриотическим писателям*.

Я хотел бы, чтобы все пиротехники королевства обанкротились; роскошь наших празднеств всегда приводит к каким-нибудь несчастным случаям. Можно ли спокойно смотреть, как взрывается в воздухе то, что могло бы прокормить в течение целого года сотню бедных семейств? Как можно платить так дорого за столь краткое удовольствие?! Я предпочитаю неаполитанские народные празднества*, во время которых могучих ладзарони* угощают обедами, продолжающимися целых три дня, и вдобавок дарят им еще по рубахе.

Совершенно непонятно, как могли избрать местом для фейерверков *Гревскую площадь*. Как могли воздвигнуть памятник монарху на той самой мостовой, где были четвертованы Равайак* и Дамьен*? Каким образом мифологические эмблемы народного ликования могут следовать за колесованием и кострами, как можно воздвигать *герб Франции* на том самом месте, где три дня перед тем эшафот был залит кровью преступника?! Зачем и почему члены муниципального совета разрешают все это? Почему? Потому, что они хотят видеть из своих окон с одинаковыми удобствами и праздничные огни и виселицу.

Видели ли вы, дорогие читатели, действительно прекрасный фейерверк? Таким был фейерверк, устроенный однажды покойным датским королем*. Он приказал воздвигнуть помост; народ приготовился уже насладиться видом римских свечей, треском петард, искрящимися мимолетными снопами ракет, когда четыре герольда в великолепных одеждах внезапно появились на четырех углах помоста. Каждый из них развернул по листу бумаги. Народ умолк. Это был преисполненный великодушия эдикт, отменявший четыре наиболее тягостные налога на съестные припасы.

Описывать фейерверк излишне. Никакие слова не могут передать стремительность, блеск и грохот этих сверкающих лучезарных снопов огня, которые чаруют взоры, не раздражая их, и улаживают слух, не потрясая его. Однако нужно описать пышные банкеты, устраиваемые для народа щедрыми эшевенами.

Все эти угощения хороши только в описаниях. Вблизи они просто жалки. Вообразите себе подмости, с которых бросают неочищенные языки, сосиски и маленькие хлебцы. Даже лакей сторонится от летящей в него колбасы, которую ради забавы с силой швыряют чьи-то руки в гущу толпы. В руках этих наглых благодотворителей хлебцы превращаются в булыжники. Вообразите затем две узких трубки, из которых льется довольно скверное вино. Носильщики Крытого рынка и извозчики соединенными усилиями привязывают жбан к длинному шесту и поднимают его вверх. Вся трудность заключается в том, чтобы пристроить

жбан к трубке, так как возбужденная и жадная толпа то и дело отстраняет сосуд. Удары кулаков сыплются градом, на мостовой вина оказывается больше, чем в самом жбане. У кого нет широких плеч и кто не попал в *обгединение*, может умереть от жажды перед этими фонтанами вина, предварительно воспалив свою глотку колбасными изделиями.

Мелкая буржуазия, привлеченная сюда простым любопытством, в ужасе пятится перед дикими ордами, одержавшими очередную победу над ведром вина. Она боится быть сбитой с ног, поваленной, раздавленной толпою, так как эти страшные победители снова возвращаются, чтобы оттеснить своих соперников и досуха опорожнить бочки.

Низость и нищета—вот гости на этих пиршествах. Посмотрите, как люди, стоя, пожирают пойманные ими сосиски! Можно подумать, что это изголодавшийся народ, страдающий от неурожая, и что новый Генрих IV. неожиданно прислал ему хлеба и свинины с приправой.

Вслед за тем ободренные музыканты, водворившись на подмостках, окруженных вонючими площадками, пилят по крикливым скрипкам жестким смычком; чернь образует огромный круг и беспорядочно, не в такт прыгает, кричит, вопит, топает по мостовой в неуклюжей пляске. Это не столько веселая, сколько грубая вакханалия.

И как могут эту холодную оргию выдавать за народное празднество? Так ли древние привлекали бедных граждан к участию в общественных увеселениях?

Когда в толпу бросают деньги, получается нечто еще худшее. Беда мирной кучке людей, среди которой упала монета! Обезумевшие, дикие люди, в порыве ярости, с окровавленными и испачканными грязью лицами, набрасываются на вас, валят вас, ломают вам руки и ноги, лишь бы поднять брошенную монету! Сплошная масса людей падает и тотчас же поднимается, подобно тому как колоссальный кузнечный молот мгновенно обрушивается и давит все на своем пути.

Приходится спасаться бегством от этой шумной давки, уединяться дома, потому что рискуешь лишиться жизни среди толпы, которая готова изувечить человека из-за вареной колбасы или монеты в двенадцать су.

Самым возвышенным и значительным на этих празднествах является *Te Deum*¹, который служат в кафедральном соборе*. Пушечные выстрелы, примешивающиеся по временам к звукам музыки, исполняемой хорошим и многочисленным оркестром, производят оригинальное, редкостное и трогательное впечатление.

224. Обедни

Ежедневно служат от четырех до пяти тысяч обеден по пятнадцати су каждая. Капуцины берут на три су дешевле. Все эти бесчисленные обедни были учреждены нашими добрыми пред-

¹ Тебе, бога хвалим (*лат.*).

кам; послушные своим снам, они заказывали на вечные времена эти бескровные жертвоприношения. Ни одного духовного завещания не обходится без заказных обеден; это было бы сочтено за кощунство, и священники отказали бы в погребении тому, кто отступил бы от этого правила; об этом свидетельствуют многие факты старины.

Войдите в любую церковь. Повсюду—направо, налево, прямо, сзади, сбоку—священник либо пресуществляет дары, либо возносит чашу, либо приобщается, либо произносит: «Ite, missa est»¹.

Ирландские священники иногда умудрялись служить по две мессы в день, и, ввиду обширности Парижа, только случайность раскрывала их плути; двойная алчность толкала их на это двойное священнодействие.

В прошлом веке один священник церкви Пти-Сент-Антуан был тайно женат; его семья жила около площади Мобер. Он с одинаковым рвением относился как к своим обязанностям церковнослужителя, так и к обязанностям супруга. Он был хорошим священником, хорошим мужем, отцом пятерых детей, он переодевался два раза в день, чтобы обмануть взоры людей, исполняя эти двойные, одинаково ему дорогие обязанности. Его счастье было разбито жестоким доносчиком: парламент расторг его брак, он был приговорен к вечному изгнанию и был счастлив уже тем, что не поплатился чем-нибудь еще бóльшим.

¹ С миром изыдем (*лат.*).

Аббат Пеллегрен* женат не был, но, служа обедни, он сочинял и оперы. Бес не участвовал в его сочинениях, так как все они были в высшей степени холодны. На него было написано следующее двустишие:

Католик по утрам, язычник—в час вечерний.
Престол ему обед, театр же—ужин верный.

Некий принц*, назначив своим свитским священником аббата П***, известного многочисленными произведениями, сказал ему при первом их свидании: «Господин аббат, вы хотите быть моим священником, но знайте, что я не хожу к обедне».—«А я, ваше высочество, ее не служу».

Изысканной обедней называли позднюю обедню, которую несколько лет тому назад служили в церкви Сент-Эспри в два часа пополудни. Ленивый высший свет отправлялся туда перед обедом. Священнику платили три ливра, так как ему приходилось поститься до двух часов дня. Женщина, отдававшая в наем церковные стулья, тоже получала на этом барыш. Архиепископ запретил эту обедню, и с тех пор привыкли обходиться вовсе без обедни. Было бы лучше ее не запрещать.

Вот уже десять лет, как высший свет совсем почти не посещает богослужений; в церковь ходят только по воскресеньям, да и то лишь чтобы не смущать своих слуг. А слуги знают, что в церковь ходят только ради них.

3 августа 1670 года некий Франсуа Саразен, уроженец Кана в Нормандии, двадцатидвухлетний юноша, бывший сначала гугенотом, потом католиком, но всегда отрицавший истин-

ное присутствие божества в церкви, напал на святую чашу со шпагой в руках в тот момент, когда священник возносил ее в приделе Сен-Вьерж собора Нотр-Дам. Желая пронзить чашу немедленно после совершения таинства, он двумя ударами ранил священника, который обратился в бегство; но раны его оказались неопасными.

Тотчас же прекратились все богослужения: с алтарей сняли все украшения, церковь была закрыта впредь до *примирения*.

5 августа Франсуа Саразен принес публичное покаяние, имея на груди и на спине дощечку с надписью: *Нечестивый святотатец*. Ему отрубили кисть руки, а потом заживо сожгли на Гревской площади. Он не выказал никаких признаков ни раскаяния, ни сожаления о том, что умирает.

12-го числа было совершено торжественное освящение оскверненного храма. Была устроена целая процессия, в которой приняли участие все государственные учреждения. Все лавки как в городе, так и в предместьях были закрыты по распоряжению начальника полиции господина Рени (см. *Газет де Франс* за 1670 год, стр. 771—796).

В наше время подобного кощунства, слава богу, не было, несмотря ни на какие статьи, речи и несмотря на большое число неверующих. Ни одного окропления святой водой не было нарушено, и религиозный культ, всегда очень чтимый внешне, ни в чем, вплоть до многолюдных процессий в разные праздничные дни, ни разу не подвергался ни малейшему покушению.

Мне скажут на это, что де-Ла-Барр д'Абвиль* устроил всенародное бесчинство. Но ведь изуродование им распятия, что стояло на мосту, совершенно не доказано. Этому гипсовому распятию ежеминутно грозило быть опрокинутым проезжающими мимо повозками, а кавалер де-ла-Барр был не таким человеком, чтобы поднять руку на распятие; он был умен и рассудителен. Он умер со спокойной твердостью. Парламент, единственно с целью доказать иезуитам свою стойкость в вере, вынес приговор, напоминающий приговоры инквизиции! Он в этом раскаялся, когда было уже поздно.

Можно с уверенностью сказать, что такую строгость парламент проявит теперь только в том случае, если появится новый Франсуа Саразен, что, однако, весьма сомнительно.

Всякий, кто начинает опровергать чудеса и догматы,—становится похож на глупого школьника, никогда ничего не выдавшего и не слышавшего. В наши дни одни только парикмахерские подмастерья отпускают шутки по адресу церкви. Обедню служит кто хочет, слушает ее тот, кому это нравится, и никто об этом уже не говорит.

225. Обедня сороки

У одного буржуа пропало несколько серебряных вилок. Он обвинил в этом свою служанку и подал на нее жалобу в суд. Суд вынес ей смертный приговор. Ее повесили. А полгода спустя вилки были найдены на крыше одного

старого дома, позади груды черепиц; их спрятала туда сорока. Известно, что эта птица в силу какого-то совершенно необъяснимого инстинкта ворует и прячет золотые и серебряные вещи. В церкви Сен-Жан-ан-Грев был сделан вклад на ежедневную обедню в течение целого года за упокой невинной души. Души судей в этом нуждались бы больше.

Отслужить обедню—дело хорошее, но необходимо было бы после этого случая ввести в обиход более тщательное судебное следствие и отменить это наказание, не соответствующее преступлению. Чрезмерная строгость закона сводит его применение на-нет, и столь частые домашние кражи остаются в наши дни почти совершенно безнаказанными, так как и хозяину и судье одинаково претит эта непомерная строгость.

Умеренное, но неизбежное наказание несравненно лучше поддерживало бы порядок. Из десяти служанок четыре оказываются обычно воровками, но никто не решается их обвинять из-за тяжелых последствий. Ограничиваются тем, что отказывают им от места; тогда они начинают воровать у соседа и привыкают делать это безнаказанно.

Очень грустно быть вынужденным постоянно следить за своими слугами, а между тем в Париже, можно сказать, не существует никакого доверия между хозяином и слугой. У хозяйки дома карман всегда полон всяких ключей: она держит на запоре вино, сахар, водку, макароны, прованское масло и варенье. Жены стряпчих запирают хлеб и остатки ужина,

уцелевшие от прожорливых клерков. Однажды одна из них, отправившись обедать к знакомым, забыла отдать служанке ключ от хлеба, и младший клерк, желавший поскорее воспользоваться свободным временем, водрузил буфет на спину здорового носильщика и, войдя в дом, где обедала хозяйка, громко проговорил: *Пожалуйте ключ, сударыня,—вот шкаф.*

226. Праздник Тела господня*

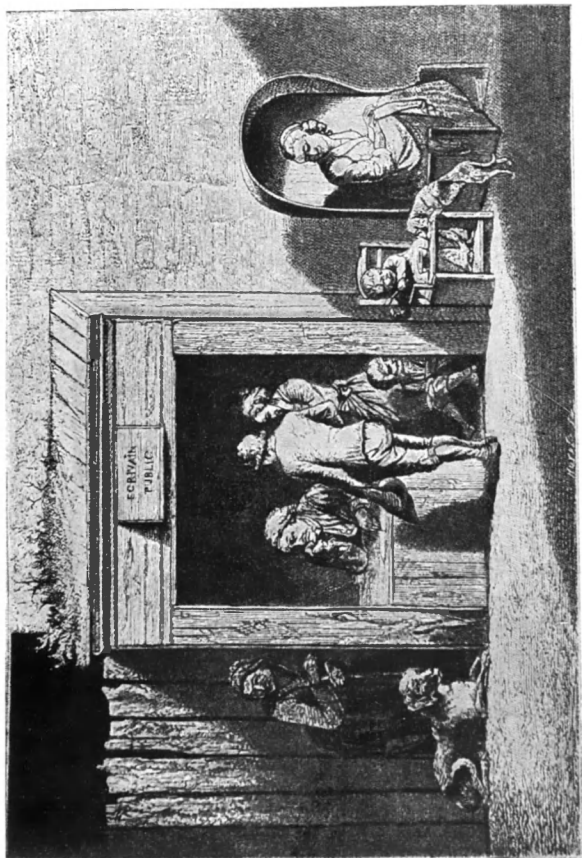
День Тела господня самый торжественный изо всех католических праздников. В этот день Париж чист, весел, безопасен, великолепен. В этот день, видно как много в церквах серебряных вещей, не говоря о золоте и бриллиантах, как роскошны церковные украшения и как дорого обходился и обходится народу церковный культ, ибо все эти мертвые сокровища накоплены за счет народа.

Говорят, что несколько лет назад, во время процессии в день св. Сюльписа два кавалера ордена Сен-Луи, чтобы польстить гордости и тщеславию кардиналов, несли края их пурпурных мантий, вроде того как лакеи носят шлейф какой-нибудь герцогини. Как возможно, чтобы награжденные орденами воины могли, в надежде на некоторую милость, согласиться исполнять обязанности самых презренных людей—и притом на глазах у всего народа?

Можно ли подумать, видя всю пышность этого празднества, что в городе есть хоть один неверующий?! Все сословия окружают свя-

тые дары, все двери украшены коврами, все преклоняют колени, священники являются как бы владыками города, войска отданы в их распоряжение, стихари командуют мундирами; солдаты принаравливают шаг к шагу хоругвеносцев, во время шествия палят пушки, самая торжественная пышность окружает процессию. Цветы, фимиам, музыка, склоненные ниц головы—все заставляет думать, что у католичества нет ни единого противника, ни единого врага, что оно царствует единодержавно и повелевает всеми умами... Все любят порядок, царящим в процессии, балдахинами, дароносицей, красотой убранства, равномерным движением кадил через установленные промежутки времени; все слушают военную музыку, прерываемую частыми и величественными залпами, пересчитывают присутствующих кардиналов, вельмож, епископов, судейских в красных мантиях, сравнивают церковные облачения и ризы отдельных приходов и толкуют о переносных алтарях. Вот что поражает умы, вот что вызывает поклонение.

Вечером дети устраивают маленькие алтари на улицах; у них деревянные подсвечники, бумажные облаченья, жестяные кадильницы, картонный балдахин, оловянная дароносица. Один изображает кюре, другой иподиакона. Они с пением носят по улицам дары, служат обедню, благословляют народ и заставляют товарищей становиться на колени. Маленький причетник выходит из себя при малейших признаках неуважения к его особе. Большие дети, устраивавшие утром почти



Общественный писец
С гравюры Буассье

такие же церемоний, пожимают плечами и насмешливо улыбаются, когда процессия маленьких попадаетея им на дороге.

Маркиз де-Брюнуа, сын банкира Монмартеля*, обладавший двадцатью шестью миллионами, ежегодно тратил в Брюнуа в этот день сто тысяч эку на переносный алтарь и на процессию. Желая придать наибольший блеск церковным обрядам, он из разных мест созывал священнослужителей, облачал их в роскошнейшие ризы и устраивал им великолепный прием.

Когда же его родственники хотели наложить на него опеку, основываясь на его чрезмерных тратах на всю эту пышность, он ответил допрашивавшему его судье: «Если бы я дал эти деньги какой-нибудь куртизанке, в этом не нашли бы ничего плохого. Я их истратил на благолепие католической церкви в католическом государстве,—и мне это вменяют в преступление».

По ходатайству родственников на этого миллионера была наложена опека. Подробности этого дела в высшей степени интересны, а характер маркиза де-Брюнуа является настоящим нравственным феноменом. Недавно маркиз скончался. Богатство было его несчастьем.

227. Исповедаляня

Я прохожу по церкви, вижу шелковистое платье, спадающее волнистыми складками на колено, контуры и стройность которого угадывает мой взгляд; мантилья облекает стан,

не скрывая его изящества; белокурые волосы пробиваются из-под головного убора. Я остаиваюсь, я хочу угадать возраст, прежде чем увижу лицо... Семнадцатилетняя красавица стоит на коленях в исповедадьне, склонив голову; ее свежее, нежное и чистое дыхание теряется в седой бороде капуцина; жлет ли она из скромности, решается ли от страха на полупризнания—она одинаково привлекательна. Но если она исповедуется молодому чернобровому викарию с орлиным носом, со стройными ногами, с разглаженными манжетами,—где будут границы его любопытства и ее простодушной доверчивости?

Я ее не вижу, но догадываюсь и о том, что ее грудь трепещет, и о том, что она говорит, едва осмеливаясь перевести дух. Она, конечно, невинна по сравнению с пожилой женщиной, что стоит с другой стороны. Почему же исповедь девушки тянется дольше? Почему?.. Кто понимает это? Кто об этом спрашивает? Кто чувствует в себе достаточно силы, достоинства и осторожности, чтобы не бояться своего собственного сердца, выведывая сердечные тайны коленопреклоненной молодой особы, которая, опустив глаза и сжимая руки, ждет своего приговора, но не может оплакивать ни собственных грехов, ни тех, на которые она навела? Взгляните на нее, когда она выходит из исповедадьни: она безмолвна, задумчива, потрясена. Глубокая скромность заставляет ее избегать ваших взглядов, но угрызений совести не видно на ее кротком лице; румянец покрывает ее щеки, но его никто не примет за краску стыда.

Когда господин де-Лаланд* прочел в Академии наук свой доклад о кометах и когда узнали, что он допускает возможность столкновения нашей планеты с каким-нибудь другим телом и превращения нашей земли во прах (а в это время какая-то комета как раз пересекла нашу орбиту), — слух о конце мира распространился не только в Париже, но проник и гораздо дальше, вплоть до Швейцарских гор. Тревога была всеобщая, и астроном, вовсе и не думая об этом, достиг большего, чем все проповедники, вместе взятые. Все в страхе и трепете кинулись в церкви. Приходские исповедальни были окружены толпой, жаждавшей получить отпущение грехов. Все наперерыв спешили проникнуть в это священное судилище. Старшего духовника церкви Нотр-Дам, который один облечен властью разрешать особо важные грехи, осаждали больше других. Вокруг его придела бродили лица, каких доселе здесь никогда не видели, — бледные, печальные люди, словно только что вышедшие из лесных дебрей; их исповедь как бы запечатлелась у них на челе; страх и начавшееся раскаяние еще не успели смягчить присущей им жестокости. День, назначенный для всемирной катастрофы, прошел, и земля осталась нетронутой; тогда все эти перепуганные и страшные лица исчезли, толпа вокруг исповедален поредела, и руки, которых нехватало, чтобы осенять знаком всепрощения столько трепещущих или преступных голов, снова предались полнейшей праздности.

228. Свидетельство об исповеди

Архиепископ Парижский*, столь же ярый защитник покойного *общества Иисуса**, насколько кардинал Пассионеи¹ был его врагом*, решил отказывать в последнем напутствии янсенистам, а чтобы лучше распознавать их, стал требовать от них *свидетельство об исповеди*, чтобы знать, кто был духовником больного. Когда же он отказывал в напутствии,—его домогались во что бы то ни стало.

Не раз видали судебного пристава, заставлявшего священника немедленно доставить причастие. Священник убегал; парламент предписывал ему подчиниться; обе стороны спешили в Версаль, ища правосудия, а там не знали кого слушать. Наконец эти дикие позорные ссоры прекратились благодаря писателям, которые громко и весьма кстати стали высмеивать священнические расписки.

Характер нашего столичного прелата явится крайне интересной страницей в истории этого века. Этот горячий ревнитель церковной дисциплины, наделенный сильной и настойчивой волею, во всякое другое время имел бы большое политическое влияние, но даже и в наши дни он с непоколебимой твердостью боролся и с парламентом и с тронem. Его безграничная преданность могущественному *обществу Иисуса* положила начало его благоденствию, и он выказал себя благодарным свыше всякой меры.

¹ Этот кардинал брался доказать на основании точных данных, что глава иезуитов тайно раздает в Европе пенсии на сумму в 24 миллиона. *Прим. автора.*

Знаменитый ответ Жан-Жака Руссо* на его послание донесет имя архиепископа до самого отдаленного потомства; и если прелат сумел внимательно прочесть эту сильную и убедительную статью, он, вероятно, почувствовал, что если и возможно с некоторым успехом противостоять земным властям, то никогда не следует неосторожно затевать спор с философом, вооруженным такой диалектикой, какую вооружен был Руссо.

229. Часовня Сен-Жозеф

Это—маленькая второразрядная часовня на улице Монмартр, но в ней покоятся Мольер и Ла-Фонтен, а эти два оригинальных писателя, вместе с Фенелоном и Ла-Брюйером, нравятся мне больше всех других писателей века Людовика XIV, как бы громки ни были их имена. Сент-Этьен-дю-Мон, где лежит прах Блеза Паскаля и Жана Расина, трогает меня гораздо меньше.

У Блеза Паскаля наряду с совершенно нелепыми мыслями все же были и гениальные идеи.

Известно, что потребовалась вся твердость характера Людовика XIV, чтобы были возданы погребальные почести автору *Тартюфа*; что один священник-ораторианец требовал от доброго Ла-Фонтена принесения публичного покаяния и что, наконец, было отказано в погребении Лекуврёр* и Вольтеру.

230. Протестанты

У протестантов был свой храм в Шарантоне*, вместимостью в пять тысяч человек; в нем происходили поместные духовные соборы 1623, 1631 и 1644 годов. После же того как мудрый Нантский эдикт*, изданный Генрихом IV, был отменен из-за жестокой и слепой нетерпимости Людовика XIV,—этот храм был разрушен в течение пяти дней. На его развалинах вздумали построить монастырь, где должна была происходить непрерывная служба, как бы во искупление того, что проповедывалось в этом месте против веры в действительное присутствие господа нашего Иисуса Христа в святых дарах.

В настоящее время у протестантов нет своего храма; они посещают протестантские церкви иностранных посольств. А между тем они очень многочисленны и составляют шестую часть городского населения. Они ничем не оскорбляют ни господствующего культа, ни тех, кто его исповедует; они мирны, трудолюбивы и молча ожидают перемены, которую нравственное и политическое просвещение неминуемо должно принести с собой.

Почему Парижский парламент, которому король поручил разработать, наконец, вопрос о государственном положении протестантов во Франции, уклонился от исполнения этого мудрого и отеческого предначертания? Почему воспротивился он отмене корпораций и отмене барщины?.. Я рассмотрю позже все эти причины, сейчас же меня увлекает текущая тема, и я не могу уклониться от нее,

231. Религиозная свобода

В Париже религиозная свобода возможна более чем где-либо; здесь никто не станет спрашивать вас о вашей вере; вы можете тридцать лет прожить в одном и том же приходе, никогда не бывая в приходской церкви и не зная в лицо своего священника; но все же вам придется отсылать туда благословенный хлеб, крестить там детей, если они у вас будут, и вносить установленный взнос в пользу бедных,—взнос настолько скромный, что каждый гражданин должен был бы сам его утраивать. Когда вы заболаете, священник не придет вас беспокоить, разве если он уж очень невежлив или если вы знаменитый или известный человек. Но вы всегда можете закрыть перед ним дверь, если он вам уж слишком неприятен.

Священник заходит только к простому народу, так как у простолюдинов не бывает привратников. Ко всякому другому больному окружающие зовут священника лишь когда уже начинается агония; священник впопыхах прибегает со святым елеем и часто уже не застаёт больного в живых. Но доброе намерение принимается за совершенное дело.

Заказывают похороны за сто пистолет, и во время погребения присутствует подставной духовник в облачении, никогда при жизни не видавший покойника; за эту любезность ему вручают луидор и толстую свечу. Духовник, священник, наследники—все довольны. Таким путем мудрец, без большого шума, переправляется в иной мир. Искусно лавируя, он прибывает

туда, не слишком нарушая обычаи здешнего мира и не производя никаких бесчинств.

Более ста тысяч человек смотрят на религию лишь снисходительно. В церквях можно встретить лишь тех, кто посещает их по собственной воле. Они бывают полны только в известные дни года. Пышность церемоний привлекает туда толпу, в которой женщины составляют всегда не менее трех четвертей. Ходят в церковь и для того, чтобы послушать более или менее известных проповедников, чтобы судить о их стиле, их красноречии и их выговоре.

Одному епископу сказали однажды: «На что вы жалуетесь? Видали ли вы хоть одно святотатство? Посягнул ли какой-нибудь философ хотя бы на самое второстепенное правило катехизиса? Встретили ли проповедники хоть одного противника? Они пользуются исключительным правом говорить все, что угодно; их никогда не прерывают, они не слышат никаких возражений!» На это епископ ответил: *Дай нам бог время от времени видеть какое-нибудь кощунство! Это доказывало бы, что о нас, по крайней мере, думают. Но нам забывают даже оказывать неуважение!*

В церковном погребении было отказано, насколько я знаю, одному только Вольтеру, и священник церкви Сен-Сюльпис на этот раз оказал плохую услугу религии. Десять других священников на его месте отпели бы Вольтера, раз он уже умер, и отпели бы его к тому же как покавшегося доброго католика. И они поступили бы очень разумно.

Его тело было, тем не менее, положено в освя-

ценную землю, и, если ему было отказано в обряде отпевания в Париже, он получил его в Берлине, в католической церкви, по приказу прусского короля, умевшего хорошо пошутить всегда, когда считал это уместным. Кровь Агнца окропила могилу автора *Магомета**. Таким образом, партия упорствующих философов не потерпела позорения, а Вольтер получил обедню за упокой своей души. Ни один философ не желает быть лишенным такого преимущества; такова их воля.

Евреи, протестанты, деисты, атеисты, янсенисты (не менее грешные в глазах молинистов) и *равнодушные* — все живут, как им вздумается; нигде больше не спорят о религиозных вопросах. Это древняя распря, старое, давно уже решенное дело. Пора! После уроков стольких веков! Ничто так не избличает дурной тон, как насмешка над священником. Он занимается своим ремеслом так же благодушно, как солдат — своим. Никого уже это больше не возмущает, и сам он ничем не возмущается.

В случае *юбилея** храмы посещаются *ради хорошего тона*. Но это благочестие скоро проходит, и все, кто хотел выказать свою принадлежность к числу *верующих* для того только, чтобы отличиться, через каких-нибудь три месяца забывают свою роль и возвращаются к той всеобщей беспечности к делам веры, которая присуща всем гражданам столицы, за исключением простонародья.

К этому желанному спокойствию привели знания; теперь фанатизм вынужден пожирать самого себя. Разговоры о янсенизме и молинизме

ведутся лишь в некоторых непросвещенных домах, где царят глупость и лицемерие, а также среди некоторых женщин, которые, не будучи в состоянии принимать участие в светских удовольствиях, занимаются этими старыми спорами в обществе завсегдатаев-прихожан; это врожденные руководители черни, почти что слившиеся с нею.

232. Плебей

Зато политической свободы, которая была бы для Парижа ценнее, здесь совершенно нет. У нас хотят, кажется, воскресить слово *плебей*. Но это совершенно невозможно, так как это слово было бы лишено всякого смысла. Нельзя сказать: *французский плебей*, как говорят: *английский плебей*. Плебея в Париже не существует: здесь он народ, чернь, или буржуа; у него есть звание, дома, привилегии, должности, но нет политического существования; у него нет ни привычки, ни возможности без стеснения проявлять свою ненависть и недовольство. Английский плебей обсуждает, если можно так выразиться, *коллективно* свои интересы и судит о своих руководителях. Ему свойственны некоторое благоразумие и справедливость. Парижский же народ, взятый в целом, не обладает тем безошибочным инстинктом, который помогает разобраться в том, как следует себя вести; это объясняется тем, что народ здесь невежествен и неграмотен, в отличие от плебея-англичанина.

Так как француз не пользуется свободой печати, то у него еще долго не будет правоспо-

способности; он обречен на невежество. Его патриотизм слеп, а следовательно слаб, в нем замечаются лишь вспышки, которые быстро охлаждаются. Он даже не волен предаваться своим привязанностям; его рукоплесканий испугались бы, пожалуй, так же, как и его ропота.

Словом, у Парижа нет общественного голоса, которым непосредственно и решительно говорила бы правда. Правда никогда не доходит до слуха монарха, а только робко и неуверенно звучит в сердцах немногих граждан, которые, менее страдая от тяжести общественных бед, с большим равнодушием наблюдают за ошибками правительства.

Мы вялы, у нас нет никакой энергии в общественных делах, потому что у нас народ не имеет права ни говорить, ни требовать, чтобы его выслушали. Он прекрасно знает, что самое слабое выражение недовольства или нетерпения будет немедленно истолковано как призыв к возмущению, как незаконный бунт. И он остается простым зрителем правительственных мероприятий. Он верит, что поведение правительства, подобно движению солнца, предопределено неизменными законами природы. Таким образом тупость и политическое невежество являются основной чертой народных масс в Париже больше, чем в какой-либо другой европейской стране.

Нельзя представить себе ничего глупее манеры, с которой парижский буржуа говорит о соседних державах. Он повторяет мнения синдиков* своей корпорации и принимает иерархию комиссара, начальника полиции и министра за

образец любого правительства. Он не может понять, почему республиканцы так горячо вмешиваются в общественные дела, и готов рассматривать их как подстрекателей и бунтовщиков, которых король должен был бы хорошенько пробрать, чтобы они угомонились.

233. Поголовная подать

Ее выплачивает каждый мирянин и даже сам дофин Франции, который платит в качестве первого подданного, что звучит изрядной насмешкой. Жан-Жак Руссо упрямо отказывался платить поголовную подать, ссылаясь на то, что городское бюро, ведавшее тогда Оперой, задолжало ему *пятьдесят тысяч франков* за его *Деревенского колдуна**.

Собирались уже послать к нему на чердак городских стражников, когда своевременно уведомленный об этом сборщик податей передал спорное дело на рассмотрение купеческих старшин, эшевенов и квартальных надзирателей. Состоялось заседание, и голосованием было решено великодушно освободить автора *Эмиля* от платежа поголовной подати в размере *трех ливров и двенадцати су*¹.

Смею утверждать достоверность этого случая, так как сам был свидетелем преследований Жан-Жака и его упрямого сопротивления. Он запретил своей жене и друзьям платить за него

¹ Сумма, которую обычно облагаются служанки.
Прим. автора.

под угрозой вечного гнева. Ему возражали, что городские стражники не чувствуют никакого уважения к великим писателям, кто бы они ни были. *В таком случае,*—ответил он,—*если завладеют моей комнатой и кроватью, я сяду где-нибудь под деревом и буду там ждать смерти.* Он был способен сделать это. К счастью, вовремя поняли, какой бедный и знаменитый человек подвергается преследованию. Он жил тогда в пятом этаже, на улице Платриер, недалеко от почты.

Этот налог, не имеющий уважительных оснований, тяготит больше, чем *десятина* и *ввозная пошлина*, потому что он непосредственно ложится на данное лицо. Государству он приносит мало сравнительно с другими налогами, а гражданам не дает возможности преисполниться чувством собственного достоинства. Но благодаря различным финансовым мероприятиям последнего времени он стал произвольно увеличиваться и вскоре мог бы стать невыносимым и грозным, если бы не было разрешено обжалование. Купеческий старшина является теперь судьей в этом деле и дает ход жалобам и прошениям, если только их подать вовремя.

К этой поголовной подати присоединяются еще налог в четыре су с ливра, налог на восстановление дворца* и т. п. Все это составляет второй налог, почти равный первому.

Если бы система государственных доходов не противоречила разуму и человечности, то налоги взимались бы с искусств и предметов роскоши, вроде экипажей, особняков, лакеев,

частных садов и проч. Деньги брались бы только с тех, у кого они имеются.

Тогда, в случае неуплаты налога в срок, не прибегали бы к таким репрессиям, как арест имущества—другими словами, не брали бы за долги вашего имущества и не продавали бы его тут же на улице, а прибегали бы к *репрессиям военным*. Сборщик податей прислал бы к вам городских стражников, и солдаты расположились бы в вашем доме, спали бы на вашей кровати и варили бы себе похлебку на вашем огне.

Опера дает ежегодно несколько особых спектаклей, идущих на уплату поголовной подати актеров. Таким образом, они расплачиваются особой монетой—*прыжками и танцами*; излишек же выручки идет в их пользу.

Существуют поголовные подати размером в тридцать су, и даже на чердаки, под самую крышу, в помещения, открытые всем ветрам, окладные листы рассылаются от имени *короля*. В Индии неимущие платят дань вшами,—т. е. дают, что имеют. Несчастливым, о которых я говорю, было бы несравненно легче расплачиваться по этому индусскому способу.

Постепенные надбавки незаметно удвоили поголовную подать. Таким же путем увеличились и другие подати: *vingtièmes, taille* и *les accessoires*; и в течение какого же срока? За время деятельности г-на Неккера*. А между тем, считается, что этот министр не ввел новых налогов!

Парижскому буржуа следовало бы наблюдать за тем, чтобы чиновники отдела душевой подати и двойных *vingtièmes* не попадали в число

почетных граждан. Буржуа должен бы относиться к ним, как к евангельским *мытарям*. Это было бы маленькой законной мезью, к которой парижский буржуа должен был бы прибегнуть, чтобы по-своему, мимоходом наказать грубых агентов фиска, и не только за жестокость их ремесла, но и за их характер, ибо они зачастую готовы не считаться с интересами граждан, лишь бы исполнить произвольный закон. Поэтому нельзя относиться с *уважением* к их деятельности, носящей притеснительный или, во всяком случае, противозаконный характер. Послушайте, что сам г-н Неккер говорит королю о поголовной подати, *налагаемой неправильно и часто вызывающей затруднения и жалобы*. Он сам признает, что она раскладывается *произвольно*. Что можно прибавить к этим словам?

234. Оперные хористки

Деньги текут на празднества, на спектакли, на суетные утехы роскоши. Особенно большие средства отпускаются на содержание Оперы, чтобы еще больше изнеживать характеры, плавить крепкие умы в горниле сладострастия и ослаблять их.

Все пущено в ход. Искусство учит оболстительным позам, дышащим негой и способным заронить искру желанья в молодые существа. Дерзкие взгляды, которые должны бы возмущать, завлекают безрассудную юность. Молодежь забывает, что все эти прелестницы расцениваются на золото и что у них есть соперницы,

которых нельзя купить. Им приписывают тысячу привлекательных свойств, потому что думают, что на них лежит печать божества, которое они воспевают и славят. Только в их объятиях излечиваются от их чар. Жертва разврата всегда оказывается холодной жрицей любви.

Как только дочь коснется ногою театральных подмостков, она освобождается от родительской власти. Особый закон упраздняет силу древнейших и священнейших законов. Хористка появляется в фойе, сверкая бриллиантами; товарки уважают ее за ее блестящие туалеты, за изящную карету, за великолепных лошадей. Между хористками даже устанавливается как бы иерархия по степени богатства, и про самую богатую из них никто не сказал бы, что она занимается тем же ремеслом, что и ее товарки. Она свысока относится к молоденькой дебютантке и с видом знатной дамы третирует прекрасного ювелира и искусную модистку. В ее присутствии разглаживаются морщины на лбу судьи; царедворец улыбается ей, военный не осмеливается в ее присутствии быть грубым. Каждое утро ее туалет украшают всё новые подношения. Кажется, будто воды Пактола* льются на нее непрерывно.

Но мода, которая так высоко ее вознесла, меняется. Маленькая соперница, которую она долго не замечала, которую презирала, дерзко становится на ее пути, заслоняет ее своим блеском и опустошает ее салон. Гордая куртизанка, хотя и не утратила еще красоту,—через год оказывается в полном одиночестве, обремененной огромными долгами. Все ее возлюбленные



Спящая красавица
С гравюры Авриля по рисунку Мерсье

сбежали, и, рассчитавшись с кредиторами, она видит, что у нее остается так мало, что едва хватит на обувь и румяна.

235. Отвращение к браку

В то время как столько девиц пользуются свободой, доходящей до распущенности и не приносящей пользы даже в смысле увеличения народонаселения,—что сказать о бесчисленном количестве девушек, живущих под крылышком родителей, которые строго хранят целомудрие дочерей, обрекая их, в силу своей бедности или нелепой гордости, на пожизненное девство? Не находятся ли эти девушки на краю пропасти и не сделаются ли они рано или поздно жертвами тоски или разврата?

Красота и добродетель не имеют у нас никакой цены, если они не подкреплены приданым; очевидно, в нашем законодательстве существует какой-то коренной изъян, раз мужчины избегают и боятся подписать самый приятный изо всех контрактов. Мужчина напуган обязанностями, которые влечет за собой звание мужа, и не желает больше платить дань неблагодарному или заблуждающемуся отечеству.

То ли женщины навредили самим себе, предаваясь роскоши, то ли мы уже подошли к последним пределам разврата. Без приданого теперь уж не берут замуж; мужчины или вовсе не женятся или женятся нехотя. Какой переворот в общественных установлениях! И какое средство могло бы устранить эту политическую ошибку?

Как не быть холостякам в городе, где порок не встречает никаких препятствий? Как могла распущенность наших женщин и их презрение к своим обязанностям не испугать мужчин и не заставить их задуматься о последствиях уз, которые принято высмеивать, которые закон защищает только тогда, когда зло уже совершилось и разглашено?

Разберем подробно в следующих главах, что именно делает брак предметом насмешек. Все преимущества на стороне порока. Что же остается добродетели?

236. Под любым названием

Многочисленные толпы куртизанок, которые ловят в свои сети блестящую молодежь и отбивают ее у других женщин, породили в Париже особый разряд женщин, которые, не обладая бесстыдством порока, в то же время чужды суровой строгости добродетели. У них нет той уверенности в приемах, какая свойственна первым, но взгляд их почти так же ласков; они не берут денег, но принимают ценные подарки; это выглядит более пристойно. Они страшно восстают против продажных женщин, своих врагов и соперниц; но стоит им проигратся в азартной игре, как они начинают потихоньку жаловаться на разорение и тайком берут займы, чтобы избежать нападков мужей, которых они боятся, но не уважают.

Мужчине, желающему ими обладать, бывает достаточно подарить им новые челночки,

игольники и коробочки на том основании, что прежние сделаны из золота разных оттенков, а мода требует в этом отношении полного единообразия.

Мода разрешает таким женщинам появляться на балах, в *Коллизее*, на спектаклях. При встрече с ними никто не говорит: *Это такая-то*, но: *Это госпожа такая-то; ее ведет под руку господин****. Горе тому, кто стал бы про них злословить! Весь кружок так называемых *добрых подруг*, вереница которых теряется в бесконечности, воспламенился бы гневом, и куда бы ни явился этот *злой язык*, он всюду нашел бы хозяйку страдающей мигренью; к нему отнеслись бы как к нарушителю общепринятых обычаев и, по ходячему выражению, сочли бы за *чудовище*. Такой эпитет вынуждает меня поскорее закончить эту главу.

237. О некоторых женщинах

Если бы женщины повели на нас атаку, то как устояли бы мы перед их чарами, перед их страстной смелостью и любовными восторгами? Природа одарила их стыдливостью, являющейся следствием недостатка сил, в которых им было мудро отказано. В наши дни некоторые женщины, в силу праздности, любопытства и особенно в силу тщеславия, не отказываются от такой атаки; но система, предначертанная природой, этим не нарушается: мужчины имеют право им отказать или же ограничиться *мимо-летней интригой*.

Эта маленькая глава не будет понятна для тех счастливых стран, где еще царит невинность; для других же она будет даже слишком понятна. Мое перо неохотно касается всех этих гнусностей, но ведь я описываю Париж.

238. Публичные женщины

Эти, по крайней мере, выдают себя за то, чем они на самом деле и являются; у них одним пороком меньше: у них нет лицемерия; они не могут причинить опустошений, которые зачастую причиняет под фальшивой внешностью скромности и любви развратная недотрога. Это несчастные жертвы нищеты или беспечности родителей; только в очень редких случаях они бывают увлечены на этот путь бурным темпераментом. Они не чувствительны ни к оскорблениям, ни к презрению; они унижены в своих собственных глазах и, не имея возможности побеждать прелестью стыдливости, бросаются в противоположную крайность и выставляют напоказ всю дерзость бесстыдства.

Но в этой бездне испорченности существуют еще разные степени; одна отдается одновременно и наслаждению и деньгам, другая представляет собой животное, в котором уже отсутствует пол. Она даже не чувствует, как над нею издеваются.

Мы не станем оскорблять целомудренный слух и чистые взоры невинности, рисуя картины разврата и чудовищных излишеств; мы умолчим о прихотях сладострастия, о выходах

и порывах ста пятидесяти тысяч холостяков, предоставленных тридцати тысячам проституток (число их доходит до этой цифры). Писатель, обладающий гением, господин Ретиф де-ла-Бретон начертил эту картину в своем *Развращенном крестьянине*. Мазки его кисти так мощны, что написанная им картина вызывает чувство глубокого негодования. К сожалению, она совершенно верна! Ограничимся же сказанным и не будем пугать чувствительное воображение; прикрытые безобразия человечества не следуют выставлять на свет.

Скажем только, что громадное число публичных женщин, поощряющее распущенность страстей, придало молодым людям свободный тон, который они теперь принимают даже по отношению к самым порядочным женщинам. Таким образом, в наше время славящееся вежливостью, мужчины стали грубы в делах любви.

Мы так далеки от изысканной вежливости наших отцов, что наш разговор с женщинами, даже с теми, которых мы глубоко уважаем, редко отличается деликатностью. Он полон дурных шуток, двусмысленностей и скабрзных рассказов. Пора бы исправить этот дурной тон. Дело женщин—начать эту реформу и не допускать больше разговоров, которые они бывают вынуждены выслушивать, рискуя в противном случае прослыть *ханжой*.

Позорные и явные страсти несут в себе самих противоядие, и, быть может, сдержать их не так трудно, как ту распущенность, которая на первый взгляд кажется простительной.

Поэтому я считаю, что *публичная женщина* скорее может превратиться в честную, чем *женщина легкого поведения*.

Но позор проституции слишком далеко зашел в нашей столице. Не следовало бы допускать такого явного, подчеркнутого пренебрежения нравственностью; надо бы больше уважать общественную стыдливость и благопристойность.

Как сможет бедный и честный отец семейства сохранить свою дочь в пору страстей неиспорченной и невинной, если она у своего порога будет видеть, как изящно одетая проститутка пристаёт к мужчинам, кичится пороком, блистает среди распутства и предается под покровительством закона самой безудержной распущенности? Сравнивая себя с ней, девушка решит, что добродетель не приносит никаких действительных выгод, и скоро перестанет с собой бороться. Рассудок не сможет дать ей ясного представления о преимуществах благоразумия; кругом она увидит только дурной пример, являющийся самым опасным социальным примером, особенно для женщин.

Поэтому, даже самое смелое воображение вряд ли может что-либо прибавить к распущенности современных нравов. Как среди высших классов, так и среди низших испорченность такова, что дальше идти почти уже некуда.

В Париже насчитывают тридцать тысяч *публичных женщин*, то есть бродячих *проституток*, и около десяти тысяч менее распущенных, *содержанок*, которые ежегодно переходят

дят из рук в руки. Прежде их называли *влюбленными женщинами* или *женщинами, влюбленными в свое тело*. Проституток никак нельзя назвать влюбленными, а если они и без ума от своего тела, то посещающие их, во всяком случае, не менее безумны.

Полиция набирает себе *шпионов* среди представительниц этого гнусного сословия. Ее агенты накладывают на этих несчастных контрибуцию, прибавляют к их распущенности свою собственную и подчиняют втихомолку своей тиранической власти этих несчастных, считающих, что для них уже не существует закона. Иногда полицейские выказывают себя еще более испорченными, чем самая последняя проститутка, которая тем самым приобретает право относиться к ним с презрением,—настолько их низость превышает все. Да, есть существа, стоящие еще ниже, чем продажные женщины, и такими существами являются некоторые представители полиции.

Полицейский приказ запрещает торговцам отдавать этим женщинам на прокат—понеделно или поденно—платья, меховые вещи, накидки и разные другие наряды. Это указывает, с одной стороны, на ужасную нищету, а с другой—на страшное ростовщичество, к которому торговцы бесстыдно прибегали по отношению к этим существам, не имеющим ни обстановки, ни туалетов и в то же время испытывающим потребность лучше одеваться, чтобы получать более высокую плату; ибо в *меховой накидке* они могут быть более требовательными, чем в простом *казакине*.

Еженедельно происходят ночные аресты, и притом с такой поспешностью, которая не может не вызвать порицания у постороннего наблюдателя, несмотря на все его презрение к тем, кого так третируют. Он невольно подумает о насилии, производимом ночью в жилище этих особ; о слабости женского пола, о скверном обращении, которому подвергают его представительниц, и о плохих последствиях, которые это может вызвать, так как эти существа иногда оказываются беременными. Ибо разврат не всегда избавляет их от материнства.

Их отвозят в тюрьму на улицу Сен-Мартен, а каждую последнюю пятницу месяца они *предстают* перед полицией, то есть на коленах выслушивают приговор, обрекающий их на заключение в Сальпетриер. У них нет ни поверенных, ни стряпчих, ни защитников; их судят весьма произвольно.

На другой день их помещают в длинную открытую повозку, в которой они, скучившись, едут стоя. Одна плачет, другая стонет, третья закрывает лицо; наиболее наглые выдерживают взгляды черни, осыпающей их руганью, и отвечают на нее непристойностями, не боясь свистков и угроз, которыми их провожают. Позорная повозка проезжает по городу среди бела дня; толки, возбуждаемые этим шествием, представляют собой еще новое нарушение общественной пристойности.

Самые *шикарные* и *матроны* при помощи небольшой суммы денег добиваются разрешения ехать в закрытой повозке.

В убежище их осматривают и отделяют зара-

женных, которых отправляют затем в Бисетр, где их ждет либо излечение, либо смерть: новая картина, напрашивающаяся на мое перо. Но я пока воздержусь от нее. Я содрогаюсь перед ее описанием и еще не чувствую себя оправившимся от ужасных впечатлений, которые она оставила во всем моем существе.

О ты, счастливый житель Альп, мирно дышащий горным воздухом вдали от наших городов! Ты видишь только невинных, чистых, девственных красавиц, подобных снегу, который венчает лучезарные вершины гор, опоясывающие горизонт. В этом приюте добродетелей, таком далеком от мишурного логовища разврата, чуждого твоим простым и мирным вкусам, учишь познавать и ценить чистые объятия нежной супруги и ласки любимой сестры. Ты знаешь, сколько очарования и привлекательности придают красоте душевная чистота и неподдельная и трогательная скромность; какая бездонная пропасть лежит между искусственной улыбкой и взглядом парижанки и оживленным, стыдливым лицом девушки, блистающей свежестью и здоровьем, для которой слово *разврат* лишено всякого смысла. О трижды счастливые республиканцы! Храните в своих мирных убежищах чистоту нравов,—это залог счастья и домашних добродетелей! Оплакивайте юного безумца, который в опьянении тщеславной пышностью, влюбленный в суетную роскошь, обманутый беспутной свободой, спешит окунуться в грубое сладострастие столы! Удержите, свяжите его! И чтобы постыдные слова не коснулись невинного слуха поки-

даемых им юных красавиц и не заставили их покраснеть (хотя они и не поймут значения этих слов),— скажите ему на языке избранных: *Siste, miser! Ibi luxus et avaritia matrimonio discordi iunguntur; ibi ingenuitas morum corrumpitur et venditur auro; ibi horribilis cacomonades Veneris templum et voluptatum sedes occupat; ibi amoris sagittæ mortiferæ et venenatæ; ibi exercentur artes damnosæ seu saltem vanæ et prorsus inutiles; ibi moventur lites et iurgia; ibi iustitia ipsa gladium pro miseris tenet; ibi miseros agricolas excoriant et procurator et publicanus, nec misura cutem, nisi plena cruoris, hirudo; ibi fastus et opes dominantur; ibi virtus laudatur et alget, dum vitia coronantur. Unde proverbium frequens et solemne: «Omne malum ab urbe»¹.*

Сумму, которую тратят на публичных женщин (я подразумеваю под этим все их разновидности), можно определить приблизительно в пятьдесят миллионов в год. Расходы же на благотворительность не превышают и трех мил-

¹ Стой, несчастный! Там роскошь и скупость сочетаются в несогласном супружестве; там благородство нравов развращается и продается за золото; там ужасная какомонада занимает храм Венеры и место наслаждений; там—убийственные и отравленные стрелы любви; там занимаются пагубными или по меньшей мере пустыми и совершенно бесполезными искусстваами; там возбуждаются тяжбы и ссоры; там само право заносит меч над бедняками; там несчастных земледельцев обдирают и наместник и откупщик,—точно пивка*: пока не напьется полна, не отстанет*; там господствуют надменность и богатство; там добродетель и восхваляется и пренебрегается, тогда как пороки увенчиваются. Отсюда обычная, ходячая пословица: «Все зло—от столицы». *Пер. Ф. А. Петровского.*

людов. Такое несоответствие наводит на размышления. Эти громадные деньги идут на модисток, ювелиров, на наемные экипажи, рестораны, харчевни, меблированные комнаты и пр. и пр. А особый ужас вызывает сознание, что если бы проституция вдруг прекратилась, то двадцать тысяч* женщин погибло бы в нищете, так как в столице труд несчастных женщин не может удовлетворить их потребностей и не окупает пропитания. Таким образом, разврат является как бы неразлучным спутником населенных городов. Бесчисленное количество всякого вида ремесел существует только благодаря быстрому обороту денег, поддерживаемому развратом. Даже скупец тащит из сундука золото, чтобы оплатить юные прелести, которые подчиняет ему нужда. Присущая ему страсть побеждается другой, еще более могущественной. Ему жалко золота, он плачет, но золото его утекло.

239. Куртизанки

Этим именем называют тех женщин, которые осыпают себя бриллиантами и продают свою красоту по наивысшей цене, не обладая зачастую большей красотой, чем какая-нибудь бедная девушка, продающая себя за гроши. Но судьба, прихоть, известная ловкость, некоторое искусство и ум создают огромную разницу между женщинами, преследующими одну и ту же цель.

Начиная с гордой Лаисы, стремящейся в Лон-Шан* в блестящем экипаже (который, не

будь в нем женщины сомнительного облика, сочли бы за экипаж какой-нибудь юной герцогини), и кончая жалкой проституткой, изнывающей под вечер где-нибудь на углу,—какая бесконечная иерархия в одном и том же ремесле! Какое множество различий, оттенков, названий,—и все для того, чтобы выразить по существу одно и то же!

Сто тысяч ливров в год или серебряная, а то и медная монета за четверть часа обуславливают эти определения, обозначающие лишь различные ступени порока и величайшей нищеты.

Куртизанок можно поставить между проститутками и женщинами, находящимися на *благовидном* содержании. Один писатель дал им очень верное определение: «Их можно принять за самок царедворцев*. Они обладают теми же пороками, прибегают к тем же хитростям и тем же средствам; ремесло их так же неприятно, так же утомительно, и они так же ненасытны. Словом, между ними существует большее сходство, чем между самцами и самками многих зверей».

240. Содержанки

Считаясь рангом ниже куртизанок, они в то же время менее их развращены. Они имеют любовника, который им платит, над которым они смеются, которого обирают, и еще другого, которому они платят в свою очередь и ради которого делают тысячи глупостей.

Эти женщины либо становятся бесчувственными, либо любят до безумия. В последнем случае они выплачивают любви дань нежного сердца. С годами ими овладевает безумное желание выйти замуж. Мужчины, предпочитающие деньги чести, женятся на них и унижают себя этим браком. Обычно такими женихами являются бесталанные скрипачи, посредственные художники, бедные архитекторы.

В Персии (по словам маркиза д'Аржанса*) не говорят: *Заида*, *Фатима*, но *пятьдесят туманов*, *двадцать туманов* (туман на наши деньги составляет пятнадцать экю). «Точно так же,—прибавляет он,—и имена наших содержанок следовало бы заменить названиями: *сто луйдоров*, *пятьдесят луйдоров*, *десять луйдоров* и т. д. Это надо бы сделать для общественного удобства и в назидание иностранцам, которые часто платят непомерно высокую цену за то, что обходится другим гораздо дешевле».

241. «Развращенный крестьянин», сочинение г-на Ретифа де-ла-Бретона

Я отсылал* за сведениями о том, чего сам не мог сказать, к этому столь смело написанному роману, появившемуся несколько лет тому назад. Мощной кистью в нем зарисованы яркие картины порока и опасностей, которым неопытность и добродетель подвергаются в развратной столице. Это произведение, несомненно, принесет пользу, несмотря на чересчур обнаженные и слишком выразительные картины.

Ибо не найдется отца, живущего где-нибудь в провинции, который, прочитав эту книгу, не стал бы удерживать своего сына около себя. Современная мания посылать детей в Париж, где они заражаются пороками и гибнут, представляет собой величайшее зло.

Города второстепенные и третьестепенные незаметно пустеют, а бездонная пропасть столицы поглощает не только золото родителей, но еще и порядочность и врожденную добродетель сыновей, которые дорого расплачиваются за свое неосторожное любопытство.

Этот полный жизни и выразительности роман не вызвал никакого отклика среди писателей, а нужно заметить, что только очень немногие из них были бы в состоянии задумать и привести в исполнение подобного рода план. Это молчание естественно должно нас удивлять и вызывать в нас негодование; как несправедливо и нечувствительно большинство литераторов, которые восхищаются одной только холодной и условной красотой и не умеют ценить яркие, смелые черты, присущие сильному и живому воображению.

Неужели царство фантазии совершенно оскудело у нас, и мы больше уже не будем углубляться в широкие нравственные и занимательные сочинения, вроде тех, какими отличается творчество аббата Прево и его счастливого соперника Ретифа де-ла-Бретона? В наши дни тратят все силы на полустышья, на *piuæ sapo-ge*¹, взвешивают каждое слово, пишут ака-

¹ Звонкие пустышки* (лат.).

демические пустячки. Вот что заменяет порыв, силу, широту идей и разнообразие картин. Какими мы становимся сухими и узкими!

Перу, одаренному такой мощью, остается начертать новую картину; несчастная мать, теснимая, с одной стороны, голодом, с другой—бесчестием, не может избежать грозящей ей смерти иначе, как пожертвовав своей дочерью. В трудной борьбе с совестью она, в конце-концов, торжествует, но умирает среди жестоких людей, извлекавших выгоду из ее страданий и ждавших от нее ужасной и вынужденной жертвы. Она умирает с сознанием выполненного долга, но смерть ее бесплодна: на другой же день после ее смерти дочь ее падает в бездну порока, вернее—уступает несчастью и своей неопытности.

Быть может, мою книгу прочтет какой-нибудь богач, один из тех, которые пользуются своим золотом, чтобы развращать людей. Если он доселе встречал матерей стоворчивых и преступных до такой степени, что я даже не смею здесь об этом писать, то он узнает по крайней мере, что и подобная грустная картина не может быть отнесена к разряду вымышленных.

242. Балы в Опере

Они поддерживают распущенность, освящают ее в силу как бы всеобщего соглашения. Они склоняют даже самые замкнутые характеры отдаться общепринятому развлечению. Балы эти считаются особенно удачными, когда

на них царит страшная теснота: чем давка больше, тем довольнее бывают присутствующие.

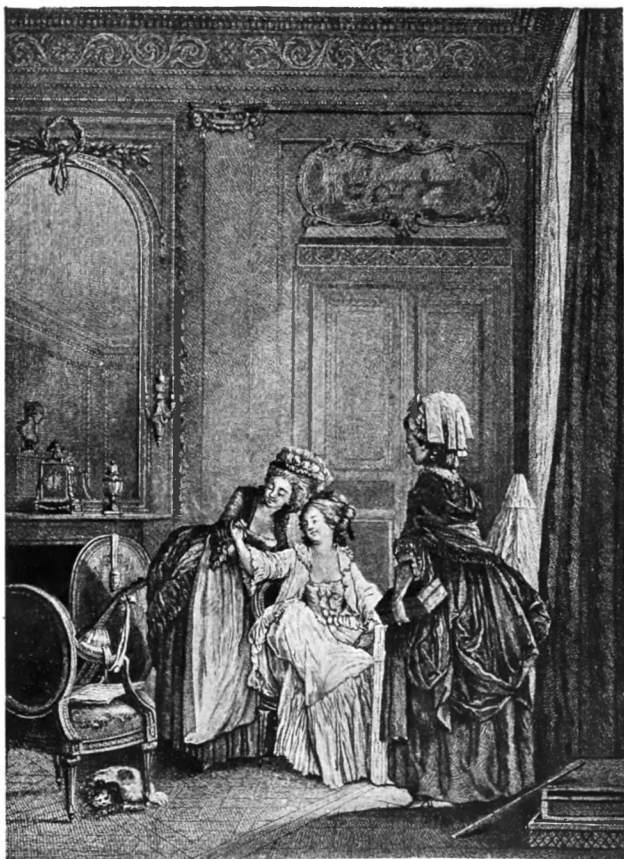
Когда становится очень тесно, женщины предоставляют себя на волю *приливов и отливов*, причем их нежные тела прекрасно выносят натиск толпы, которая то останавливается на некоторое время, то начинает волноваться и катится, как волна.

Надо, говорят, иметь очень мало ума, чтобы не суметь проявить его под маской. Однако то, что там приходится слышать, гораздо менее остроумно, чем то, что говорится в клубах. На балах не говорят ни об отдельных личностях, ни о событиях, все разговоры туманны и бессодержательны, за исключением разговоров из области волокитства. Если бы правительство разрешило хотя бы на один только вечер *полную свободу слова*, то получилось бы нечто очень пикантное.

Содержанки, герцогини, меццанки скрываются под одинаковыми домино, и, несмотря на это, их различают; с гораздо большим трудом распознают мужчин, и это доказывает, что женщины обладают во всех слоях общества более тонкими и типичными чертами.

В прежние времена на этих балах царило шумное веселье; теперь о нем нет и помину: под маской наблюдают друг за другом не меньше, чем в обществе.

Я был в Париже на одном балу, где пятидесяти присутствующим домино предстояло сделать в тот же вечер по шести выстрелов каждому. Правда, об этом узнали только на дру-



Торговка украшениями
С гравюры Видаля по рисунку Лоренса

гой день, но надо признаться, что это был весьма странный бал.

Именно на этих балах, под утро, в Париже чаще, чем где-либо, можно встретить множество интересных дурнушек.

Очень досадно, что там незаметно утрачивается то внимательное и вежливое отношение к женщинам, которое должно проявляться при всяких обстоятельствах, а особенно в общественных местах.

Когда какому-нибудь кармелиту, францисканцу или бенедиктинцу удастся, сбежав из монастыря, тайно присутствовать на балу в Опере, он считает себя счастливейшим человеком. Он и не подозревает, что левитов* там множество и что многие представители духовенства, целыми днями бегающие в лиловых одеждах, давно уже пресытились этим развлечением.

Единственно, что в Париже выполняется с серьезнейшим видом, точно дело идет о чем-то крайне важном,—это *кадриль*. Я поражен достоинством, с каким ее здесь танцуют.

Всем известно, что из Парижа посылают за границу в качестве образца куклу, но известно ли, что в письмах рассылают планы того или иного балета, контраданса с тысячью разных фигур или новой кадрили, чтобы они были в точности воспроизведены на расстоянии пятисот миль?

На балу в Опере произошло событие, которое будет отмечено в истории, так как оно послужило доказательством, что, несмотря на смену веков, древние обычаи быстро опять вступают в силу, едва лишь какие-нибудь исклю-

чительные обстоятельства пробуждают народный дух.

Чтобы прослушать шумную и однообразную симфонию, платят десять ливров с человека. Те, кому уже нечего больше ждать от женщин, на балу скучают, но они все же идут туда, чтобы иметь возможность сказать на другой день: «Я был на балу; меня там едва не задушили».

На этих балах иногда танцуют, но тому, кто видал оживленные и веселые танцы юных красавиц страны, прославленной вздохами *Юлии**, кто видал веселые и легкие па эльзасок, прыжки провансалек, искреннюю, непосредственную радость бретонок, тому станет невыносимой холодная, искусственная грация наших балов, как простых, так и маскированных.

243. Без названия

Существуют пороки, о которых лучше не говорить, так как рискуешь разоблачить их, не будучи в состоянии их исправить. Что может сделать мораль с возмутительными пороками и гнусностями, обреченными умереть во мраке? Каким образом участники этих тайных мерзостей смогли бы вернуться на путь добродетели, на которую они уже неспособны? От такого поколения ничего хорошего ждать уже нельзя. Оно поражено гангреной и должно пасть, сгнить и исчезнуть. Но негодование переходит в сострадание, когда задумаешься о пучине мерзости, в которую погружаются иные чудовищно развращенные существа.

Суровые меры против гнусных извращений опасны и, в большинстве случаев,—бесплезны. Невыгодно нападать на то, чего нельзя искоренить. Когда дело идет об исправлении нравов, нужно действовать наверняка, а не прибегать к тщетным попыткам.

Судья, имеющий в своих руках тайный список нарушителей законов природы, может ужаснуться их множества. Он должен обуздывать порочность нравов, выходящую за известные границы; но, помимо обуздания, сколько потребуется тут осмотрительности! Иначе расследование может сделаться таким же омерзительным, как и самое преступление. Как наглы современные пороки! Лет сто тому назад для их обозначения у нас не было соответствующих слов, а в наши дни подробности этих излишеств уже влетают в темы наших бесед! Старики забывают о подобающей им серьезности и достоинстве, говоря об этом преступном распутстве. Чистота нравов оскверняется такими речами, тем более опасными, что теперь почти открыто забавляются этими невероятными гнусностями.

Откуда произошел этот позор, пятнающий нас? Кто нанес общественной чести такое жестокое оскорбление? Кто выставил на посмешище священную скорбь добродетели, которая сокрушается над этими мерзостями, унижающими женщин и делающими из них особый класс людей, вожделения и дикие порывы которых теперь откровенно описываются? К этому ли должен был привести нас прогресс цивилизации и знаний? Какое падение! Этот вид порока

иногда изумляет даже самые развращенные умы, но все же им далеко не так возмущаются, как следовало бы.

Нужно было бы громко стонать и, забыв позорные пороки, наказывающие тех, кто им предается, погрузиться и замкнуться в страстях нежных, чистых и добродетельных, которые, при помощи своих вечных чар, должны вернуть свое благотворное владычество. Это мысль Монтескьё, и он ее, несомненно, хорошо продумал, раз включил в такую серьезную книгу, как *Дух законов*.

244. Собачки

В последнее время они являются главным объектом женского безрассудства. Женщины превратились в гувернанток мосек и окружают их самыми невероятными заботами. Если вы наступили нечаянно на лапу собачки, вы погибли в глазах женщины; она, может быть, это и скроет, но никогда вам не простит; вы ранили ее *фетиш*.

Собачкам подают самые изысканные кушанья, их кормят жирными цыпятами, а больному, живущему на чердаке, не пошлют и чашки бульона.

Только в Париже можно видеть велико-возрастных балбесов, которые, ухаживая за женщинами, всенародно—на прогулках и на улице—таскают подмышкой их собачонок. Это придает им такой нелепый и глупый вид, что трудно не рассмеяться им в лицо, чтобы

научить их вести себя, как подобает мужчинам.

Когда я вижу, как красавица оскверняет свой рот, осыпая поцелуями собачонку, нередко безобразную и противную и—будь она даже очень красива,—никак на заслуживающую таких горячих проявлений нежности,—глаза этой красавицы начинают казаться мне менее очаровательными, а ее руки, которые она протягивает к собачке,—менее стройными. Я придаю меньшую цену ее ласкам; она теряет в моих глазах большую долю своей красоты и прелести. Когда же смерть моськи доводит женщину до полного отчаяния, которое приходится с ней делить, грустить и молча ждать дня, когда время залечит, наконец, такое тяжелое горе, то все это сумасбродство уничтожает последние остатки женского очарования.

Никогда женщина не делается картезианкой; никогда не согласится она с тем, что ее собачка не проявляет ни ума, ни чувствительности, когда к ней ласкается. Женщина способна была бы исцарапать лицо самому Декарту, если бы он осмелился ей это сказать. В ее глазах привязанность ее собаки стоит больше, чем разум всех вместе взятых мужчин.

Я видел, как одна хорошенькая женщина не на шутку рассердилась и перестала принимать человека, разделявшего такое нелепое и дерзкое мнение. Как можно отказывать животным в чувствительности? Допустим, что они весьма чувствительны, и, совершенно не оправдывая жестокости по отношению к ним, будем стараться делать им как можно меньше зла;

но, питаюсь мясом быков, баранов и индеек, не будем осыпать безумными ласками собачонок, которых даже и в пищу-то не употребляют.

Собачка одной докторши заболела. Муж обещал ее вылечить, но лечил плохо, выздоровление шло, медленно. Потеряв терпение, жена вызвала Лионне¹, который достиг полного успеха. «Сколько вам следует?»—спросил важный доктор медицины у охранителя собачьей породы. «О сударь,—ответил Лионне,—*между коллегами об этом не может быть речи*».

245. Самонадеянность

Она весьма свойственна всем состоятельным парижанам. У офицера самонадеянность простирается не так резко, как у представителя судейского сословия или духовенства. До некоторой степени она почти во всех сословиях вредит вежливости и светской обходительности; но так как это общий недостаток, то он становится почти неощутимым. Высшая вежливость является следствием умения схватывать бесчисленные тонкие оттенки; по-настоящему ею владеют только люди с возвышенным характером и очень чувствительной душой. Придворный безусловно обладает такой вежливостью, хотя она у него и не исходит из сердца, но он тонко чувствует и тщательно соблюдает приличия. Манеры военного отличаются всегда большей принужденностью, чем манеры при-

¹ Известного собачьего доктора. *Прим. автора.*

дворного. Последний останавливается на известной границе, первый ее переходит.

Когда оттенок становится чересчур *густ*, — он лишается изящества и непринужденности, которые присущи подлинно благовоспитанным людям; подражатели, желая к ним приблизиться, впадают в неприятную фамильярность. Таковы мелкие версальские чиновники, многие финансисты, некоторые гвардейские офицеры и некоторые писатели. В глазах знатоков все они смешны.

246. Продажа воды

Когда в Швейцарии, где в каждой деревушке изобилуют многоводные и крайне удобные общественные фонтаны, говорят, что в Париже вода продается; что фонтаны там бывают сухи целых полгода; что лошадей приходится водить на водопой к реке; что вода брызжет только в грязных бассейнах, устроенных в некоторых местах для прогулок, — это вызывает хохот, и люди пожимают плечами в знак удивления и сочувствия.

Продажа воды в столице дает потрясающий оборот. Допустим, что жителей девятьсот тысяч (таков мой счет), и определим расход на воду по три ливра в год на человека из расчета тридцать коромысел, по два су за каждое коромысло в два ведра. Вот вам два миллиона семьсот тысяч ливров.

Лондон прекрасно снабжается водой при помощи девяти пожарных насосов. У нас недавно поставили один такой насос около ограды

Шайо и обещают установить их во всех кварталах, где это потребуется.

Это нововведение, носящее характер величия и всеобщей полезности. Быстрая подача воды, кроме многих других выгод, оздоровит воздух. Какая это громадная услуга жителям столицы!

Зачем брать воду в таких низинах? Не проще ли было бы провести ее при помощи гидравлической машины из Порт-а-л'Англе к площади Эстрапад, самому возвышенному месту Парижа? Оттуда вода распространялась бы легче и была бы чище. Но решено было начать с самого богатого квартала, с Сент-Оноре, как наиболее способного платить компании, давшей капитал на установку таких *пожарных машин*. Эти суммы составляют около двух миллионов.

Ежедневная бочка воды обойдется в год в пятьдесят ливров. Двадцать бочек будут, таким образом, стоить тысячу ливров; проводные трубы различной толщины, в зависимости от требований отдельных лиц, смогут обслуживать каждый дом, и вода будет сама собою подниматься на высоту пятнадцати футов.

Не будет больше оправдания пекарям, замешивающим хлеб на колодезной воде, зараженной разными отбросами и нечистотами, которые просачиваются из выгребных ям; пекаря будут располагать чистой водой так же, как и пивовары, красильщики, лимонадчики, выводчики пятен, прачки и т. п. Помимо того, что эти набосы будут крайне полезны в случае пожара, они смогут еще омыwać парижскую

мостовую, самую заразную и грязную во всем королевстве.

Вода в двух любопытных машинах, установленных над воротами Конферанс, поднимается при помощи огня. Простой пар кипящей воды является необыкновенно мощным двигателем, с которым не может сравниться ни одна из до сих пор известных нам сил. Пар поднимает воду на сто десять футов над уровнем Сены и дает в течение суток *четыреста тысяч кубических футов воды* весом в *двадцать восемь миллионов восемьсот тысяч фунтов*. Таким количеством можно вволю напоить, омыть и залить весь город. Недостает еще только труб, денег и доброй воли мелких собственников, которые, по слухам, не торопятся вступить в число заказчиков. Так старые и глупые привычки берут верх над самыми полезными нововведениями, или, лучше сказать, так буржуа, угнетенный тысячами поборов, становится неподатливым в самых важных для него делах.

Но когда все эти паровые машины будут установлены, то от двенадцати до пятнадцати тысяч водоносов останутся без заработка. Возможно, что они окажутся неспособными ко всякой другой работе, так как ремень глубоко врезывается им в плечи и их туловищу, привыкшему сохранять равновесие только в известном положении, трудно будет приспособиться к ношению тяжестей другого рода.

Строители этих машин — братья Перье. Одного из них можно назвать гениальным изобретателем, а другого — таким же исполнителем.

В данное время они заняты любопытной и полезной работой: изображением в уменьшенном виде всех ремесел и искусств. Тут будут представлены все орудия механического производства, в прекрасных рельефах, в масштабе одного дюйма на фут. Эта уже начатая коллекция будет принадлежать герцогу Шартрскому. Дать во дворцах убежище ремеслам—значит обессмертить эти последние. Если бы древние были достаточно предусмотрительны, нам не пришлось бы оплакивать утрату множества различных способов производства и постепенно восстанавливать их на протяжении стольких веков, причем многие из них нами до сего времени так и не открыты. Мы могли бы найти в каком-нибудь ларце, погребенном под пеплом Геркуланума или иного какого-либо города, достижения всех изобретательных народов, предшествовавших нам. Писанная энциклопедия всегда будет туманна, неполна и ограничена по сравнению с самим предметом, который одновременно поражает и глаз наш и мысль, не скрывая от них своих подлинных пропорций, ибо он виден со всех сторон. Взаимоотношения его частей становятся осязательными, и чтобы понять их, не нужно ни изучать мертвые языки, ни производить длинные и неточные вычисления, которые чаще всего лишь убеждают нас в какой-нибудь глубокой ошибке.

247. Барышни

Среди произведений, изображающих наши нравы, нет ничего фальшивее комедий, в

которых предметом любви является *барышня*. В данном случае наш театр лжет. Пусть иностранец не заблуждается: *барышни* не являются предметом любви, так как бывают заперты в монастырях до самого дня свадьбы. Нет никакой возможности объясниться им в любви. С ними никогда не видишься с глазу на глаз, и приличия не позволяют прибегать к чему-либо похожему на ухаживание. Дочери крупных буржуа тоже воспитываются в монастырях; в кругах средней буржуазии они не отходят ни на шаг от своих матерей; вообще девушки не располагают ни малейшей долей свободы и не имеют ни с кем общения вплоть до самого замужества.

Только дочери мелких буржуа, ремесленников и простолюдинов пользуются полной свободой, бывают, где угодно, а следовательно и любят по своему усмотрению. Остальные получают мужей из рук родителей. Свадебный контракт—просто торговая сделка, и мнения дочерей никто не спрашивает. *Гризетками* называют девушек, наводняющих мастерские модисток, белошвеек и портних. Многие из них представляют собою нечто среднее между содержанками и оперными фигурантками.

Гризетки сдержаннее и пристойнее; они способны к привязанности. Содержание их стоит недорого и не дает повода к скандалам. Они свободны только по воскресеньям и праздникам, и на эти-то дни им и нужен *друг*, который вознаграждал бы их за скуку всей недели; а неделя тянется долго, когда с утра до вечера приходится сидеть с иглой в руках. Наиболее благо-

разумные из них накапливают достаточно денег, чтобы найти себе мужа, или выходят замуж за своих прежних любовников. Другие до самой старости не выпускают из рук иглы или поступают в богадельню.

Итак, авторам комедий следовало бы внимательно присмотреться ко всем этим условиям и знать, что признание в любви можно сделать барышне не иначе, как с позволения ее родителей, а в этих случаях брак обычно уже предрешен. Вот почему драматурги, изображая в роли влюбленной девушку из хорошей семьи, в действительности изображают лишь любовные похождения гризетки.

Им следовало бы изображать вдов, если они не хотят определенно противоречить установившимся обычаям. И для чего непременно нужны во всех комедиях *благородные девицы*, так же как и неизбежные графы и маркизы, между тем как этажом ниже сцена становится гораздо разнообразнее, интереснее и оживленней? Но как существует условный язык для трагедии, так же точно создан другой, особый язык для комедий; однако ни короли, ни дворянство не узнают в нем своего языка: его создал автор в итоге бесконечных стараний и словно нарочно для того, чтобы погубить свою пьесу.

248. Любовные связи

Они заменили любовь, которая царила в Париже всего еще какое-нибудь столетие тому назад. В эпоху Людовика XIV благопристойность и деликатность были в моде.

В наше время сильные страсти редки; с другой стороны, они уже не носят того дикого характера, когда месть сменяла нежность и преступление следовало за наслаждением. Теперь больше уже не дерутся на дуэли из-за женщин; их поведение сделало такие поединки нелепыми.

Все лишнее, что восторженное или обманутое воображение придавало любви,—теперь урезано. Если взглянуть на эту перемену с философской точки зрения, придется сказать, что теперешняя любовь более подходит к нашим слабым характерам и к отсутствию в нас потребности испытывать сильный душевный подъем. Во всем остальном мы обходимся без сильных и возвышенных чувств,—так зачем же мы стали бы вкладывать их в любовь?

Теперь уже не увидишь покинутого любовника, который в яде стал бы искать исцеления своим страданиям; существуют более приятные средства, а непостоянство (оправдывать которое я не намерен) все же предпочтительнее тех неистовств, которые скорее свидетельствовали о чрезмерной гордости, чем о подлинной нежности.

Было бы опасно,—говорят в наши дни,—если бы любовь поглотила все другие наши страсти. Отечество и общество от этого только проиграли бы. Видеть, обожать только одно любимое существо, все приносить ему в жертву—значит лишаться свободы, значит отдать во власть безумию и неистовству все способности своей души. Такова современная логика.

Говорят также, что серьезное уважение, основанное на истинном чувстве, предполагает

в любимом существе гораздо больше добродетелей и что женщина, тонко чувствующая, всегда предпочтет пробуждать такое именно чувство, чем вызывать поклонение, основанное только на ее очаровании, ибо такое поклонение, не являясь данью ее душе, быстро испаряется. Подобными рассуждениями думают оправдать наши нравы, но отечество, на которое при этом ссылаются, от этого только теряет.

Итак, решимся признаться, что любовь в Париже является, собственно говоря, лишь легким развратом; она подчиняет себе нашу чувственность, не становясь тираном ни нашего рассудка, ни чувства долга; одинаково далекая как от настоящего разврата, так и от нежности, пристойная в своей живости, поскольку это возможно, и утонченная в своем непостоянстве,— она не требует жертв, которые обходились бы нам слишком дорого. Далекая от того, чтобы вооружать нас друг против друга, она не покушается на то, к чему обязывает нас чувство долга, уважает узы дружбы, порою даже их скрепляет,—словом, она ставит честь на первое место и осуждает всякую слабость и подлость.

В наши дни законодатель мог бы вычеркнуть из законов все статьи, касающиеся насилия. Нашим Лукрециям нечего опасаться Тарквиниев*. Соблазнитель существуют только для той, которая желает быть соблазненной, и истинная добродетель может сохраниться неприкосновенной среди множества примеров противоположного. Но делает ли честь моему веку отсутствие такого порока?—Не думаю, потому что

это обуславливается уничтожением целого ряда добродетелей. Изнасилования, так же как и кощунство, свидетельствовали о том, что женщины и алтари являлись предметом набожного поклонения.

Таким образом, любовь в наше время отнюдь не может быть названа палачом сердец. Всегда радостная, всегда шутливая, она отлетает раньше, чем явится скука; она поражает так легко, что наносимые ею удары ранят только те сердца, которые соглашаются быть ранеными.

Я утверждаю, что, отняв у этой страсти ее неистовство, пресекли лишь небольшое число преступлений и очень много крупных талантов. Судя по истории, кровавые преступления бывали как бы неразлучны с глубокими, ревнивыми и мстительными привязанностями, терзавшими наших предков. Таким образом, все возмещается.

«Великие страсти,—говорят апологеты нашего века,—до некоторой степени несовместимы со счастьем. Правда, действительное счастье связано только с ними, но дело в том, что счастье—редкость, а потому лучше получать сумму наслаждения мелкой монетой. Не ставя больше перед собою великих задач, мы не нуждаемся и в сильных страстях».

249. 0 женщинах

Замечание Жан-Жака Руссо о том, что парижские женщины, привыкнув бывать во всех общественных местах и смешиваться с толпой мужчин, переняли от мужчин их гордость, их

дерзость, их взгляды и почти что их походку, — вполне справедливо.

Прибавим к этому, что вот уже несколько лет как женщины играют в обществе роль деловых посредниц. Они пишут по двадцати писем в день, напоминают о поданных прошениях, осаждают министров, докучают чиновникам; у них свои конторы, своя регистратура. И, вращая колесо Фортуны, они поднимают на нем своих любовников, своих любимцев, своих мужей и, наконец, тех, кто им за это платит.

Многие женщины говорят о себе, подобно Нинон*: *Я сделалась мужчиной*. Зато дерзкое ухаживание современных мужчин окружает теперь наших красавиц лишь насмешливым и оскорбительным поклонением.

Никогда в прежние времена, говоря о слабом поле, не говорили просто: *женщины*; скорее предпочли бы даже какое-нибудь грубое выражение.

Жан-Жак Руссо высказал парижским женщинам столь жестокие истины, что я даже не смею его оспаривать. Он все же признает, что можно и следует искать среди них себе друга. Я тоже думаю, что существует много разумных женщин, действительно чутких к благородному обращению и способных на величайшее постоянство в дружбе. Но в любви... О! Я не имею права, подобно Жан-Жаку, говорить им страшные истины. Только он один умел им нравиться, не прибегая к лести.

Лорд Честерфильд*, воскурив, как только мог, фимиам нашей нации, кончил тем, что



Истинное счастье

С гравюры Симоне по рисунку Моро младшего

сказал на ушко своему сыну: «Француженки представляют собою больших детей, которых надо забавлять двумя погремушками: лестью и ухаживанием».

У нас имеются очаровательные женщины, живые и лукавые глазки, милovidные и тонкие личики, умные головки; но *прекрасные* головы наперечет—они чрезвычайно редки.

Почему женщины любят столицу? Потому что здесь они окружены большим числом поклонников. Заведите с ними разговор о деревне: они не станут скрывать своего отвращения к уединению, где они чувствуют себя не столь могущественными.

Как бы ни была властолюбива парижанка, она всегда подчинится влиянию мужчины, если он сумеет быть твердым и осторожным. Жену создает муж. Но так как три четверти мужчин не обладают ни характером, ни силой воли, ни достоинством, то существует множество женщин легкомысленных, расточительных, кокеток и вызывающе гордых.

Это является главным недостатком наших женщин. Тщеславие, положение в обществе и окружающая роскошь слишком рано опьяняют их. Ничто так не поражает, как их странный тон; ибо женщина, какова бы она ни была, никогда не может придать своему взгляду выражение дерзости или грубости, не потеряв при этом доли своего достоинства, своей грации, своего подлинного превосходства. Природа устроила так, что женщина никогда не может превзойти мужчину никакими внешними проявлениями без того, чтобы тотчас же не по-

казаться отталкивающей и смешной. Ничто не избавит ее от этой вечной подчиненности, хотя бы она восседала на троне мира. Она может приказывать, давать простор своим деспотическим и даже горделивым страстям, но ей не дозволено быть заносчивой по отношению к мужчине, то есть осмеливаться презирать своего повелителя.

Женщины, неспособные понять политической идеи, мало-мальски обширной и сложной, обладают зато замечательной способностью поддерживать домашний порядок и уют. Такие женщины бесценны для только что родившегося народа, а также и для уже испортившегося. И в Париже, в своей домашней жизни, они исправляют зло, вносимое законодательством в жизнь общественную.

У республиканцев жены—только хозяйки, но у них женщины полны знания, благоразумия и опытности. Когда нация политически еще не существует или когда она уже перестает существовать, надо обращаться за советом к женщинам, так как если они и чужды патриотических уз, они держатся очень крепко за нежные узы семьи.

Вот в чем подлинное могущество парижанок. Они веселы, мягки, любезны, пока находятся в обществе. В домашней же обстановке они мстят окружающим за сдержанность, которою стесняют себя в свете. Они имеют дело с самыми добродушными мужьями во всем мире; они во что бы то ни стало хотят совершенствовать в них добродетельное терпение и всячески стараются подчинить их себе.

Существует, однако, род женщин весьма почтенных,—это представительницы второразрядной буржуазии. Преданные своим мужьям и детям, заботливые, бережливые, внимательные к своему дому, они представляют собою образец благоразумия и трудолюбия. Но эти женщины не имеют состояния, стараются его скопить, не обладают внешним блеском, еще меньше—образованием. Их не замечают, а между тем они-то и поддерживают в Париже честь своего пола.

Обычай слишком избаловал женщин; это делает их властными и требовательными. Потеряв жену, муж разоряется*. Если она проболит лет десять, это обходится ему очень дорого; все это он должен возместить после ее кончины. Отсюда та грусть, с которой завязывают в Париже узы, столь приятные повсюду в других местах.

В известном возрасте женщина, не притязающая на остроумие, впадает в набожность. Она принимает соответствующую внешность, присутствует на всех проповедях, просит благословения, навещает своего духовника и воображает, что только она одна и делает добрые дела. Она так твердо в этом убеждается, что начинает проклипать всех встречаемых, а особенно тех, кто сочиняет книги.

Наши женщины утратили самое трогательное, чем отличается их пол: скромность, простоту, наивную стыдливость. Они возместили эту огромную утрату прелестями ума, изяществом беседы и обращения. За ними больше ухаживают, но их меньше уважают. Их любят, не

веря их любви, у них скорее любовники, чем друзья. Одни сами исчезают, другие имеют несчастье им надоедать. На склоне жизни женщины оказываются одинокими, после стольких встреч с мужчинами, у которых они покоряли сердца, но не ум.

Они слишком далеко зашли, чтобы снова стать женщинами; им нужно было бы окончательно превратиться в мужчин, а то они рискуют еще больше потерять в глазах окружающих. Тогда, по крайней мере, они перестали бы быть существами среднего пола, и наше поклонение им носило бы тогда более положительный характер.

250. Кокарда

Те самые женщины, которые присутствовали на турнирах, которые собственными руками украшали боевые одежды своих возлюбленных, подавали им доспехи и посылали их в бой,—вознаграждают теперь героев *кокардами*. В наши дни любовь к отечеству весит так же мало, как и этот легкий дар!

Любят ли женщины знаменитых людей? Как они их любят? Умеют ли они их ценить? Вопросы эти легко было решать в прошлом веке, но в наши дни они представляют значительные трудности.

251. Развод

Развод не разрешен, и жалобы на это со стороны разъехавшихся супругов бесконечны. Своды храма правосудия полны стонов су-

пругов, уставших от совместной жизни. Мы видим целые толпы людей, которых священные узы брака тяготят и терзают. Супруги негодуют на несокрушимость этих уз, которых не могут порвать никакие усилия.

Наше законодательство, связывая нас на неограниченный срок, не считается ни с нашими страстями, ни с нашей природой. Несовершенство сурового закона о браке обнаруживается, главным образом, в тех странах, где образование, истощая сердца, отучает их от сильных и всепоглощающих страстей.

Закон был вынужден разрешить разлучение супругов,—нечто несравненно более возмутительное, чем официальный развод, так как такое разлучение, разъединяя два существа, вырывает у них из-под ног твердую почву.

Случаи развода в тех странах, где он разрешен, гораздо реже, чем случаи *разлучения супругов*. Нужно ли удивляться тому, что, будучи не в силах побороть неумолимый закон, к тому же совершенно некстати связанный с самой суровой религией,—человек дошел до того, что стал над этим законом издеваться, постоянно и вполне открыто нарушая его.

Добровольные разлучения супругов в Париже весьма обычны. Тщетно обращаться к закону, требуя разрыва уз, сделавшихся невыносимыми; люди сами порывают их, и ни гражданские, ни церковные законы не задают супругам никаких вопросов по этому поводу, раз ни одна из сторон на это не жалуется. Вот каким образом неумолимые законы внезапно теряют и силу и уважение.

252. Контрасты

Столичные женщины пользуются не только самой широкой свободой, какую только можно себе представить, но и совершенно исключительным доверием. В силу каких-то тайных маневров они являются невидимой душой всех дел и добиваются успеха, почти не выходя из дома; они влияют на общественное мнение, когда оно находится в нерешительности.

Если между мужем и женой возникает ссора, муж оказывается всегда неправым; несколько дней спустя его уже изображают в самых мрачных красках. Всюду проявляется женское единодушие. В конце-концов как адвокаты, так и судьи и закон оказываются на стороне мужа. Тогда все дело кассируется, передается в другой суд, женщины поддерживают сторону жены, и, несмотря на всю неопровержимость доказательств,—им удается сначала возбудить все умы, а потом и увлечь их за собой.

Но беда незамужней! Ей ничто не дозволяется, все вменяется ей в преступление. Матери неусыпно наблюдают за дочерьми, потому что хорошо знают все проделки, на которые способны вдохновлять страсти. В силу этого роль молодой девушки исключительно трудна. Ее обучают всем приемам жеманства и кокетства; ей внушают любовь только к искусствам, служащим украшением сладострастия; ей преподают только науку нравиться, и в то же время желают, чтобы она, забыв о цели, к которой ведут все эти настав-

ления, стала холодна и глуха ко всем речам, произносимым в ее присутствии, и оставалась бы равнодушной, видя какое впечатление производят ее чары.

Ей приходится, следовательно, скрывать, а сердце ее молодо и не рождено, повидимому, выдерживать непрерывное притворство. Она ни единым словом не может обмолвиться о том, что сама отлично понимает; свет по отношению к ней глуп и несправедлив. Если она задумчива, тотчас же начинают говорить, что ее томит желание иметь возлюбленного. Если она весела и беспечна, ее упрекают в несдержанности. Она не может ни смеяться, ни вздыхать. Хотят, чтобы она в одно и то же время была и не была молодой девушкой.

Вот почему девушкам скучно с женщинами, а женщинам—с девушками. Им совершенно не о чем разговаривать друг с другом; если же между какой-нибудь женщиной и молодой девушкой возникает близкая дружба, то невинности второй приходит конец.

253. Истерические припадки

Изнеженность сладка,
последствия ее—ужасны.

Этот стих Вольтера точно продиктован врачом. В самом деле,—изнеженность тела указывает на бездействие души. Все наше тело приходит в расслабленное состояние, лишаящее ткани их эластичности, необходимой для

того, чтобы все секрeции совершались правильно.

Это вызывает истерические припадки, являющиеся следствием бездеятельности тела, нарушившей душевные способности. Воображение становится всеильным, потому что начинает управлять изнеженными органами, которые от непрерывной неги теряют упругость, делаются вялыми, а это состояние вялости вызывает в нервах ряд тяжелых конвульсий, так как, ослабев от непомерных наслаждений, нервы теряют способность сдерживаться и возбуждаются сами по себе.

Воображение открывает дорогу страданиям, ибо когда у воображения нет определенного объекта, который его поглотил бы, оно приобретает способность воспринимать все окружающее как повод к страданию. Праздность потакает чувственным страстям, а когда эти последние истощаются, то чувствительность, которая их переживает, не знает, куда устремиться и к чему привязаться.

Скоро чувствительность начинает утомлять, становится мучением. Несчастный человек желал бы еще бесконечно наслаждаться, но его организм уже совершенно изношен, а нервы отказываются передавать ощущения, проводниками которых они должны бы являться.

Ужасное состояние! Это пытка всех чересчур изнеженных существ, которых бездействие толкнуло во власть губительных наслаждений и которые цепляются за призраки, порожденные общественным мнением, лишь бы уклониться от труда, предписываемого природой.

Наши доктора, привыкшие щупать пульс у хорошеньких женщин, знакомы только с истерическими припадками и нервными болезнями. Когда заболевает какой-нибудь носильщик из Крытого рынка, то они и у него констатируют истерию и приписывают ему куриный бульон и липовый чай.

Хорошенькая женщина, страдающая истерическими припадками, ничего другого не делает, как только переходит от ванны к зеркалу и от зеркала к отоманке. Кататься в удобном экипаже, в скучной веренице таких же экипажей, называется *совершать прогулку*; других прогулок она не совершает. Да и эта считается для нее слишком сильным моционом, и она к нему прибегает лишь раз в две недели.

Так богачи расплачиваются за плохое использование своих богатств. Равнодушно глядя на несчастья ближних, они не чувствуют себя счастливее и, не умея извлекать действительной пользы из своих громадных состояний, навлекают на себя проклятия, ни на шаг не приближаясь к счастью.

254. Об идоле Парижа—о «прелестном»¹

Я берусь доказать, что *прелестное* (le joli) во всех своих видах представляет усовершенствованное прекрасное и даже возвышенное; что быть приятным важнее, чем обладать всеми

¹ Эта ироническая глава была уже однажды напечатана, но настоящее ее место здесь. *Прим. автора.*

другими качествами, и что народ, который может назвать, себя самой *преlestной* нацией,—должен, бесспорно, считаться первым народом во всем мире. Я пишу это для женоподобных парижан.

До сего времени заблуждались насчет того, что именно должно пользоваться всеобщим уважением. Природа должна быть исправлена и украшена искусством. Если ее и калечат, то, как всем известно, это делается лишь для того, чтобы сделать ее более изящной.

Приятность—это тот последний штрих, которым отмечают все красивые вещи. Заканчивая картину, инструмент, здание, их украшают; и это-то и придает им ценность. Точно так же и в жизни: только утонченное ценно.

В эпоху варварства народ легко находит высокое (*le sublime*). Жадный взор араба видит среди жгучих песков пустыни подобие зеленых, тенистых кустарников. В такую эпоху люди совершают великие дела, не отдавая себе в том отчета; они повинуются инстинкту. Что, в самом деле, представляет собой высокое, как не непрерывное преувеличение, как не *колосса*, которого создает и которым любитесь невежественный народ? Гений в своих величавых порывах изумляет нас. Даже самые дикие народы безо всяких усилий создавали это так всех восхищающее *высокое*; грубости страстей было достаточно, чтобы произвести его на свет.

Это грубая природа, не нуждающаяся в культуре. В такую эпоху пишут простые картины: восход и заход солнца; приходят в восторг от звездного неба, тихо прогуливаются по

берегу моря и любят волнами, с величественным шумом бьющимися о берег.

В такие эпохи обожают призрак свободы и имеют глупость сражаться и умирать за нее. Отказываются от красивого раба (не заслуживающего этого названия), который мог бы создать множество чарующих наслаждений, отказываются от золотых и шелковых цепей, которые дают возможность переходить от одного удовольствия к другому и, лишая человека опасной силы, приводят его в состояние блаженной слабости. В эти грубые времена отказываются иметь над собой короля и неразумно лишают себя зрелища блестящего Двора, в котором сосредотачиваются изысканнейшая вежливость, шедевры искусства и хорошего вкуса. Тогда люди живут без художников, без ваятелей, без музыкантов, без парикмахеров, без поваров, без кондитеров; в нравах господствует чудовищная храбрость и строгая, цепетильная добродетель; все величественно и скучно. Дома обширны, как монастыри; развлечения, как общественные, так и частные, носят мужественный характер. Женщины исключены из общества и зажигают любовный пламень только в сердцах своих супругов. Они не оспаривают мужчин друг у друга; они ограничиваются тем, что дают стране граждан, воспитывают их и ведут хозяйство. Родительская власть, авторитет мужа (слова, так справедливо высмеянные у нас) пользуются всеми своими прискорбными правами; браки плодovиты. Такой народ ведет однообразный, строгий образ жизни и мало чем отличается от медведей.

Но едва его озарит луч света, едва он выйдет из состояния внушительной и молчаливой серьезности, он прозревает прекрасное. Он создает, выдумывает себе разные правила; на сцену являются вкус и тонкость, они порождают *прелестное*, которое в тысячу раз привлекательнее. На обеденном столе не видно уже целого быка, кабана или оленя, не встретишь больше неотесанных героев, пожирающих целого барана, не увидишь принцесс за прялкой или стиркой. Люди начинают гордиться благородной праздностью; тонкие кушанья под изысканнейшими соусами следуют одно за другим, чтобы возбуждать аппетит, то и дело исчезающий и появляющийся вновь.

Воины довольствуются (если только они вообще что-нибудь едят) крылышком фазана или куропатки, а иные из них питаются только шоколадом и сладостями. Больше уж не опустошают целых бурдюков вина, а лишь смакуют тонкие ликеры, этот вкусный и всеми любимый яд. Мужчин с железными кулаками, с желудками страусов, с крепкими мускулами теперь можно встретить только как диковину,—на ярмарках.

Счастливым веком, когда в жизненный обиход вводится большая непринужденность, когда наводится лоск на все окружающее, когда ежедневно придумываются все новые и новые развлечения, чтобы прогнать вечную скуку!

Наконец появляется на свет *хорошее общество*—прекрасный термин, обозначающий очередную ступень общественного развития; прическа становится важным и серьезным делом.

Любовь уже не является пожирающим пламенем, заставлявшим Ахиллесов проливать слезы и побуждавшим паладинов устремляться через леса и горы; она стала вопросом тщеславия. Иная женщина старается взять верх над другими женщинами числом своих возлюбленных. Женщины стали настолько мягкосердечны, что считают долгом осчастливить как можно больше мужчин. Все меняется, но меняется к лучшему. Сыновья! Вы не будете больше рабски подчиняться отцу, который простодушно воображал, что природа дала ему над вами какие-то права. Женщины! Вы будете насмехаться над вашими мужьями; нет больше никаких стеснительных уз; каждый человек свободен и подчиняется одному только государственному игу...

О, как все становится легко и просто! То, что воспламеняло воображение наших меланхолических предков, становится лишь предметом шутки. Высокие идеи, увлекавшие пылкие головы и внушавшие им тот упрямый фанатизм, неразлучный с глубокими мыслями, который, быть может, и образует великих людей,— высокие идеи встречаются только на бесплодной бумаге, где они обсуждаются не со стороны их возвышенности или мощи, а со стороны выражений, которые их облекают и украшают. Господин де-Лагарп* скажет вам, что Мильтон, Данте, Шекспир и т. п.— писатели *чудовищные*. И действительно, господин академик весьма далек от подобной *чудовищности*.

Даже самая красота, которая, подобно бездушной и холодной статуе, говорила только душе,

кажется теперь не чем иным, как отвлеченным образом, созданным для грезы философа. Но вот явилось в свою очередь *прелестное*. Оно затронуло все чувства. *Прелестное* всегда очаровательно, даже в своих капризах. Оно придает очарование сладострастию; оно является оратором в клубах; оно возбуждает любопытство; оно является украшением всех талантов. Всегда разнообразное и легкое, оно во всех своих проявлениях руководится прежде всего своим вкусом.

Нужна была вся широта наших знаний, чтобы создать этого волшебника, одевающего в самые яркие краски всю природу, которой он подражает, или, вернее, которую он превосходит.

Что такое красота? Известное соотношение, правильные пропорции, зачастую холодная, лишенная изящества гармония. *Прелестное* же не нуждается в том, чтобы его рассматривали, оно опьяняет, едва только его увидишь; невольный вздох отдает дань его совершенству. Посмотрите на эти маленькие изящные шедевры, на эти восхитительные миниатюры, на все эти хрупкие прелести; самая их хрупкость делает их еще драгоценнее; взор останавливается на них с любовью, взор любит ими, а воображение, при всей своей подвижности, чувствует себя удовлетворенным и ничего уже не требует сверх этого.

Перенесем мысленно в наши города одного из тех людей, которые населяли некогда леса Германии и которые появляются порой и теперь еще на земном шаре под именем татар, венгров

и т. п. Вот перед вами высокая фигура, широкая могучая грудь, подбородок, покрытый густой и жесткой бородой, мясистые руки, крепкие ноги, при каждом шаге приводящие в движение связку эластичных и гибких мускулов. Человек этот настолько же ловок, насколько и силен. Он выносит голод, жажду, спит на земле, не боится врагов, ненастья и смерти. Поставим рядом с ним современного щеголя, словно обласканного грациями, создавшими его. От него издали веет ароматом амбры; его улыбка приятна, глаза живы; на его подбородке едва виднеются признаки мужественности; у него тонкие и легкие ноги, его руки кажутся созданными не для трудов Марса, а для того, чтобы собирать сокровища любви. В речах, исходящих из его розовых уст, искрится остроумие. Он порхает, как пчелка, и кажется созданным для того, чтобы отдыхать, подобно ей, на венчиках цветов. Он негодует на ветерок, осмелившийся поколебать легкое сооружение из его волос. Он нетерпелив и только на мгновение останавливается на какой-нибудь мысли. Его воображение настолько же быстро и изменчиво, насколько сам он подвижен.

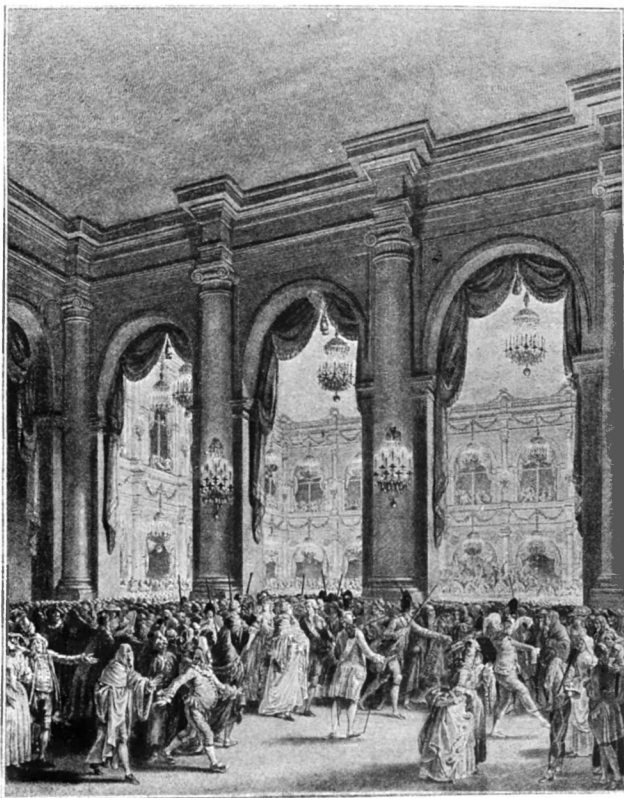
Итак, решайте, любезные французы, который из двух заслуживает предпочтения. Признайтесь, что первый вас напугает, тогда как второй доставит удовольствие и зрению и слуху.

Перейдем к искусствам. Повидимому, все дали себе слово восхищаться драматическими произведениями, в которых действующие лица томятся от неистовых чувств и в которых

страсти изображены в их настоящем свете. Это очень полезно, ибо может скрасить невыносимую скуку, царящую в наших театральных залах. Но если за столом хотят вызвать веселье, еще более необходимое для хорошего самочувствия, чем самые тонкие вина, разве станут цитировать трагические страницы страшного Шекспира или скорбного Софокла? О, насколько лучше теперь проводится время! Веселый стихоплет, любезный песенник берут верх над Парнасскими мастерами. Куплеты модной песенки, водевиль, мадригал, рассказик завладевают всеобщим вниманием. Плохи ли они, хороши ли,— всё равно, все смеются, потому что *прелестное* порождает радость и заслуживает венца всякий раз, когда человек, став самим собою и сбросив с себя мишуру, осмеливается признаться в своих вкусах, в своих прихотях и показаться таким, каков он есть в действительности.

Легкомысленные Анакреоны* наших дней, равные или считающие себя равными старому певцу Батиллу*, поспешите сюда, любезные певцы веселья, и изгоните великого Гомера, божественного Платона и всех им подобных.

Да, *прелестное* является тем любимым, единственным божком, который приводит в движение все духовные способности человека и придает им силу и живость, что далеко не всегда удается даже самым красивым предметам. Великое и возвышенное отнюдь не редки, они изобилуют в природе, они утомляют наше зрение. Возвышенное кроется и в необъятном лесу, и в безграничной пустыне, и в свя-



Маскарад

С гравюры Моро младшего по его же рисунку

щепном мраке уединенного храма. Оно распростерто под сверкающим небесным сводом, оно носится на крыльях бурь, оно вздымается из вулкана вместе с багрово-черным пламенем, зажигающим тучи, оно неотъемлемо от величавой картины безбрежных разливов, оно царит на океане, соединяющем Старый и Новый свет; оно спускается в глубокие пещеры, где земля показывает свои разверстые и истерзанные внутренности. Но *прелестное, прелестное* до чего редко! Оно прячется со старанием, равным его очарованию; приходится его отыскивать, — другими словами, нужно уметь его распознавать. Где то острое, изощренное зрение, которому открыты его чары? Это хрупкий цветок; солнечный луч его сожжет, его погубит дуновение ветра. Только человеческой руке дано его сорвать, не испортив его нежной бархатистости, только она одна может составить букет, достойный груди красавицы.

Этого мало: человек присоединяет свое искусство к работе природы и подчас вкус первого превосходит горделивое творчество второй. Тогда-то на ваших глазах родятся распланированные цветочные партеры, рощицы, подрезанные искусными ножницами, изящные вышивки, тарелочки, эстампы, легкие арии и сверкающие стихи, которые пенятся, как переливчатые жемчужинки шампанского.

Счастливый народ, обладающий *прелестными* зданиями, *прелестной* мебелью, *прелестными* драгоценностями, *прелестными* женщинами, *прелестными* произведениями литературы, народ, страстно ценящий эти *прелест-*

ные пустячки,—процветай как можно дольше в своих *прелестных* идеях, совершенствуйся все больше и больше в остроумии, стяжавшем тебе любовь всей Европы, и, всегда восхитительно причесанный, не просыпайся никогда от *прелестного* сна, который тихо баюкает твое легкое существование!

255. Погребальные шествия

Перейдем теперь к более мрачным краскам,—пора! Все меняется, все проходит с устрашающей быстротой; об этом возвещает погребальный звон колоколов. Все это население вскоре истлеет в гробах; они открыты, они ждут своих жертв; покойницкие полны; известно, что число жертв никогда не уменьшится. Ежедневный опыт показывает, что смерть наносит быстрые и неожиданные удары, но нет другого города, где бы зрелище смерти производило меньшее впечатление. К похоронам здесь привыкли; тому, кто желает быть оплаканным после смерти, не следует умирать в Париже. Здесь на погребальное шествие смотрят вполне равнодушно.

Священники и могильщики рассчитывают на правильную периодичность смертей; они знают месяцы и времена года, когда погребальный звон должен раздаваться в воздухе особенно часто; знают, когда двухфунтовые восковые свечи будут особенно раскупаться в бакалейной лавке. Специальные глашатаи, извещающие о таких событиях, приезжают из

окрестностей и заранее развертывают мрачный список. Могилы вырыты и зияют.

Плотники, изготовляющие нам последнее одеяние (*нашу летнюю и зимнюю одежду*, — как сказал Ла-Фонтен), получают заказы от церкви доставить побольше гробов. Священники и приходские советы подсчитывают, сколько дохода принесет им смертность.

В светских кругах повторяется слово в слово диалог из старинной басни, включенный впоследствии в комедию *Кружок**: «Господин такой-то умер... режу в червях». — «Очень жаль... Вы играете в трефах, сударыня...» — «Это был порядочный человек; от чего он умер?» — «Бубны... Он ухитрился умереть внезапно». И партия продолжается; лица попрежнему безучастны. Для вида хмурят брови, но сердца остаются холодными. Такое же равнодушие ждет и эти равнодушные существа.

Следовало бы, подобно древним, завести наемных плакальщиков, раз сами мы уже не проливаем ни единой слезы, хороня родных или близких... Человек узнает о том, что жена его только что утопилась; он топает ногой и говорит: *Какая неприятность!*

На протяжении ста лет два миллиона пятьсот тысяч человек должны сложить свои истлевшие тела на пространстве в шесть тысяч туазов в окружности; чтобы воспринять такое большое количество трупов, достаточно тридцати кладбищ. Каждый приход отстаивает своих мертвецов с ревнивой заботливостью, и нужны особые разрешения, чтобы отправиться гнить куда-нибудь немного подальше.

Поистине, нет поля битвы, где смерть более грозно произносила бы слова: *Солдаты! Сомкните ряды!* А ряды ежеминутно редуют от ударов, столь же быстрых и столь же непредвиденных, как удары ядер; но частые случаи смерти порождают нечувствительность души, и это отражается на лицах.

Погребение не представляет собою грустной церемонии; к услугам богатых имеется большое паникадило, все церковное серебро, полотнища, обвивающие колонны храма, великолепно расшитый покров, торжественный *De profundis*; восемьдесят священников в белых рясах несут зажженные свечи, в то время как звон колоколов далеко разносится в воздухе. Внушительно поют вечерню; распорядитель руководит и размещает собравшихся; красивое кропило переходит из рук в руки; все выстраиваются в ряд, кланяются и отвечают на поклоны почти с таким же изяществом, как в салонах.

Что касается бедняка, то его отпевают во время чтения часов или за утреней при бледном свете четырех уже початых свечей, поставленных в медные подсвечники; наспех произносится неизбежное *De profundis*, и те, кто несет гроб и деревянный крест, идут поспешным шагом, чтобы поскорее свалить покойника в могильную яму. Маленькое облезлое кропило погружается в грязную кропильницу, в которую скупно налита вода; чаще же всего она пуста, и сын или друг,—если таковой у покойника имеется,—может только слезами окропить место, где будут покоиться дорогие останки. Священник бывает уже далеко, когда сын отни-

мает носовой платок от увлажненных глаз; он один на могиле отца, и все, до хромого сторожа включительно, покинули кладбище, ропща на бедность покойника и тех, кто его хоронит.

Карточки, оповещающие о погребении, похожи на пригласительные билеты: *Вас просят поздравить...* и т. д. Внизу пишется: *от имени вдовы* или же: *от имени зятя*. Следовало бы пометить возраст покойника, но в Париже считается чудовищным невежеством, спрашивать о возрасте мертвецов и живущих.

Обычно в церкви заранее оплачивают и похоронное шествие, и службу, и погребение. Вам предлагают печатный расценник, и вы выбираете сами число священников, свечей и подсвечников. Желаете вы большой или малый звон?—Это обойдется столько-то; вы получите при малом звоне три удара, при большом—девять.

Сударь умер, теперь дело за нами.
Вопрос только в деньгах.

Все учитывается особо: присутствие кюре и т. д.

Священник из церкви Сент-Эсташ берет гораздо дороже, чем священник из церкви Сен-Пьер-о-Бё, так как он более важный барин. Он хоронит только избранных: пятьдесят франков за то, чтобы выкопать могилу; *столько-то* за певчих, которые дерут глотку во время погружения гроба в могилу; *столько-то* за украшение главного алтаря; *столько-то* за маленький хор и *столько-то* за большой; *столько-то* за духов-

ника или за его заместителя; *столько-то* за белые перчатки.

За покойником придут только после того, как все будет оплачено; вам не разрешается самому купить гроб у гробовщика; церковь имеет собственный склад, и вы можете купить его только там. Это своего рода барышничество, так как церковь наживает на каждом гробе около половины его стоимости.

Едва человек испустил последний вздох, как его, еще теплого, стаскивают с постели. Заботятся только о том, чтобы поскорее избавиться от его тела. Ужасный и роковой закон *двадцати четырех часов** властно царит в этой последней катастрофе человеческой жизни, подобно тому, как царит в театральных вымыслах, которые мы так обожаем. Мы никогда не откажемся от этих жестоких и дурных правил.

Все разбегаются по домам, оставив тело на попечении *старика*. *Старик*—бедный заштатный священник, который охраняет покойника в течение ночи, за что получает двадцать су и бутылку вина. Иногда вместо молитвы он читает, сидя над прахом, стихи Тибулла* или *Орлеанскую девственницу*. Он вполне освоился со смертью и, надев епитрахиль, одинаково равнодушно бодрствует и над красотой, уже не существующей, и над старцем, закончившим свой жизненный путь; погребальные свечи его не печалят; кропильница стоит в ногах смертного одра, а он вытаскивает бутылку, спрятанную под краем савана, и, опустошая ее, сокращает долгие часы ночного бдения. Не пройдет и суток, как тело будет раздето,

завернуто в простыню, заколочено в гроб и положено в яму.

На другой день на этом гробе будут стоять уже четыре или пять новых гробов,—в чем можно легко убедиться, так как обычно гробы ничем не прикрываются; и, если только у вас хватит храбрости, вы собственными глазами сможете их подсчитать. Могильщик засыплет их землей только тогда, когда пирамида гробов достигнет положенного размера; собственно говоря, их предадут земле только тогда, когда их наберется достаточное количество и когда жадная яма совершенно ими наполнится. Много уже восставали против такой бесчеловечной поспешности, но все предостережения, в том числе даже предостережения естествоиспытателей,—ничто перед укоренившимися обычаями; чем эти обычаи хуже, тем они устойчивее.

256. Об одном бедняке

Но, быть может, нет также и города, где умирающие с такой охотой расставались бы с жизнью. Оба крайних полюса цивилизованного общества несчастливы: один—в силу томящей его скуки, другой—из-за нищеты. Один переутомил все свои чувства и не находит больше сил для наслаждений; другой слишком дорогой ценой покупает кратковременное удовлетворение своих потребностей; он устал от жизни, а первого она пресытила. По этому поводу я расскажу вам следующее.

В предместьи Сен-Марсель, где особенно преобладает нищета, плохой воздух, а следова-

тельно и плохой хлеб, испорченное растительное масло,—горячка, кроме того, сотнями косила бедное население. У большинства даже не хватало времени дотащить до Отель-Дьё. Духовники целыми днями не выходили из какого-нибудь дома и, совершая обряд соборования, спускались с чердака на седьмой этаж¹.

У могильщиков опускались руки. Простой, грубо сделанный гроб уже две недели переезжал от дверей к дверям и ни секунды не оставался пустым. Обратились с просьбой прислать *подкрепление* для напутствия умирающих, так как обычный состав приходских священников не в силах был удовлетворить всех требований. Явился некий почтенный капуцин; он вошел в низкое помещение, напоминающее собой конюшню, в котором мучилась одна из жертв поветрия. Он увидел там умирающего старика, распростертого на отвратительных лохмотьях. Старик был один; охалка соломы служила ему и одеялом и подушкой. Никакой мебели, ни единого стула,—он все продал в первые дни болезни, чтобы добыть немного бульона. На черных, голых стенах висели только две пилы и топор—все его состояние, если прибавить к ним еще его руки, когда б он мог ими работать; но у него уже не было сил.

Мушайтесь, друг мой,—сказал ему духовник. — *Бог оказывает вам сегодня большую милость: вы вскоре покинете этот мир, где*

¹ Так как чердак образует восьмой этаж. Я делаю это примечание для иностранца, которым могло бы быть непонятно—откуда это можно спуститься на седьмой этаж. *Прим. автора.*

не знали ничего, кроме страданий...—Кроме страданий? — переспросил умирающий едва слышным голосом.—Вы ошибаетесь. Я был доволен жизнью и никогда не жаловался на судьбу. Я не знал ни злобы, ни зависти; сон мой был спокоен. За день я уставал, зато ночью отдыхал. Инструменты, которые вы видите, давали мне хлеб, который я съедал с наслаждением, и я никогда не завидовал яствам, которые мне приходилось видеть. Я убедился, что богачи более подвержены болезням, чем кто-либо другой. Я был беден, но до последнего времени был всегда здоров. Если я поправлюсь,—чего я не думаю,—я пойду на лесной склад и опять буду благословлять руку Божию, которая до сих пор всегда заботилась обо мне. Удивленный утешитель не знал, как ему вести себя с таким больным; он не мог согласовать слова умирающего с его жалким ложем. Но он все же сказал: Сын мой! Хотя эта жизнь и не была вам неприятна, вы должны, однако, решиться с ней расстаться, ибо надо покоряться воле Божией...— Конечно, ответил умирающий твердым голосом (взгляд его был совершенно спокоен),—все должны пройти через это,—каждому свой час. Я умел жить, сумею и умереть; я благодарю бога за то, что он даровал мне жизнь и дает теперь смерть, чтобы я мог прийти к нему. Я чувствую, что миг этот приближается. Вот он... Простите, отец мой!..

На мой взгляд это—мудрец! А этого человека, вероятно, презирали богачи, не умеющие пользоваться жизнью и приходящие в малодушное отчаяние, когда настает смертный час.

257. К богачам

Пользуйтесь, пользуйтесь временем, которое у вас осталось, чтобы делать добро; скоро все ускользнет из ваших рук. Будьте милосердны, чтобы не испытать угрызений совести, которые неизбежно ждут вас, если вы ожесточите свои сердца. Слышите крики нуждающихся? Бедняки требуют, чтобы вы возвратили им отнятую у них долю средств к существованию; сами же вы гибнете от излишеств. Подойдите! Приблизьтесь! Какое ужасное зрелище! Если зло будет все возрастать, какая же участь ждет этот город?..

Здесь несчастная мать, будучи не в силах кормить своего младенца собственным молоком, видит, как ее истощенная грудь обманывает голодный ротик обожаемого ребенка. Но мать может только на несколько мгновений отдалить смерть, готовую его поглотить. Там пятидесятилетний человек, состарившийся раньше времени под тяжестью общественных работ, не имеет в будущем иного утешения, как только быть принятым в какое-нибудь убежище, чтобы в нем умереть... О вы, утопающие в роскоши, давящие людей своими лошадьми и смотрящие на несчастных раздавленных взглядом, полным презрения и гордости,—не думайте, что этому злу нельзя помочь! Не старайтесь убедить себя в том, что несчастье является неизбежной долей большинства людей. В начатых добрых делах усматривайте добро, которое еще остается сделать, и не думайте, что нет средств помочь страждущему человечеству.

Почти всякий, подавая милостыню бедным, отдает себе отчет в том, что эта милостыня еще далеко не достаточна и что весь избыток богачей по праву целиком принадлежит неимущим. Но этот тайный голос, являющийся в то же время и голосом справедливости и криком сострадания, люди стараются заглушить. Они стараются забыться и доводят свои потребности до размеров, выходящих за пределы необходимости. Стараются скрыть это от себя,—но все же в глубине души каждый признается себе, что его милосердие узко и несовершенно. Проблеск истины проникает в наше сознание,—до такой степени совесть представляет собой глубокое, устойчивое чувство, вооруженное против нас самих. Его можно ослабить, но заглушить его нельзя.

Я предоставляю своим читателям подумать об этом и убежден, что если они пренебрегут этой мыслью,—она в один прекрасный день грозно предстанет перед ними, и именно тогда, когда они захотят совершить добро; но будет уже поздно. Предупреждаю их, что единственным утешением может быть мысль, что они были в прошлом человечны, милосердны, и что только эта мысль смягчит страшный переход в вечность, страшный для каждого, кто не слушался своего внутреннего голоса—нашего первого и неподкупного судью.

258. Самоубийства

Нарисовать ли здесь картину мрачного отчаяния? Сказать ли, почему в Париже в последние двадцать лет люди нередко лишают себя жизни?

Хотели объяснить современной философией то, что по существу является,—беру на себя смелость это сказать,—делом рук правительства. Тяжелые жизненные условия, с одной стороны, а с другой—азартные игры и чересчур поощряемые лотереи — вот в чем кроется причина многочисленных самоубийств, о которых прежде почти не было слышно. Подати не уменьшаются, ввозные пошлины на съестные припасы попрежнему страшно высоки. Внутренняя торговля затруднена, или, вернее, ее вовсе и не существует,—так много ставится ей всяких препятствий. Таможенные пошлины безмерно ее изнуряют. Одна за другой засушены все ветви, питавшие население; все отдано в руки короля: деньги, должности, привилегии, ремесленные корпорации и проч. Современные финансовые агенты, безжалостные сборщики податей, напоминающие вампиров, которые высасывают кровь из мертвецов, наносят последний удар народу, уже лежащему в тисках. Народ изнемогает под всеми этими тяготами. Вечные запретительные законы окончательно сковали промышленность, лишенную последних сил.

Тех, которые кончают с собой, не зная как дальше существовать, можно назвать философами: это бедняки, усталые, измученные жизнью, ибо добывать средства к существованию стало тягостно и трудно.

Когда же наконец сделают съестные припасы более доступными? Когда же правительство, похожее на ребенка, делающего букет из цветов фруктового дерева и не думающего о плодах, перестанет обкладывать налогом съестные при-

пасы,—другими словами, действовать против своих же собственных интересов? Ибо, если не кормить народ достаточно сытно, как же можно рассчитывать на его силу, на его здоровье, как рассчитывать на преданность граждан? Парижане будут изнурены, и большинство откажется воспроизводить себе подобных¹.

Полиция тщательно скрывает все сведения о самоубийствах. Когда кто-нибудь кончает с собой, является пристав в штатском платье, потихоньку составляет протокол и обязывает приходского священника так же бесшумно похоронить покойника. Теперь уже самоубийц не волочат на салазках*. А прежде нелепые законы преследовали этих несчастных и после смерти. Это было отвратительное и страшное зрелище, которое могло иметь опасные последствия в городе, где много беременных женщин.

Число самоубийств доходит в среднем до ста пятидесяти в год. В Лондоне, несмотря на то, что он гораздо больше, их насчитывается меньше. При этом надо принять во внимание, что среди англичан очень распространена чахотка, которой не существует в Париже. Это сравнение избавляет нас от дальнейших рассуждений.

Итак, в Лондоне лишают себя жизни преимущественно люди богатые, так как чахотка поражает англичан, живущих в роскоши; богатый англичанин—самый капризный из всех людей, а следовательно и самый скучающий.

¹ Отсюда пословица: «Плохая пища—дита Парижа». *Прим. автора.*

В Париже самоубийства наблюдаются в низших классах; здесь это преступление чаще всего совершается на чердаках или в меблированных комнатах.

Некоторые самоубийцы взяли привычку писать предварительно письмо начальнику полиции, чтобы устранить всякие затруднения после своей кончины. В награду за это внимание полиция отдает приказ об их погребении. Ни в одной газете не печатается объявлений о смертях этого рода, и через какую-нибудь тысячу лет тот, кто будет писать историю на основании наших газет, сможет усомниться в правдивости того, что я здесь говорю; но, действительно, в Париже самоубийство—более частое явление, чем в каком-либо другом городе мира.

259. Сети Сен-Клу

Не всем несчастным утопленникам выпадает преимущество быть схороненными в величественном океане, как им этого хотелось бы. Обычно они задерживаются (за исключением месяцев, когда река скована льдом) сетями Сен-Клу, и тот, кто думал исчезнуть из этого мира, не оставив после себя никакого следа, бывает опознан; его останки, выставленные в морге, свидетельствуют о его поступке, о его несчастье, о его заблуждении.

На одном народном празднестве, устроенном тридцать два года тому назад на берегу Сены, вздутой весенним половодьем,—из-за отсутствия порядка и по неосторожности несколько чело-

век свалилось в воду и утонуло; число их оказалось настолько значительным, что пришлось снять сети Сен-Клу, чтобы ничто не свидетельствовало о таком большом количестве жертв.

В этих сетях часто находят самые странные обломки, случайно попавшие туда и вынесенные Сеной из столицы. Говорят, что это не замедлило сделаться доходной статьей для тех, кто ведает сетями.

260. Капиталисты

У народа нет больше денег, — вот в чем главное зло. Последние остатки вытягивают у него дьявольской губительной лотереей и займами, являющимися соблазнительной и беспрерывно возобновляющейся приманкой. В карманах капиталистов и их приспешников лежит не менее шестисот миллионов. При помощи этой массы денег они ведут непрерывную борьбу с гражданами королевства. Бумажники капиталистов составляют тесный союз, вследствие чего эти суммы никогда не попадают в общее обращение.

Этот *неподвижный*, так сказать, капитал притягивает еще новые богатства, создает законы, давит, уничтожает каждого конкурента; он враждебен земледелию, промышленности, торговле, даже искусствам. Он посвящен ажиотажу, он губителен, как в силу приносимого им опустошения, так и в силу бремени, которым он незаметно, но непрерывно отягощает народ. В течение пяти-шести лет все деньги целиком переходят (благодаря жестоким и насильственным операциям) в руки капиталистов,

помогающих друг другу в пожирании всего, что не является ими самими.

И, несмотря на это, еще накладывают поборы на ремесла, обременяют налогами промышленность и торговлю, требуют денег с тружеников. Так как не слышно никаких других слов, кроме *денег, денег* и еще раз *денег*, то надо было бы дать возможность приобретать эти деньги; надо было бы, чтобы все принимали участие в том, чтобы дробить, резать, разрывать всю громадную массу металла, находящуюся теперь в небольшом числе рук; надо бы проложить *пути*, по которым весь этот долгожданный металл мог бы распространяться, а вместо того создают законы, статуты, нелепые правила и неизменные запрещения! Раз все достигается только деньгами, не ждите, чтобы общественные добродетели взросли на почве нищеты и страдания.

261. Откупное ведомство

Я никогда не прохожу мимо откупного ведомства без того, чтобы не вздохнуть глубоко. Я говорю себе: вот куда проваливаются деньги, насильно выхватываемые из всех областей королевства, чтобы после долгого и трудного пути попасть в измененном виде в королевские сундуки! Какую разорительную сделку, какой губительный и обманчивый контракт подписал монарх! Он согласился на народную нищету, благодаря которой сам становится беднее. Мне хотелось бы ниспровергнуть это колоссальное адское чудовище, которое хватает за горло каж-



Слепая доверчивость
С гравюры Аллу по рисунку Шено

дого гражданина, выкачивает из него кровь, не давая ему возможности сопротивляться, и делит ее между двумя-тремя сотнями частных лиц, держащих в своих руках всю массу богатств. Перо каждого чиновника является орудием, разрушающим торговлю, промышленность, всяческую деятельность. Откупное ведомство—это пугало, которое душит все смелые, великодушные намерения. Среди всей этой анархии думают только о том, как бы стать на сторону воров; а грозное министерство финансов держится своими же вымогательствами. Там дают уроки утонченного грабежа; там создают планы один притеснительней другого.

Министерство финансов—это солитер, изнуряющий государственный организм. Этот червь высасывает все соки, вызывает ложный голод и наконец убивает организм, в котором живет.

Странно то, что у нас уже намеревались простить министерству финансов его грехи на том основании, что оно в настоящее время выкачивает меньше доходов, чем раньше; но добыча его, повидимому, все еще колоссальна, раз оно так рьяно борется за свое существование. Хорошо было бы, если бы наши провинциальные съезды, представляющие собой лучшие учреждения нашего века, более всех других способные содействовать наибольшему и столь желаемому благоденствию страны,—могли бы подточить это министерство—источник стольких зол и беспорядков! Только когда оно падет, начнут удивляться тому, что оно могло существовать так долго, во вред и монарху и народу. Человек, подготовивший такое великое

и благое дело, может быть уверен, что память о нем никогда не исчезнет и что имя его останется в числе имен, которые произносятся с благодарностью и уважением. Бесспорно, это лучшее, что он мог сделать. Остальное... О!..

262. Ломбард

Только что учреждено *мон-де-ньете*, называемое во всех прочих странах *ломбардом*. Этим разумным, давно желанным учреждением правительство нанесло смертельный удар дикому и жестокому бешенству алчных ростовщиков, всегда стремящихся раздеть неимущих. Замаскированные спекулянты, скрывавшие свои зловерные делишки, оказались захваченными в своих темных норах. Им придется отказаться от незаконной деятельности, душившей всякое человеколюбивое начинание, так как эти спекулянты только и умели проделывать с деньгами разные фокусы с целью окончательно разорить тех, кто в них терпел нужду.

Ничто так ясно не доказывает, насколько столица нуждалась в подобном учреждении, как неиссякаемый прилив клиентов. По этому поводу рассказывают настолько странные и невероятные вещи, что я не решаюсь говорить о них здесь прежде, чем получу более подробные сведения, которые дадут мне право ручаться за их достоверность. Говорят о сорока бочках, наполненных золотыми часами; этим хотят дать представление о необычайном количестве приносимых вещей. Пока могу только сказать, что

я сам видел от шестидесяти до восьмидесяти человек, которые стояли в очереди, чтобы получить под заклад не более шести ливров каждый. Один принес свои рубашки, другой—что-то из мебели, третий—развалившийся шкаф, четвертый—пряжки от башмаков, старую картину, изношенное платье и т. д. и т. д. Говорят, что такая толпа собирается почти каждый день, и это дает недвусмысленное представление о голоде, в котором живет большая часть населения.

Что дали бы бедному, но гениальному автору, который принес бы туда неизданную рукопись, например *Дух законов* или *Историю торговли европейцев с Индией**, или *Эмиля*? Что сказал бы оценщик? Какую ссуду назначил бы он за эти произведения?

Богатые делают займы так же, как и нищие. Иная женщина в богатом мантио, выйдя из экипажа, несет на двадцать пять тысяч бриллиантов, чтобы иметь возможность вечером сесть за азартную игру; другая снимает с себя нижнюю юбку и просит за нее несколько су на хлеб!

Ломбард вызвал падение цен на бриллианты, потому что они явились первыми вкладами, принесенными в залог, и постепенно даже самые богатые женщины стали появляться без этих излишних украшений. Бывали случаи, когда к подобным лишениям прибегали и по другим, более уважительным причинам. Не одна важная услуга была оказана благодаря отдаче под залог предметов роскоши, без которых можно легко обойтись. Пример этому подали женщины, в их чувствительных душах сознание

оказанного благодеяния брало верх над поверхностными удовольствиями. Уверяют, что треть отданных вещей не выкуплена, — вот новое доказательство странного недостатка в денежных знаках! На аукционах предлагают множество предметов роскоши по очень низким ценам; это может нанести некоторый ущерб мелким торговцам; но не мешает понизить чересчур взвинченные цены на такие предметы.

Говорят, что в ломбард уже проникли некоторые злоупотребления: с бедным людом обращаются слишком грубо, приносимые вещи оценивают слишком низко и это сводит помощь на-нет. Чувство милосердия должно бы возторжествовать и взять верх над пустыми и ничтожными соображениями. Нетрудно превратить это учреждение в *храм милосердия*, великодушного, деятельного и сострадательного. Доброе дело начато. Почему бы ему не укорениться, став действительной поддержкой, главным образом для самых несчастных?

263. Монополия

Какой-нибудь человек целиком захватывает ту или другую отрасль продовольствия и начинает действовать, как настоящий тиран. Вот когда торговля становится опасной и угнетающей! По существу своему она является справедливым обменом; теперь же правильные соотношения уже нарушены, покупатель порабочен.

Это уже не торговля—это монополия. Надо мной совершенно насилие. Тиран-монополист

продает мне вещь дороже, чем она стоит, только потому, что он является ее единственным обладателем. Он должен быть наказан по закону.

Но если это товар первой необходимости, если дело идет о хлебе, вине, овощах, растительном масле и т. п., то тиран превращается в убийцу. Пусть громоздят софизмы на софизмы; пусть экономисты доказывают, что монополист, являясь собственником хлеба, может назначать на него произвольную цену,—все равно такой продавец останется варваром. Он видит мои страдания и еще набавляет цену; он вызывает голод и смеется над этим.

«Он будет наказан,—скажут мне,—рано или поздно он ошибется в своих расчетах». Но его ошибочные расчеты гораздо опаснее для меня, чем для него, ибо если он и лишится денег, то я ведь лишаяюсь жизни.

Нет: пока люди будут алчными, корыстными, бесчувственными,—до тех пор нельзя вверять съестные припасы первой необходимости во власть темным планам скаредности. Нелепо и постыдно отдавать иностранцу за лишние тридцать су с сетье тот самый хлеб, который созрел у меня на глазах. Все граждане должны быть накормлены, и преимущественно отечественными припасами.

Выдача монополии то на яйца, то на овощи, то на фрукты, то на бакалейные товары представляет собой слишком частое явление в нашей столице, и есть основания обвинять младшие чины полиции в сообщничестве, так как последняя далеко не всегда с достаточной бдительностью старается подавлять эти недостойные

злоупотребления, заставляющие голодать беднейшую часть населения и внушающие беднякам отвращение к жизни.

Порой высшие чиновники, не краснея, предлагают свои деньги для этих гнусных сделок. Считая себя под непроницаемым покровом, они пользуются позорными плодами своей алчности. Это преступление, сделавшись обычным, запятнало некоторые имена, пользовавшиеся до сих пор уважением. Это—новое зло, порожденное роскошью и почти неизвестное в прошлом столетии. Я видел, как барышники скупали капусту, груши и даже салат.

Вот четверостишие на монополистов, сочиненное г-ном Дора*, которое мне всегда очень нравилось:

Их алчность дикая наносит всем удар;
Само обилие бежит пред их налетом;
Руками ловкими Цереры общий дар
Они крадут у нас гнуснейшим оборотом.

264. Мелочная торговля

Мелочная торговля тоже губит столичных бедняков. Эта несчастная часть населения платит за съестные припасы гораздо дороже, а получает только отбросы, оставшиеся от прочих граждан. Не имея возможности тратить сразу более или менее крупные суммы на годовые запасы, бедняки платят за все двойные цены. Все обходится по крайней мере на треть дороже этому несчастному классу, который вынужден прибегать к мелким торговцам, продающим

врозницу то, что сами они в свою очередь тоже купили врозницу.

Таким образом, башмачник, каменщик, портной, носильщик, поденщик и прочие платят за вино, за дрова, за масло, за уголь, за яйца гораздо дороже, чем герцог Орлеанский и принц Конде. Нельзя это назвать идеальным общественным порядком! Но никто не спешит смягчить злоупотребления, препятствующие народу есть досыта. Человек, имеющий три миллиона годового дохода, получает провизию гораздо дешевле. Вино, которое он пьет, превосходно, а обходится ему не дороже того, которое народ вынужден покупать в кабаках. Иностранцу не мешаает знать, что простой народ ежедневно покупает к обеду известное количество вина, так как в большинстве случаев не имеет ни погреба, ни кувшина, ни денег, чтобы иметь хоть маленький запас. *Беднякам—сума*. Чем вы беднее, тем больше вас подтачивает и грызет нужда.

Соль, например, которую продают в мелочных лавках по *тринадцати су* за *фунт*¹, не только фальсифицирована, но, кроме того, полна всякой грязи, составляющей почти половину ее веса. Откупщики вынуждают мелочных торговцев отравлять несчастных потребителей, ибо сами продают торговцам соль за тринадцать су, так что у тех не остается другого способа получить желаемую прибыль, как только всячески

¹ Тринадцать су за фунт соли! Между тем как природа наделяет наше королевство солью почти что даром. *Прим. автора.*

портя этот продукт: они подливают в соль воду, подмешивают в нее песок и разный сор! И такое нетерпимое злоупотребление происходит на глазах у всех.

Откупное ведомство виновно, таким образом, в отравлении людей; ибо анализ соли показывает в ней присутствие посторонних вредных веществ; и эта опасная фальсификация является следствием алчности. Чья душа не содрогнется от отвращения перед безжалостными врагами граждан, встречающимися на каждом шагу; они все портят, все извращают и при этом еще стремятся избежать заслуженного позора?!

Вино, продаваемое в кабаке врозницу, тоже фальсифицировано; но до сих пор еще не было случая, чтобы винный торговец был повешен за отравление своих сограждан. А в то же время контрабандистов, которые отнюдь не портят продаваемой ими провизии, ссылают на ка-торгу.

К несчастью, чрезвычайно просто фальсифицировать такие напитки, как вино, сидр и водка. Виноторговец, запершись в своем погребе, втихомолку готовит все эти смеси и подливает в них раствор свинцовой соли то ли по невежеству, то ли от жадности. Все эти обманные и преступные проделки недостаточно строго наказываются полицией, которая закрывает глаза на столь важный вопрос.

Даже испортившуюся муку иногда силой навязывают булочникам предместий, потому что правительство, имеющее целые склады муки, не желает нести убытки, когда мука по-



Знахарь

С гравюры Миже по рисунку Тузе

чему-либо портится, и заставляет народ питаться гнилым хлебом¹.

Таким образом, торговля хлебом становится в руках могущественных лиц весьма опасным орудием. Они заставляют других расплачиваться за их обманы и ошибки. *Если я сделаюсь торговцем, кто же возьмет на себя ремесло короля?*— сказал один монарх, когда ему предложили сделку на хлеб.

265. Фальсификация

Следовало бы осветить как можно лучше работу мельников, булочников, бакалейщиков, мелочных торговцев и пр., так как здесь часты обманы, в большинстве случаев крайне вредные для здоровья граждан. Отсутствие бдительности со стороны полиции в этом отношении заслуживает, конечно, упрека. Часто подарки, преподносимые фальсификаторами низшим должностным лицам, обеспечивают им пагубную безнаказанность. А между тем, все относящееся к народному здравью по праву заслуживает самого внимательного надзора.

Строго преследуют карманных воров, а тех, кто нас отравляет, оставляют в полном покое! Какое противоречие!

266. Нищие

Как же требовать, чтобы в результате всех этих укоренившихся злоупотреблений город, называемый всеми *великолепным*, не кишел

¹ Это имело место в предыдущее царствование.
Прим. автора.

нищими? Взор иностранца бывает неприятно поражен их численностью, человек долго не может притти в себя от удивления. Сколько нищих, столько и позорных пятен на законодательстве данного народа. Разумеется, нищих не следует морить, как это проделывалось в так называемых арестных домах. Это возмутительная и не достигающая цели жестокость.

У нас недостаточно тщательно выискивают средства для уничтожения этого ужасного явления. Наши чиновники, к большому своему стыду, вовсе не занимаются этим вопросом. Им уже было предложено несколько хороших проектов; остается только выбрать лучший.

Повидимому, среди древних тоже были мало-состоятельные люди, но не было бедняков в полном смысле этого слова. Известно, что у рабов была своя одежда, свои столы и кровати. Ни у одного автора не сказано, чтобы в городах встречались отвратительные грязные личности, которые или вызывают сострадание или отталкивают своим видом. Грязь, источенная паразитами, не показывалась откровенно на улицах; бедняки не терзали слуха граждан своими стонами, не обнажали своих ужасающих язв.

Все эти пороки коренятся в законодательстве, более занятом сохранением больших состояний, чем маленьких. Крупные собственники, что бы ни говорили об этом новейшие системы, губят народ. Они насаждают леса, в которых разводят диких коз и ланей, они не жалуют денег на роскошные сады, а гнет со стороны богатых давит беднейшую часть населения.

В 1769 году и в течение трех последующих

лет к бедным проявляли такую жестокость, такую бесчеловечность, которые навсегда останутся неизгладимым пятном эпохи, называемой *гуманной* и *просвещенной*. Можно было подумать, что хотят просто истребить всю бедноту, до такой степени были забыты заповеди милосердия. Почти все бедняки перемерли в арестных домах—своего рода тюрьмах, где бедность карается как преступление.

Известен целый ряд ночных арестов, произведенных по тайному приказу. Старики, женщины, дети внезапно лишались свободы; их бросали в зловонные тюрьмы, где им не давали никакой работы, которая могла бы их утешить. Они гибли, тщетно призывая справедливость закона и милосердие властей.

Все это совершалось под тем предлогом, что бедность неразлучна с преступностью и что бунты чинятся кучкой бедняков, которым нечего терять; а так как наступала пора усиленной торговли зерном, то боялись отчаяния голодной толпы, зная заранее, что цены на хлеб должны еще подняться. Было решено: *Задушим бедняков заблаговременно*—и они были задужены. Другого выхода не придумали.

Подобных ужасов теперь уже почти не бывает. Сейчас в жестокости можно обвинять только жадных низших чиновников, которые превышают свою власть и обрушиваются на беззащитных бедняков, думая, что хорошо исполняют свои обязанности, когда прибегают к самым строгим и крайним мерам.

Вообще говоря, физический труд оплачивается недостаточно, принимая во внимание до-

роговизну столичной жизни; и это принуждает к постыдному нищенству многих уставших от непосильного и почти бесплодного труда.

Путешественник, свежий взгляд которого видит все гораздо лучше нашего, уже притупившегося от привычки, скажет нам, что простой народ в Париже работает больше, чем всякий другой, что он хуже всех питается и имеет самый печальный вид. Испанец достает себе за дешевую цену и пищу и одежду; завернувшись в плащ и лежа под деревом, он мирно прозябает. Итальянец предается приятному отдыху, прерываемому легкой работой, и ежедневно услаждает душу музыкой. Хорошо накормленный, сильный и свободный англичанин пользуется плодами своей деятельности. Немец пьет, курит и беззаботно толстеет. Швед потягивает хлебную водку. Русские, не заботясь о дальнейшем, находят известного рода довольство в рабстве. Но бедный парижанин, согбенный под вечным гнетом усталости и труда, воздвигая, строя, куя и в глубине шахт и на крышах, перетаскивая страшные тяжести, находясь во власти могущественных людей, которые давят его, как насекомое, едва он осмелится возвысить голос,—парижанин лишь с большим усилением, в поте лица зарабатывает себе жалкое пропитание, которое может только продлить его дни, отнюдь не обеспечивая ему спокойной старости.

267. Работоспособные нищие

Но если существует много нищих, которых нужда заставляет протягивать руку, нищих,

подавленных несчастьем, в каждом движении которых чувствуется подлинное горе, а в глазах виднеется мрачный огонь отчаяния, то существует также немало нищих-обманщиков, которые деланным стоном и поддельной немощностью обманывают сострадательных людей и злоупотребляют их щедростью.

Притворно жалобным и безжизненным голосом они нараспев призывают имя божье и преследуют вас по пятам; эти презренные существа не боятся ни божьего правосудия, ни его слугителей. Они лгут каждому прохожему; чувствуя милостыней, они изображают из себя страдальцев и калек, чтобы уклониться от ненавистного им труда.

Некогда трусы отрубали себе большой палец, чтобы не идти на войну. Так нищие, о которых идет речь, покрывают свое тело отвратительными язвами, чтобы растрогать прохожих. Но если при наступлении ночи вы последуете за одним из них в какой-нибудь отдаленный кабак одного из городских предместий—место их свидания, то увидите всех этих калек прямыми и здоровыми. Сюда они сходятся на шумные оргии. Хромой бросает свой костыль, слепой—свой пластырь, горбатый—волосяной горб, безрукий берется за скрипку, немой кричит, подавая знак началу бешеной разнузданности. Они пьют, поют, режут, напиваются допьяна; самый чудовищный разврат царит на этих сборищах. Нищие хвастают своими поборами с общественной чувствительности и обманом сострадательных и доверчивых душ. Они делятся друг с другом своими тайнами и с наглым смехом изображают

свои жалкие кривлянья. Женщины, подобно тому, как это было в Лакедемонии, являются их общей собственностью. Эти люди не признают никаких законов и совершенно потеряли чувство стыдливости, которое считается врожденным у всех цивилизованных народов.

Они поздравляют друг друга с возможностью существовать ничего не делая и принимать участие во всех общественных удовольствиях, не неся никаких общественных обязанностей. Дети, рождающиеся от этих незаконных и гнусных связей, усыновляются кем-нибудь из нищих, намеревающихся с помощью невинных младенцев возбуждать общественное сострадание. Они обучают их детские голоса нищенским причитаниям, и, по мере того как ребенок подрастает, из преподанных ему губительных уроков он создает себе ремесло.

Если у этих презренных существ нет своих детей, они крадут чужих; они им выворачивают и вывихивают конечности, чтобы у них были, как они называют, *божьи ручки и ножки*.

Это подлое и преступное ремесло в прежние времена приносило еще больший доход, чем в наши дни, потому что теперь полиция очень строго за это взыскивает. Бывали случаи, когда нищие давали своим дочерям по тридцать и сорок тысяч франков приданого и сами недурно пристраивались при молодых, но в то же время продолжали целыми днями жалобно выпрашивать милостыню.

Но как осмелиться карать нищенство, когда существуют монашеские ордена, нищенство которых узаконено и, так сказать, освящено? Гово-

рят, что эти ордена богаты и нищенствуют только по смирению, но не опасен ли такой пример? И разве возможно установить разницу между бездельником в рясе и бездельником профессиональным, существующим за счет благотворительности?

Продажные женщины, предлагающие под вечер свои прелести за скромное вознаграждение, могут тоже сойти за нищенок, так как они не столько развратны, сколько голодны. И им гораздо нужнее ваши деньги, чем ваши ласки.

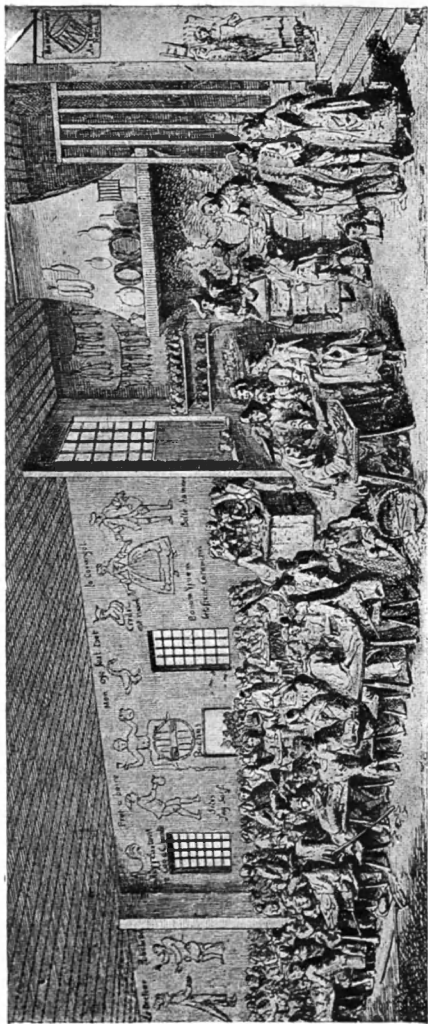
268. Нуждающиеся

При современном положении наличие большого числа преступников представляет собой вполне нормальное явление, потому что имеется множество *нуждающихся*, существование которых совершенно не обеспечено, а между тем всем нужно жить. Чудовищное неравенство состояний все увеличивается; у небольшой группы людей есть все, у остальных ничего; отцы семейств, разорившиеся благодаря заманчивым лотереям и пожизненным рентам—этому бичу современности, не оставляют детям почти ничего, кроме контрактов, аннулируемых после их смерти. Гнет нищеты и наглая жестокость богача, который всячески притесняет работающего в поте лица поденщика; увеличение налогов, неустойчивость состояний, недостаток денежного обращения, баснословное вздорожание съестных припасов, затруднения в области торговли—все толкает несчастного к неизбежному разорению.

Появляются уголовные законы, появляются палачи; но зло, которого не сумели предотвратить, редко поддается исправлению. Виселицы, эшафоты, колеса, каторга—все это бесполезные акты мщения. Преступления вновь возникают, потому что источник их остался нетронутым; они подобны гноящимся ранам, которые не перестают кровоточить, пока не излечено все тело.

Богачи не сделались человечнее. Несправедливое распределение землевладений поддерживается и законами и разного рода карами. Преступники поддаются соблазну, рождающемуся из самого их положения, а нужды их остаются все теми же. Люди эти были бы верными исполнителями законов, если бы законы им хоть немного покровительствовали; но так как руки их всегда пусты,—законы их отвергают. С одной стороны голод, с другой—ужасные муки держат людей в напряженном состоянии.

Судите сами о их безвыходной и жестокой нужде, раз они решаются поставить на карту свою жизнь. Я не говорю здесь о тех ужасных и заранее обдуманых преступлениях, которые порождает месть и измена, но о тех смелых преступлениях, которые вызываются несправедливым распределением жизненных благ. Общество само породило это зло, так как оно недостаточно заботится об общественном пропитании, на которое все имеют право. Вот почему мне всегда кажется, что несчастный, всходящий на эшафот, является обвинителем богатого.



Кабачок Рампоно

С гравюры неизвестного художника

269. Отель-Дьё *

Пойду в больницу,—воскликает несчастный парижанин,—*там умер мой отец, там умру и я.* И вот он уже наполовину утешен. Какое самоотречение, какая глубокая нечувствительность!

Милосердие наших больниц—милосердие жестокое! Роковая помощь, обманчивая и зловещая видимость! Тут смерть во сто раз грустнее и ужаснее той, которая постигла бы бедняка под собственной кровлей, предоставленного себе самому и природе. Дом божий! И смеют так его называть! Страдания, которые там испытывают, еще усиливаются презрением к человеку. Там имеются врач и хирург—это правда; лекарства ничего не стоят,—знаю!—но больного кладут рядом с умирающим и с трупом; зрелище смерти тревожит его душу, и без того охваченную отчаянием и ужасом... Дом божий! Больного помещают в комнату, воздух которой пропитан миазмами; его подчиняют деспотизму, который глух к воплям страдания, к укорам, жалобам. Не допускают к больному никого, кто мог бы поддержать его и утешить; все совершенно равнодушно к тому, выздоровеет он или умрет. Даже сама жалость там мертвяца и слепа, так как лишена самых существенных своих признаков: глубокого сострадания, деятельного внимания, чувствительных слез... Дом божий! Всё жестоко и неприветливо в этих стенах, где всё страдает и мучается. Самые разнообразные болезни прикрывает одно и то же одеяло, и легкое заболевание там превращается в жестокий недуг.

Кто не бежит этих кровавых и бесчеловечных больниц? Кто решится переступить порог этого дома, где больничное ложе — дар милосердия—во сто раз ужаснее голой постели бедняка! И в то время как эти ужасы печалят взор иностранца и угнетают возмущенные сердца,—узнаешь, что люди, которым поручено это важное учреждение, еще ничего не предприняли, чтобы хоть оградить себя от укоров, что позор продолжается, что в то время как, согласно священным канонам, все церковные богатства по праву принадлежат бедным, духовенство не оказывает никакой существенной помощи страждущему человечеству и остается вполне равнодушным к наиболее священному делу, возложенному на него его саном.

Что было бы, если бы кощунственное расхищение денег, предназначенных на облегчение несчастных, если бы все эти нецелесообразно затраченные богатства обнаружили бы всю жестокость учреждений, основанных с благотворительной целью? Существует ли под небесами преступление, более заслуживающее всеобщего презрения? А между тем, общественное мнение громогласно обвиняет руководителей больниц, имена которых должны бы произноситься не иначе, как с чувством глубокого уважения и умиления.

Больница Отель-Дьё была основана в 660 году св. Ландри* и графом Аршамбо для больных обоюбого пола без всяких исключений: еврей, турок, протестант, идолопоклонник, христианин имеют туда свободный доступ.

В ней тысяча двести кроватей, а число боль-

ных доходит до пяти-шести тысяч. Далее считайте, что в Главной больнице в среднем от десяти до двенадцати тысяч больных, а в Бисетре—от четырех до пяти тысяч. Вы получите тогда понятие о переполнении этих заведений несчастными, которые не знают, где преклонить голову, так как при нашей системе управления они получают право на существование, не получая при этом той базы, на которой это существование могло бы покоиться.

Почти невозможно дознаться, каковы доходы Отель-Дьё. Они огромны, и это подтверждается той тщательностью, с которой их скрывают от населения. При таком богатстве все злоупотребления должны казаться еще более возмутительными. Сравните Дом милосердия в Лионе и Версальскую больницу с парижским Отель-Дьё. Там вы увидите замечательный порядок, управление, достойное самых громких похвал и умиляющее наблюдателя; здесь—все пороки, удручающие душу и вызывающие глубочайшее негодование и возмущение.

Надеялись, что последний пожар пойдет на пользу больным, что на новом месте построят более просторное, более гигиеничное здание, но оказалось, что недочеты остались те же.

В парижском Отель-Дьё есть все, что может сделать его губительным для больных, в том числе сырость и плохой воздух. Раны там легко приобретают гангренозный характер; цынга и короста в свою очередь производят страшные опустошения, стоит только больному там немного задержаться.

Самые обыкновенные по существу своему болезни вскоре серьезно осложняются благодаря заразе, витающей в воздухе; по той же причине простые раны на голове или на ногах становятся в этой больнице смертельными.

Слова мои лучше всего подтверждаются несметным количеством людей, умирающих ежегодно в парижском Отель-Дьё и в Бисетре. Из пяти больных один непременно умирает. Ужасающий подсчет, на который, однако, взирают с полнейшим равнодушием!

Путем опыта и наблюдений медиков доказано, что больница, вмещающая больше ста коек, опасна, как настоящая чума; можно к этому прибавить, что когда двух больных разными болезнями помещают в одной и той же комнате, они вредят друг другу; следовательно, такой порядок является попранием всех законов гуманности.

О если бы только нашлись люди достаточно смелые, чтобы уничтожить зло, которое унижает в глазах иностранца эту отрасль нашего общественного управления! Если бы они смогли не бояться своих противников, которые трепещут при малейшем намеке на перемену! Если бы, наконец, добрый гений мог восторжествовать над гением зла, который всегда силен, всегда настойчив и употребляет все усилия, чтобы воспротивиться великодушным планам, создаваемым на благо человечеству!

Можно с уверенностью утверждать, что доходы Отель-Дьё настолько велики, что их хватило бы на питание десятой части столичного населения. Священное достояние бедняков бро-

шено теперь на произвол негодной администрации, чтобы не выразиться сильнее,—которая с таких уже давних пор ошибается как в выборе средств, так и в их применении.

270. Кламар

Трупы, ежедневно извергаемые Отель-Дьё, переносятся в Кламар. Это—обширное кладбище с вечно зияющей пропастью. Таким покойникам не полагается гробов,—их просто зашивают в холстину. Всегда спешат стащить их с кровати, и не раз больные, которых считали умершими, просыпались в тот момент, когда проворные руки уже зашивали их в грубый саван; другие начинали кричать, что они еще живы, когда их уже везли в повозке на кладбище.

Эту повозку обычно тащат двенадцать человек. Грязный священник, крест, колокольчик— вот и все, что ждет бедняка. Но тогда ему уже все становится безразличным.

Мрачная повозка отправляется из Отель-Дьё ежедневно в четыре часа утра. Она тащится по улицам в глубоком ночном безмолвии. Колокольчик, возвещающий о ее приближении, будит на своем пути спящих. Надо самому увидеть эту повозку на улице, чтобы пережить ощущения, вызываемые ее грохотом, и впечатления, оставляемые ею в душе.

Во времена особенно большой смертности она совершала этот рейс до четырех раз в сутки, а за раз она может вместить до пятидесяти трупов. Детей складывают в ногах у взрослых.

Трупы сбрасывают в широкую и глубокую яму; потом засыпают их негашеной известью, и этот никогда не закрывающийся тигель свидетельствует испуганным взорам, что он без труда может пожрать всех жителей столицы.

Постановление парламента от 7 июня 1765 года о закрытии всех кладбищ, находящихся в черте города, не приведено в исполнение.

Простой народ никогда не забывает в *Родительский день* посетить это обширное кладбище, чувствуя, что и сам не замедлит отправиться вслед за родителями. Он молится и становится на колени, а потом идет пьянствовать. Там нет ни пирамид, ни могильных плит, ни надписей, ни памятников. Все место совершенно голо. Эта земля, удобренная покойниками, является тем полем, куда молодые хирурги приходят ночью, перелезая через ограду, чтобы выкрасть трупы, на которых они упражняют свои неопытные скальпели. Так, после кончины бедняка, у него крадут даже самое его тело, и странный гнет, всегда властвующий над ним, кончается только тогда, когда бедняк теряет последнее сходство с человеком.

271. Подкидыши

Приют для подкидышей представляет собою другую бездну, которая не возвращает и десятой части вверяемых ей человеческих существ. В Нормандии подсчитали, что за последние десять лет из ста восьми детей умирало сто четыре. Просмотрите газету *де-Дё-Пон* от 9 ап-

реля 1771 года,—вы увидите, что почти то же происходит во многих других провинциях королевства.

В Парижский приют поступает от семи до восьми тысяч законных и незаконнорожденных детей; и их число с каждым годом увеличивается. Значит, семь тысяч несчастных отцов отказываются от того, что особенно дорого сердцу человека. Это жестокое отречение, противное самой природе, говорит о великом множестве нуждающихся. Во все времена бедность была причиной дурных поступков, приписываемых обычно человеческому невежеству и дикости.

В странах, где народ пользуется хоть некоторым достатком, граждане даже низших классов остаются верны закону природы. Нищета же всегда развращала и будет развращать граждан.

Рассмотрев одни только наиболее обычные причины, ввергающие детей в эту ужасную бездну, мы найдем тысячу обстоятельств, в большинстве случаев извиняющих несчастных родителей, которые были доведены до такой жестокой необходимости. Народные бедствия мало-помалу истощили все силы государственного организма; но кроме того есть множество второстепенных причин, в которых будет нетрудно разобраться, если только немного поразмыслить об условиях жизни в столице.

Жизнь становится все труднее и труднее. Как бы ни было велико желание каждого человека приобрести средства к честному образу жизни, достигнуть этого он не может. А как можно заботиться о пропитании детей, когда

сама мать находится в крайней нужде и, лежа после родов в постели, видит перед собой одни только голые стены?!

Четвертая часть народонаселения Парижа не знает вечером, даст ли ей завтрашний заработок возможность существовать. И удивительно ли, что люди так тяготеют к нравственному злу, когда они знают одно только зло физическое?

Круглый год, во все часы дня и ночи, без всяких вопросов и формальностей приют принимает всех приносимых новорожденных. Это мудрое учреждение предотвратило и воспрепятствовало тысячам тайных преступлений. Детоубийство в наши дни настолько же редко, насколько раньше было обычно, а это доказывает, что законодательство может совершенно изменять нравы.

Девушка, поддавшаяся слабости, скрывает это от всех взглядов. Она ничем за это не платится. Скажут, что этим несколько облегчили разнузданность нравов,—согласен,—но, не говоря уже о том, что существуют некоторые пороки, неразлучные с многолюдными городами и что избежать их все равно невозможно, благодаря учреждению этого приюта удалось предотвратить множество несчастий, неурядиц и преступлений.

Было предложено делать со временем изо всех этих подкидышей солдат. Дикий проект! Разве тем, что вы вскормили ребенка, вы получили право принести его в жертву войне? Было бы крайне бесчеловечным благодеянием воспитать его только затем, чтобы в расплату потребовать его кровь и, помимо его воли, лишить

его свободы. Никто не должен родиться солдатом, раз не все мужчины служат в войсках.

Материнская любовь угасала перед роковым вопросом о чести, пока милосердый св. Венсен де-Поль* (заслуживающий похвального слова от панегириста Декарта и Марка Аврелия*), не предложил убежище невинным жертвам, обязанным своим появлением на свет слабизну, слабости или разврату.

Я сказал, что число подкидышей доходит до семи тысяч в год, но надо заметить, что большая часть их прибывает из провинции. Там, когда девушка становится матерью, она тайно отсылает своего ребенка, которого боится оставить при себе и которого она при других обстоятельствах боготворила бы.

Несчастный младенец, гонимый в силу предрассудков с самого дня рождения, скитается с места на место по чужим рукам, так как иначе он погубил бы ту, которая дала ему жизнь. Увы! Может быть, это какой-нибудь будущий Корнель, или Фонтенель, или Ле-Сюёр*, который во время этих странствий погибнет от непогоды или от слабости, или,—осмелюсь ли сказать!—от недостатка питания. А особенно странным кажется то, что этот самый ребенок, явившийся из Нормандии или Пикардии и перенесший тысячу опасностей,—в самый вечер своего приезда в Париж вновь возвращается на родину, если судьба определит ему в кормилицы пикардийку или нормандку.

Новорожденных детей доставляет в приют приставленный к этому делу человек. Он несет их на спине в ящике, обшитом внутри чем-нибудь

мягким; их помещают там стоймя, по-трое; они запеленуты; воздух попадает к ним сверху. Человек останавливается в дороге только для того, чтобы поесть самому и дать соску малюткам. Случается, что, открыв ящик, он находит одного из них мертвым; он отправляется в дорогу с двумя другими, спеша освободиться от ноши. Доставив младенцев в приют, он немедленно отправляется в обратный путь, чтобы начать сначала. Это его ремесло, его пропитание.

Почти все дети, переносимые из Лотарингии через Витри, гибнут в этом городе. Метц видит за один год девятьсот таких подкидышей. Есть над чем призадуматься!

Пора бы поискать какое-нибудь средство против этого зла. Нужно или перестать хулить честную и решительную девушку, которая кормит собственным молоком своего ребенка и материнскими заботами искупает свою ошибку, или же оградить детей от тягостных перевозок, которые губят целую треть принимаемых в приют детей, причем вторая треть тоже гибнет, не дожив до пятилетнего возраста.

В Пруссии все девушки кормят своих детей и делают это вполне открыто. Тот, кто отваживается оскорбить девушку во время исполнения этой священной и естественной обязанности, подвергается наказанию. Там привыкли видеть в ней только мать. Вот что сделал король-философ*, вот какие здоровые идеи он привил своему народу.

Кто-то предложил заменить женское молоко козьим и коровьим; на севере эта новая система

вошла в обиход. Почему бы и нам самим не воспользоваться идеей, которую заимствовали у нас иностранцы? Они умеют пользоваться на практике тем, что мы придумываем и из чего сами не извлекаем пользы.

272. Королевская лотерея

Вот еще источник многих зол, и источник совсем новый! Этот бич действует не реже двух раз в месяц. Лотерея, роковая во всех отношениях, представляет собой настоящую заразу, занесенную к нам из Италии. В Риме ее запретили под страхом изгнания; почему же ей суждено было распространиться по всем большим городам Европы? В Париже и без того было достаточно своих внутренних бед, с которыми приходится бороться.

Предприниматели прекрасно знают, что их добыча огромна и несомненна; что число проигрывающих во много раз превосходит число выигрывающих; что почти все шансы на стороне предпринимателей; что нет никакого соответствия между ставкой и выигрышем; и они дважды в месяц заставляют бедный люд вести самую бессмысленную и губительную игру! Глупое простонародье надеется вытащить счастливую *четверку* или *пятерку**

Губительные последствия этой жестокой лотереи неисчислимы. Ошибочные надежды заставляют людей нести свои деньги, отложенные на насущные потребности, в одну из ста двадцати специальных контор. Слуги, подстрекае-

мые опасными соблазнами, обманывают и обкрадывают хозяев; родители, ослепленные любовью к детям, надеются удвоить свои состояния и вместо этого теряют их. Писаря и кассиры рискуют, казенными деньгами и с отчаяния лишают себя жизни. Многие семьи эта игра совсем разорила. Какое-то опьянение охватывает несчастных, и они теряют последнюю опору в жизни. Все прекрасно знают о трагических случаях, повторяющихся почти ежедневно; и, невзирая на всю очевидность опасности и на негодование, вызываемое зрелищем лотереи, эти губительные операции продолжаются, до такой степени велика жажда денег, до такой степени никто не считается с нравственностью и со спокойствием семейной жизни.

Достойны ли матери-родины эти отвратительные победы государства над собственными же гражданами и граждан—над своими братьями? Как может общество относиться так безжалостно к своим детям, расставлять им ловушки и вызывать неизбежные разорения, то и дело приводя в движение колесо Фортуны?!

Говорят о необходимости украшать город и воздвигать здания. *Достаток и добрые нравы являются наилучшим украшением города*,—говорил Зенон. У божества нет недостатка ни в храмах, ни в алтарях, но особенно должно его радовать незыблемое благосостояние счастливого и довольного народа. В политике осторожность является оком всех прочих добродетелей.

Выигрышный билет, двойка, тройка, четверка, пятерка,—слова, еще так недавно не знакомые

нашему народу, каких только бедствий не принесли вы ему с собою! Сколько денег вытянули вы украдкой у народа! Увы! Он не знает, что лотерея выгодна только банкирам, и проводит жизнь, *комбинируя цифры*. Страх и надежды одурачивают его, делают суеверным, и, не умея даже *считать*, он живет самыми несбыточными надеждами. Его невежественность в этом отношении должна бы служить ему защитой.

Прусский король, мудрый законодатель, изгнал лотерею из Берлина и из всех своих провинций. Этот великий пример, поданный человеком большого ума и талантливым правителем, говорит больше, чем все рассуждения; решение монарха, принятое на основании долгого опыта, показывает, насколько вредны подобные игры; они подтачивают жизненные силы государства, отнимая у народа питательные соки.

273. Двусмысленная глава

Как предохранить Париж от голода, который постоянно грозит двум третям его населения, незаметно разоряемого самыми коварными и разнообразными соблазнами? Обратимся с речью к развращенному городу! Допустив и освятив законами невероятное неравенство состояний, общество совершило великое злодеяние, и с тех пор каждый поневоле выработал и должен был выработать свой собственный способ существования. Ведется непрерывная борьба, и каждый бросается на груды богатств, чтобы хоть что-нибудь отхватить в свою

пользу. Здесь речь идет уже не об отвлеченных законах; теперь обнаруживается полный отход от естественного человеческого общества, чудовищные последствия роскоши и всеобщая испорченность, порожденная ею. Государство представляет собою больное, гангренозное тело; речь идет не о том, чтобы наложить на него обязанности здорового, сильного тела, но о том, чтобы обходиться с ним так, как того требуют его почти неизлечимые раны.

Только роскошь может излечить раны, нанесенные роскошью. Этот яд сделался необходимым для организма в целом. Основной закон—это жить. Самое отвратительное зрелище—вид праздной нищеты, которая ожидает смерти, сложив руки и испуская нечленораздельные стоны. А так как столица представляет собою нестройное собрание людей, не имеющих ни земли для обработки, ни фабрик, которыми они могли бы управлять, ни должностей; так как подавленные нищетой люди могут существовать лишь только некоторыми видами мелких и несложных ремесел, то нужно, раз зло уже совершено и столько раз уже приходилось мириться с его последствиями, нужно,—повторяю,—дать средства к существованию всей этой толпе, которая, в противном случае, может пойти на нечто худшее.

Государство открыто разрешает общественную лотерею, которая представляет собою азартную игру, всегда выгодную для банкира, получающего весь барыш. Зачем же запрещать азартные игры частным лицам, в то время как всех разоряют подобной же игрой, с той только

разницей, что в ней ни одно частное лицо не остается в выигрыше? Эту игру ведет само государство, и ведет наверняка. Пусть же вернет оно частным лицам их преимущества и доходы: лучше быть игроком, чем ростовщиком, мошенником или вором. Как только в большом городе начинает царить праздность, единственное средство противодействовать разложению — это устроить так, чтобы никому не было отказа в средствах к существованию, так как иначе закон, желая быть рассудительным, превратится в слепой и бесчеловечный.

Игра—это мимолетная торговля, быстрая, подверженная бесчисленным случайностям, способная размельчить чересчур большие состояния. Она усиливает денежное обращение, которое насыщает, оживляет и способствует потреблению. Неиграющие наживаются на выигравших. В опьянении выигрыша деньги текут, ускользают и рассыпаются под ногами удачливого игрока. Жадные люди становятся щедрыми, и все лица разглаживаются под влиянием радостных надежд. Деньги начинают очень быстро обращаться, торговцы этим довольны, и мало-по-малу все самые мелкие артерии государственного организма получают животворящие соки.

Во всяком случае, я предпочту видеть в Париже игорные дома, чем дома терпимости. Первые могут еще оказывать некоторое добро, вторые же безусловно губельны. Финансовая система Ло представляла собой общественную азартную игру. Никогда не было видано во Франции такого оживления: товарооборот

ускорился, дела развивались, и все сословия благоденствовали. Подобная же игра, но менее беспорядочная, менее страстная, сдерживаемая в известных границах, могла бы принести большую пользу. Не будем же обманывать себя и посмотрим на вещи в их настоящем свете. С тех пор как золото стало жизненной силой государств, с тех пор как сами короли стали царствовать при помощи золота,—считаются только с его счастливыми обладателями. В самых высших классах, как и повсюду, не гнушаются наклониться, чтобы поднять золото; без него все является лишь ненужным украшением.

Звание, не приносящее доходов, не ставится ни в грош; геральдика похоронена в справочниках, и мы, подобно англичанам, уже не спрашиваем: *Что это за человек?* А спрашиваем. *Сколько он имеет?* Равенство людей,—кто мог бы это подумать!—возникает благодаря роскоши. В ожидании того дня, когда она нас погубит, она всех нас одинаково приводит к краю бездны. В наших городах нет других повелителей, кроме тех, которых мы сами себе выбираем; нет других рабов, кроме людей, не имеющих золота; а тот, у кого оно есть, может смело смотреть в глаза всякому; если человек уплатил монарху все причитавшиеся с него налоги, он больше уже ничем ему не обязан.

Золото вырывают друг у друга, золото делят; оно так необходимо всем! И в этой борьбе сегодняшний победитель на другой день оказывается побежденным. Все чувствуют, что при таком положении вещей различные места,

занимаемые отдельными лицами, являются в глазах рассудительных людей совершенно одинаковыми, что единственное реальное и устойчивое отличие основано на обладании золотом, и что, следовательно, нужно разбрасывать его во все стороны, чтобы каждый мог получить хотя бы небольшие его крупы. Кто не чувствует, что допускать, с одной стороны, колоссальнейшее наследство, а с другой—запрещать такому-то наследовать от другого деньги за игорным столом—нелепо и опасно, что это противоречие может повредить даже теперешнему правительству, ибо оно, превратившись в банкира, умышленно умалило добро, которое могло бы получиться от страшной игры, где все невыгоды, конечно, на стороне понтирующего!

Если такое рассуждение оставляет многого желать, то ведь и я смотрю на него только как на временное средство, которое даст законодателю время прибегнуть к другим, более нравственным мерам. Это зло началось с Кольбера; его мероприятия, равно как и мероприятия его последователей, меня вполне оправдывают. Кольбер, находясь во главе торговли и промышленности, принес им в жертву земледелие; он призвал в города толпы людей, которые обрабатывали землю в провинции; он создал бесчисленный класс рантье. Появились прекрасные изделия, зато совершенно исчез хлеб. С удивлением читаешь, что во время беспорядков предшествовавших воцарению Генриха IV*, королевство производило вдвое больше съестных припасов, чем требовалось населению, и что во время блестящей деятельности Людовика XIV

народ, окруженный чудесами живописи и скульптуры, голодал; с тех пор он голодал не раз, а это свидетельствует о порочности мероприятий не в меру прославленного Кольбера, который создал Людовику подходящие условия для расточительности, подчинил народ придворным и усилил королевскую власть свыше положенного ей предела.

Следует при этом отметить, что, несмотря на мероприятия Кольбера, фабрикант и торговец не пользуются почетом, соответствующим их труду. Почему покупатель мнит себя выше продавца? Разве они не взаимно полезны друг другу? И есть ли на свете такая вещь, которую нельзя было бы перевести на деньги? Оплачивают трон; алтари оплачены. Король и папа получают доходы, попадающие им в руки в виде золотых монет. Самые почетные награды во всех современных государствах зиждутся на деньгах. Вельможи так же горячо стремятся получить золото, как и те, кто его совсем не имеет. Все великие актеры мира сего, начиная с тех, что выступают на подмостках, и кончая теми, что играют при дворе, получают денежное вознаграждение, и притом (на это нельзя не обратить внимания) получают его вперед. Говорят, что торговля основана на барыше и что это-то ее и унижает. Но ведь все жаждут барыша: тот, кто присутствует при утреннем туалете короля, торгует своим временем, своими разъездами, своим угождением, своим низкопоклонством, а между тем все его путешествия ограничены Парижем и Версалем. Купец же посещает все порты Европы: он полезен всем

людям. Один привозит из своих странствий множество всевозможных сведений, а другой, — дворянин, желающий торговать только своею кровью, — целыми годами добывается какого-нибудь полка, который от него ускользает. В конце-концов он беднеет, и его потомство на протяжении целых двухсот лет обречено жить в нищете.

Говорю ли я все это серьезно? Шучу ли? Предоставляю угадать это вам, читатель!

274. Сожаления, и притом совершенно излишние

При виде всего, что так позорит богатый и цивилизованный народ, какой писатель не пожалеет об отсутствии трибуны, с которой все-народно произносились бы громовые речи! Во всех странах злоупотребления кончаются лишь тогда, когда их предают общественному порицанию. Лучшие образцы красноречия, оставленные нам античностью, были произнесены с трибуны, и в наши дни, когда политические идеи сделались более здравыми, с трибун можно было бы сделать целый ряд полезных предложений.

Кто осмелился бы взойти на такую трибуну, не почувствовав себя согретым благородным пламенем патриотизма? В наши дни во всех наиболее свободных государствах народ узнает о трениях, происходящих в правительстве, и о тех или других его недостатках только из газет, являющихся весьма ценным средством,

но гораздо менее действительным, чем живое слово, гремящее среди многочисленного собрания.

275. Пожелание

Народонаселение Парижа увеличивается и будет еще увеличиваться, потому что с тех пор, как дороги открыты, все устремляется из провинции в столицу. Целые полчища молодых людей являются в Париж, бросив родительский дом с тем, чтобы нажить состояние или чтобы пользоваться в столице большей свободой; отсюда это несметное число ищущих работы и мест.

В Париж притекает масса денег, и это усугубляется еще тем, что эти деньги не возвращаются в провинцию, с сосредотачиваются здесь в небольшом числе рук.

Подобного рода соображения вызвали у многих желание превратить Париж в порт, каким он и был, повидимому, в былые времена. Нет сомнения, что морская торговля как нельзя более подошла бы столице такого населенного королевства, каким является Франция, особенно если принять во внимание то обстоятельство, что почти все деньги сосредоточены именно в Париже. Такая торговля ничем не повредила бы другим городам королевства, — во-первых, потому, что новые сношения, завязавшиеся с Америкой, могли бы удвоить или утроить число кораблей, курсирующих в настоящее время; во-вторых, потому, что торговля оживляет все области, в которые она проникает; и на-

конец, потому, что со временем, при некоторых усилиях, можно было бы оспаривать у Англии и у Голландии часть того исключительного господства на море, которое они присвоили себе.

Какое невероятное оживление и рост промышленности получились бы от такого мероприятия! Оно расширило и облагородило бы деятельность наших финансистов, превратившихся в ростовщиков за отсутствием более крупных задач. Оно доставило бы множество новых возможностей людям, которые, при всей своей смелости и талантах, в настоящее время бездействуют.

Проект устроить пристань для торговых судов у подножия прекрасного Тюильерийского дворца не считается неосуществимым. Предполагают даже, что сумма, необходимая для преодоления всех трудностей, не превысит сорока шести миллионов. Я познакомился, между прочим, с одним планом, который, повидимому, способен победить все препятствия и сделать реку судоходной во все времена года.

Как! Неужели же народ, который соединил Средиземное море с океаном, неужели страна, породившая *Рике* и *Лорана**, убоится гораздо более легкого предприятия? А между тем, когда понадобилось заставить воды Лангедокского канала подняться выше уровня моста и пересечь реку, протечь через горный хребет, просверленный на большой высоте, подняться на другую гору и опять спуститься, нигде не затерявшись, то в этой работе усматривали не меньше трудностей, которые тоже считались непреоборимыми. И, тем не менее, их преодолели.

ли на протяжении более сорока лѣтъ, несмотря на то, что машины в то время далеко не достигали теперешнего совершенства.

Насколько новое предприятие было бы и полезнее и нужнее! У нас истрачено много больше на боскеты с ненужными мраморными изваяниями, свидетельствующие лишь о тщеславии королей, а не о их величии. Мне хотелось бы ускорить момент, когда столица даст выход своим многочисленным детям, вынужденным чаще всего эмигрировать или же пресмыкаться, занимаясь унижительными делами. Я предвижу для столицы обеспеченное существование, — залог счастья, и уже не буду беспокоиться о ее будущем: она станет равной всем столицам мира. Но я почту ее действительно благоденствующей лишь тогда, когда она проложит себе пути к морям, чтобы дать непосредственный доступ изобилию. Без этого самые неожиданные бедствия смогут ее иссушить, истощить и принести смерть ее гражданам.

276. Париж-порт

Истратив триста или четыреста миллионов на бессмысленные, ненужные и бесплодные войны, как могли не привести в исполнение проекта, имеющего целью привлечь в Париж корабли? Сделать из Парижа порт, каким он был когда-то*, возобновить древнюю морскую торговлю этого большого города, привлекать корабли, приплывающие со всех сторон света, не значило ли бы это дать торговле Франции

сильный толчок. Роскошь столицы, ее населенность, старания жителей—все обеспечило бы полный успех.

Проект этот вполне выполним; нужно только углубить русло реки, чтобы сделать ее судоходной; можно ли бояться расходов, когда дело идет о таком великолепном и важном предприятии?

Возможно, что тогда, помимо королевского флота (этой дорогой и ненужной декорации), и торговые суда во множестве двинулись бы в море, представляя собою внушительный флот, так как они были бы снабжены всем, что могут дать соединенные силы богатого, трудолюбивого и обширного города. За его судьбу не приходилось бы больше бояться; всем его коренным гражданам были бы обеспечены средства к жизни. Франция могла бы иметь, благодаря своим природным богатствам, до шести первостепенных приморских портов, а у нас до сих пор их всего только три.

Все деньги, которые расходуются в Париже на пустую роскошь, на легкомысленные удовольствия, нашли бы себе применение в области широкой и честной торговли, которая возвысила бы души и умы; спекуляция исчезла бы, уступив место коммерции; ростовничество покрылось бы краской стыда, познакомившись с более благородными, более прибыльными и законными способами наживы. Наконец, если успехи вообще пропорциональны усилиям, которые вкладываются в то или иное предприятие, то какие только выгоды не сулит нам будущее!

Столица такого королевства показалась бы еще великолепнее в окружении тысячи судов;

достаток, которым она теперь пользуется за счет истощения окрестностей, утомления людей и лошадей и порчи дорог, приплывал бы на парусах, без труда и усилий, к самому подножию ее величественных стен. Промышленность, подгоняемая во всех направлениях, стала бы смелее и просвещеннее; благодаря этому проекту она развилась бы, и в результате получилось бы нечто действительно великое, другими словами,—нечто способное повысить мощь королевства.

Эта новая победа была бы, несомненно, ценнее, чем завоевание каких-то отдаленных островов, на обладании которыми настаивают политические рутинеры.

Если мы заглянем в глубь истории, то увидим, что народы Швеции, Дании и Норвегии, в числе сорока тысяч человек с Сигфридом во главе, явились в 885 году во Францию и предприняли осаду Парижа; у них было семьсот парусных судов, не считая барок; Аббон*, современник и свидетель этих событий, монах аббатства Сен-Жермен-де-Пре, написавший латинскими стихами двухтомную историю этой войны, говорит, что вся река была сплошь покрыта судами на пространстве в два льё. Он прибавляет, что в течение столетия они уже дважды являлись во Францию.

Юлий Цезарь в третьей книге своих *Записок** рассказывает, что во время войны с галлами он приказал за одну зиму соорудить в окрестностях Парижа шестьсот деревянных судов, что весной он погрузил на них свое войско, оружие, поклажу, лошадей и провизию

и, спустившись по Сене, приплыл в Дьепш, а оттуда направился в Англию, которую и завоевал.

Не видели мы разве всего несколько лет назад, именно 1 августа 1766 года, капитана Бертло*, приплывшего к Пон-Роялю на судне, вместимостью в сто шестьдесят тонн, длиною в пятьдесят пять футов, с грасс-мачтою в восемьдесят футов вышиной? Когда он уехал 22-го числа того же месяца, нагрузив свое судно товарами, вода в Сене достигала почти такого же уровня как теперь, то есть двадцати пяти футов. Это судно дошло из Руана в Париж в семь дней, из Руана в Пуасси в четыре дня, а в другой раз из Гавра в Париж в десять дней.

Руанская Академия наук, изящной словесности и художеств на открытом заседании 1 августа 1759 года объявила, что предлагает для будущей конкурсной работы ответить на следующий вопрос: *Не была ли Сена в прежние времена судоходной для кораблей значительно больших размеров, чем те, которые плавают по ней сейчас, и нет ли средств восстановить ее былую судоходность или создать таковую?* В 1760 году премию никто не получил, так как Академию не удовлетворили присланные сочинения; в 1761 году ее тоже не удовлетворила ни одна работа, и Академия решила дать для конкурса какую-нибудь другую тему.

У инженеров этот проект никогда не считался невыполнимым, и предварительная смета работ за подписью нескольких архитекторов уже подавалась в министерство.

На разрушительные войны, на глупые министерские выдумки у нас деньги есть, но их

нет на то, чтобы оживить колоссальный город и облегчить провинциям уплату громадной и тягостной дани, которую обкладывает их столица.

277. Тюрьмы

Вернемся теперь от этих возвышенных проектов к действительности. Оставим прекрасные мечты, чтобы обратить внимание на нашу нужду и бедность. Отдадим себе отчет в нашем крайнем равнодушии ко всему, что касается человеколюбия. Вокруг меня только что реяли светлые образы; тюрьмы, цепи, звук запираемых засовов пробудили меня от грез!

Закон одинаково хватает и сажает в тюрьму как невинного, так и виноватого, пока не выясняются все обстоятельства преступления. Но так как тюрьма представляет собой в высшей степени тяжелую кару, то наказание это должно быть по возможности смягчено. Ведь для того, чтобы удостовериться в моей личности, не требуется губить мое здоровье, лишать меня солнца и воздуха, запирает меня в злобонное помещение и заставляя томиться среди шайки разбойников, один вид которых является настоящей пыткой.

Если имеется подозрение и требуется лишить свободы,—пусть меня ее лишают, но пусть не отдадут во власть алчного тюремщика; если меня вырывают из родного дома, пусть не смешивают с теми, кого ведут на виселицу, так как я могу оказаться и невиновным.

Закон не возместит мне никаких убытков, когда признает мою невиновность. Я против этого не возражаю, так как закон действует во имя общего блага, которому должно быть все подчинено. Но пусть бы только я не вынес из тюрьмы какой-нибудь ужасной болезни, тем более, что так легко оградить меня от всех этих ужасов, предоставив мне немного воздуха во время заключения.

Тюрьмы тесны, воздух в них нездоровый, зловонный; их совершенно правильно сравнивают с глубокими и широкими колодцами, к стенкам которых пристроены отвратительные, узкие каморки. Если заключенный желает помещаться отдельно от других, он должен платить *шестьдесят франков в месяц* за маленькую каморку *в десять квадратных футов!* В тюрьмах все продается по двойной цене, словно нарочно, чтобы увеличить нищету заключенных.

Громадные собаки делят с тюремщиками обязанности сторожей и даже надзирателей. Аналогия в их характерах поразительна! Эти ученики так выдрессированы, что по первому знаку хватают заключенного за шиворот и тащат его в камеру; они слушаются малейшего знака.

Маленькая плотная дверь открывается в течение четверти часа раз тридцать. Вся пища и вообще все необходимое для жизни вносится через эту дверь; другого выхода нет.

Камеры являются средоточием всех несчастий и ужасов. Там укоренились самые чудовищные пороки, и праздный преступник только глубже погружается в новые мерзости.

Тех, кто задыхается в этих подземельях,

называют *railleux*¹. Тут человечество предстает в отвратительном и страшном виде. Поспешим же опустить занавес...

У входа в тюрьму стоит *общественный* гроб в ожидании покойника из числа временно заключенных и *railleux*. Милосердие отказывает им в отдельном гробе; с них достаточно савана. Гроб этот очень толст и крепок; в нем ежедневно переносят всех мертвецов. В тех случаях, когда покойники—подростки, их перетаскивают в гробу по два сразу. Гроб в тюрьме Шатле служит уже восемьдесят с лишком лет.

Сами *railleux* называют его *коркой пирога*. О вы, дикари, кочующие в лесах Северной Америки,—вы съедаете своих врагов, вы делаете из их скальпов кровавые трофеи, и, тем не менее, вы никогда не доставляли дрожащей от ужаса руке историка таких картин, какие мне следовало бы описать здесь... Но нет! Оставим под плотной завесой эти чудовищные гнусности развратного человечества. Свирепых тюремных сторожей ничто не трогает, они сами усугубляют жестокость своих обязанностей.

Благодетельный, чисто отеческий указ прекратит большую часть этих злоупотреблений, а добро, которое *уже* творится, является залогом того, которое ждет нас впереди. Но как медленно оно совершается!

278. Смертный приговор

Чей это пронзительный и зловеющий голос раздается на улицах и перекрестках и доходит

¹ Соломенный.

до самых верхних этажей домов, извещая всех о том, что человеку в расцвете сил предстоит погибнуть, что другой человек во имя общественного блага хладнокровно убьет его? Газетчик на бегу выкрикивает эту новость и продает свеженапечатанный приговор. Его покупают, чтобы узнать имя виновного и его преступление; вскоре, однако, забывают и то и другое. Неожиданность приговора не надолго взволновала умы.

В день казни народ покидает мастерские и лавки и толпится у эшафота, чтобы посмотреть, как осужденный выполнит трудную задачу— умереть на глазах у всех среди страшных мучений...

Философ, услышав из глубины своего кабинета известие о смертном приговоре, испускает стон и, усевшись снова за свое бюро, с тяжелым сердцем, с растроганным выражением лица пишет об уголовных законах и о том, что вызывает необходимость казни; он тщательно исследует действия правительства и закона, а в то время как он в своем уединенном кабинете сочиняет речь в защиту человечества и мечтает получить Бернскую премию,—палач широким железным брусом наносит несчастному одиннадцать страшных, расплющивающих ударов*, а потом привязывает его к колесу, но не лицом к небу, как гласит судебное постановление, а с низко повисшей головой; раздробленные кости разрывают покровы тела... С всклокоченных от страданий волос сочится кровавый пот. Несчастный в течение длительной пытки молит то о воде, то о смерти. Народ смотрит на циферблат Отель-

де-Вилля, считает удары часов, содрогается от ужаса, глядит и безмолвствует.

Но на следующий же день опять воздвигается эшафот; ужасное зрелище, происходившее здесь накануне, не помешает совершиться новому злодеянию. Народ опять сбегается на зрелище. Палач, омыв окровавленные руки, смешивается с толпой граждан.

Убийца умирает, а человек, который заставил целую армию испытать все ужасы голода, который был для своих солдат страшнее, чем железо и огонь неприятеля, который утаил целые воза с мукой и переполнил больницы несчастными,—этот самый человек строит себе дворец перед статуей монарха, которого он обманул и обворовал. До него должен был бы дойти ропот государства, жалобы солдат, которых он довел до смерти от истощения; он должен был бы просыпаться от страха и видеть вокруг себя грозные призраки. А между тем он спит спокойно; документы, удостоверенные подкупленными блюстителями закона, оправдывают его хищения; фальшивые счета снимают с него всякое подозрение; его гнусное ремесло внушает к нему доверие и создает ему почетное положение среди людей, жаждущих золота. В минуты хорошего настроения он рассказывает о своих убийственных подвигах, о том, как он сам поджигал провиантские склады и перепродавал государству то, что уже было оплачено. Запятав себя в Германии поджогами и убийствами, он смеется над этим в Париже.

Погрузившись в размышления после хорошего обеда, миллионер придумывает искусные

и тонко рассчитанные планы увеличения налогов на неимущее население и во время пищеварения подсчитывает, какой барыш ему даст это политическое злодеяние!

Я никогда ему не прощу! Я всегда буду призывать его к ответу перед лицом всего человечества. Я скорее прошу несчастному, не имеющему ничего, кроме смелости и пистолета, когда он набросится на меня в каком-нибудь закоулке, чтобы отнять у меня деньги—символ съестных припасов, в которых он так нуждается.

Да! Человек, который лишит меня жизни, будет мне менее ненавистен, чем эти угнетатели родины. Я заранее его прощаю, если со мною случится подобное несчастье; как пострадавший —я примирюсь с ним, я даже его оправдываю. Свою ненависть я храню для того чудовищного существа, которое, пребывая в роскоши и изобилии, хватает людей за горло. Я всегда буду клеймить презрением законы, которые бессильны пресечь или наказать эти возмутительные преступления.

279. Палач

Исполнитель высшего правосудия получает восемнадцать тысяч жалования в год. Десять лет тому назад он получал только шестнадцать тысяч, но тогда он имел право накладывать свои гнусные руки на общественные съестные припасы и брать себе определенную долю. Теперь ему возмещают это деньгами. За последние сорок лет в Париже был обезглавлен только

один человек, а потому палач не особенно опытен в этом деле.

Простонародье хорошо знает его в лицо. Он является великим трагиком для грубой черни, которая валит толпой на эти ужасные зрелища; ее влечет чувство необъяснимого любопытства, увлекающее даже цивилизованных граждан в тех случаях, когда преступник пользуется известностью. Женщины во множестве сбежались на казнь Дамьена* и последними отвернули взоры от ужасающей сцены.

Мелкий люд часто ведет беседу о палаче, говорит, что у него всегда готовый стол для бедных кавалеров ордена Сен-Луи*; простонародье ходит к нему за салом повешенного, так как палач по своему усмотрению продает трупы хирургам или же оставляет их себе; у нас преступник не может сам себя *запродать*, как это делается в Лондоне.

Ничто не отличает палача от прочих граждан, даже когда он находится при исполнении своих страшных обязанностей; это очень плохо. Он завит, напудрен, в галунах; у него белые шелковые чулки и башмаки с пряжками; в таком виде он всходит на роковые подмости. Это кажется мне возмутительным; я считаю, что он должен был бы в эти ужасные минуты нести на себе печать закона, карающего смертью.

Неужели никогда не научатся говорить воображению, и раз идет дело о том, чтобы запугать народ,—неужели никогда не догадаются прибегнуть к красноречию внешних приемов? Наружность этого человека должна бы соответствовать его должности.



Происхождение живописи
С гравюры Уврие по рисунку Шено

Он несомненно является последним из всех граждан; только *его* ремесло действительно позорно. Но у него есть, между прочим, слуги, исполняющие за сто экю то, что он сам исполняет за шесть тысяч. И у него еще находятся слуги!

Нужно было бы серьезно поразмыслить об этом исполнителе наших уголовных законов, чтобы решить, кому именно он служит. Но такая задача привела бы нас к рассуждениям, чуждым существу этой книги.

Палач выдает своих дочерей, если они у него имеются, замуж за провинциальных палачей. В своем кругу они называют друг друга (по примеру епископов): мсьё Парижский, мсьё Шартрский, мсьё Орлеанский и т. п. *Шарло* и *Берже** поставляют простонародью неисчерпаемые темы для бесед. Иной сапожник знает историю повешенных и палачей не хуже, чем какой-нибудь светский человек—историю европейских монархов и их министров.

280. Гревская площадь

Сюда попадали все, кто мнил себя безнаказанным (нельзя себе даже представить, как они обманывались на этот счет); тут побывали Картуш*, и Равайак* и Ниве, и Дамьен, и еще более низкий преступник—Дерю*. Этот последний проявил здесь холодное бесстрашие и спокойную храбрость лицемера. Я видел и слышал его в Шатле, потому что он был в той же тюрьме, что и автор *Философии природы**, которого, я навещал.

У Дерю на губах только и были священные, божественные слова. По обдуманности же и по сложности своих злодеяний он представлял собою все самое страшное, что только может таить в себе черная и непроницаемая бездна человеческого сердца, подпавшего под власть разврата.

Эта площадь все еще узка, хотя она только что была расширена. Казни должны бы совершаться в другом месте, а то теперь толпа рантье, одолживших свои деньги королю, поневоле бывает вынуждена смотреть на возмущающие душу приготовления к казни, а это отвратительно и недостойно величия законов. Но все, что касается нашего уголовного законодательства, пребывает еще в таком плачевном хаосе, что предстоит осуществить еще много других реформ, прежде чем можно будет позаботиться о придании казням такой окраски, которая отличала бы их от убийства или от акта дикой мести.

Клал ли когда-нибудь убийца, действующий в глуши лесов, свою жертву на крест, чтобы потом раздробить ей кости одиннадцатью страшными ударами? Привязывал ли он ее когда-нибудь к колесу в присутствии духовника, который не имеет возможности развязать обреченного и только наставляет его терпению? Согласитесь, что правосудие страшнее самого преступления! Убийца, поразив свою жертву, боится взглянуть ей в лицо, бежит от нее в раскаянии, а правосудие в продолжение целых суток равнодушно внимает отчаянным крикам несчастного, окруженного несметной толпой.

Простонародье упрекают в том, что оно толпами сбегается на это ужасное зрелище, но когда дело идет о каком-нибудь исключительном злодеянии, о каком-нибудь знаменитом преступнике, то и высший свет устремляется туда, как самая подлая чернь.

Наши женщины, со столь чувствительной душой и с такими деликатными нервами, что им делается дурно при виде паука, присутствовали при казни Дамьена и, повторяю, последними отвратили взоры от самой ужасной и самой отвратительной пытки, какую только могло выдумать правосудие, чтобы мстить за королей.

Для участия в возмутительных истязаниях, которые привлекли такое множество любопытных и любителей, были призваны палачи всей округи.

Автор одного новейшего труда об азартных играх уверяет, что в день этой казни на той же площади *вели азартную игру; игра на деньги* в ожидании кипящего масла, расплавленного свинца, раскаленных докрасна клещей и четверки лошадей, которые должны были четвертовать убийцу! А мы-то считаем себя цивилизованными, культурными! И мы смеем еще говорить о наших законах, о наших правах, между тем как, не будь возмущенных возгласов писателей, мы и не выучились бы краснеть за такие позорные деяния! Как нам необходимы еще уроки чувствительности и разума!

Обреченный,—так сильна власть обычаев,—никогда не обращается с речью к собравшимся, как часто делается в Англии,—у нас это ему не разрешили бы. Когда генерал Лалли* сделал

знак, что желает обратиться к народу, ему заткнули рот. Таким образом, наша система управления обнаруживается во всем и никому не позволяет возвысить голоса даже в последний, предсмертный час.

Газетчики с медными бляхами на груди выкрикивают иногда смертные приговоры так громко, что слова доходят до ушей самого осужденного; непростительная жестокость! При этом они особенно напевают на слова *смертный приговор смертоубийце*. Это отвратительное словечко—их изобретение, но оно поражает слух резче, чем слово *убийца*, и простонародье всегда говорит и будет говорить *смертоубийца**,—это кажется ему внушительней.

Несколько лет тому назад некий вдохновитель убийства своего отца был казнен на площади Дофин вместе со своим сообщником, исполнителем убийства. Отцеубийца, вовлекший в преступление человека слабого и соблазнивший его самой ничтожной наградой, вел себя на эшафоте так надменно, так твердо, не проявляя ни малейшего признака раскаяния (в то время как его товарищ был покорен своей участи и молился), что при первом крике, который он испустил под ударом железного бруса, раздался единодушный взрыв рукоплесканий.

Мне кажется, что этот случай—возможно единственный—должен быть упомянут при зарисовке нравов нашей столицы.

Голов больше не рубят, а это говорит о том, что вельможи держатся в известных рамках и не совершают преступлений. Сабля, которая рубила благородные головы, ржавеет в ножнах,

и палач забыл эту отрасль своего ремесла. Теперь он только вешает и колесует. И ослабевшая рука промахнулась во время казни генерала Лалли.

Каждый год приносит новое поколение воров и злодеев, носящих свой определенный характер. В прошлом году были отравители, известные под именем *усыпителей*, которые примешивали к табаку и напиткам усыпляющий опасный и смертельный яд; в этом году—грабители церквей, святотатцы, которые по ночам взламывают церковные двери, обкрадывают ризницы, уносят дароносицы, чаши, кресты, подсвечники и пр. По дороге во Фландрию и в окрестностях Парижа таким образом ограблено около сорока церквей.

Говорят, что один святотатец, украв дароносицу, послал находившиеся в ней дары местному священнику в письме, запечатанном этими же дарами в качестве облатки.

Слухи о ночных казнях, производимых при свете факелов, подвергались сомнению, но, повидимому, они вполне правдоподобны. Непостижимо, как может закон допускать тайное убийство. Ничто не может сравниться с чудовищностью такого образа действий. Смертная казнь может быть рассматриваема только как *пример*, отнюдь не как *наказание*; какой же смысл приканчивать человека втихомолку, впотьмах, втайне от спящих граждан? Если вы его спасаете от гласности, то сохраните ему и жизнь. Ведь только во имя общества он и должен ее потерять, и ваш приговор превратится в преступление, если общество не будет

знать ни проступка, ни понесенного за него наказания.

Англичане и швейцарцы обладают уголовным законодательством, с которым согласны и справедливость, и разум, и человечность, а нам еще приходится краснеть за свои жалкие и варварские законы; мы еще не научились защищать нашу свободу, честь и жизнь от вторжения слепой власти и обдуманной подлости. Закон пребывает в нерешительности перед смелой преступностью и робкой невиновностью. Он едва их различает, и в то время, как следствие производится в тени, вдали от очей и слуха граждан,—казнь устрашает все взоры. При виде ужасных орудий пытки, воздвигнутых на многолюдной площади, толпе приходится спрашивать: кто именно преступник и в чем его преступление?

281. Недоповешенная служанка

Лет семнадцать тому назад молодая крестьянка, довольно приятной внешности, поступила в услужение к одному человеку, страдавшему всеми пороками, свойственными испорченным нравам большого города.

Хозяин, прельщенный ее прелестями, испробовал все средства, чтобы соблазнить ее. Она была честной девушкой и устояла. Ее благоразумие только усилило страсть хозяина, и он, не будучи в состоянии подчинить служанку своим желанием, придумал самую черную и отвратительную месть.

Он тайком положил в шкатулку, куда девушка клала свои вещи, несколько принадле-

жащих ему предметов, а потом принялся кричать, что его обворовали, позвал полицейского и составил протокол. Когда шкатулку открыли, то нашли в ней все вещи, о которых он говорил.

У арестованной девушки не было в защиту ничего, кроме слез, и на допросе она твердила только, что невиновна. Нельзя строго судить судопроизводство, если принять во внимание, что судьи никак не подозревали подлости обвинителя и что они неуклонно исполняли закон; а закон исключительно строг. Эту строгость следовало бы устранить из нашего уголовного кодекса и заменить ее более простым наказанием; тогда меньше краж оставалось бы безнаказанными.

Ни в чем неповинная девушка была приговорена к повешению. Ее повесили неудачно, так как это был пробный опыт сына палача. Один хирург приобрел ее труп и велел отнести его к себе. Но вечером, когда он уже готов был вскрыть тело скальпелем, он почувствовал, что оно еще теплое. Стальное острие выпало из рук хирурга, и он уложил в постель ту, которую только что собирался вскрыть.

Его старания вернуть ее к жизни не остались бесплодными. Одновременно он послал за священником, в скромности и опытности которого был уверен, чтобы посоветоваться с ним об этом странном случае, а также и для того, чтобы иметь свидетеля.

Когда несчастная девушка открыла глаза, ей представилось, что она уже в другом мире, и, видя перед собой священника, у которого

была большая голова и крупные черты лица (я его знал и от него-то все это и слышал),—она, дрожа всем телом, сложила руки и воскликнула: *Отец небесный! Ты знаешь, что я несиновна. Смилуйся надо мной!* Она продолжала взывать к священнику, думая, что видит перед собой самого бога. Пришлось долго убеждать ее в том, что она не умерла, до такой степени мысль о казни и смерти потрясла ее воображение! Нельзя себе представить ничего трогательнее и выразительнее этого вопля невинной души, обращенного к тому, кого она считала верховным судьей. Если бы даже она не была так красива, все равно, это единственное в своем роде зрелище должно было бы поразить чувствительного и наблюдательного человека. Какая картина для художника! Какая тема для философа! Какой урок для юриста!

Дело не было пересмотрено, как об этом сообщалось в *Журналь де Пари*. Служанка оправилась от потрясения, а вернувшись к жизни и признав простого смертного в том, кого она боготворила и кто научил ее направлять все молитвы к единому существу, достойному поклонения,—в ту же ночь ушла из дома хирурга; а он вдвойне беспокоился: и за ее участь и за свою. Она скрылась в одной дальней деревне, боясь встретить судей или исполнителей их решения, боясь виселицы, мысль о которой ее неотступно преследовала.

Гнусный клеветник остался безнаказанным, потому что его преступление, очевидное для окружающих,—не являлось таковым в глазах судей и закона.

Народ узнал о воскресении этой девушки и осыпал проклятиями злодея, виновника гнусного преступления. Но в таком громадном городе этот случай был скоро забыт, и отвратительное чудовище, возможно, до сих пор еще живо. Во всяком случае, человек этот не понес заслуженной кары.

Интересно было бы написать книгу о всех невинно осужденных, чтобы выяснить причины судебных ошибок и избежать их в будущем. Не найдется ли, наконец, чиновник, который занялся бы этим важным вопросом?

282. Бастилия

Государственная тюрьма! Этим все сказано. *Этот замок,—сказал Сен-Фуа*,—не будучи крепостью, является самым страшным во всей Европе.*

Кому известно, что делалось в Бастилии, что она заключает, что заключала в себе? Но как писать историю Людовика XIII, Людовика XIV, Людовика XV, не зная истории Бастилии? Все самое интересное, самое любопытное, самое странное произошло в ее стенах. Таким образом, самая интересная часть нашей истории останется для нас навсегда скрытой: ничто не просачивается из этой бездны, как не просачивается из безмолвной могилы.

Генрих IV хранил в Бастилии королевскую казну. Людовик XV велел запрятать туда Энциклопедический словарь, который и гниет там по сие время. Герцог Гиз, властитель Парижа*

в 1588 году, был также хозяином Бастилии и Арсенала. Он назначил комендантом Бастилии Бюсси Леклера*, парламентского стряпчего. Бюсси Леклер, окружив войсками парламент, отказавшийся разрешить французам от присяги в верности и послушании, арестовал всех председателей и советников в судейских мантиях и четырехугольных шапочках и посадил их в Бастилию на хлеб и на воду.

О, толстые стены Бастилии, принявшие в течение трех последних царствований вздохи и стенания стольких жертв! Если бы вы могли говорить, как опровергли бы ваши страшные и правдивые повествования робкий и лживый язык истории!

Рядом с Бастилией расположен Арсенал, в котором находятся пороховые склады,— соседство столь же страшное, как и сама тюрьма.

В Венсенской башне* тоже содержатся государственные преступники, которые, по видимому, и кончат там свои печальные дни. Кто мог бы точно подсчитать указы об аресте, изданные в течение трех последних царствований!

Существует история Бастилии в пяти томах, в которых можно найти несколько частных курьезных анекдотов, но ровно ничего из того, что так хотелось бы знать, ничего такого, что могло бы пролить некоторый свет на те или иные государственные тайны, покрытые непроницаемой завесой. Если верить историку, то во времена некоего Аржансона* там обращались с неслыханной строгостью и жестокостью с заключенными, уже и без того достаточно наказанными потерей свободы.

Нынешнее правительство, значительно более мягкое и гуманное, чем оно было когда-либо со времен Генриха IV, без сомнения сильно смягчило эту жестокость, и теперь в Бастилии уже не прибегают к чудовищным и совершенно ненужным наказаниям.

Когда кто-нибудь из заключенных умирает, его хоронят в три часа ночи в Сен-Поль. Вместо священников гроб несут тюремщики, а при погребении присутствуют офицеры. Итак, тела избавляются от угнетающей их страшной власти, только когда их приносят на кладбище.

Как только в Париже заходит речь о Бастилии, тотчас же начинаются рассказы о *Железной маске**. Каждый рассказывает эту историю по-своему, и к фантастическому рассказу примешивают собственные, не менее фантастические соображения.

Впрочем, народ больше боится Шатле, чем Бастилии. Он не боится ее потому, что она ему чужда; у него нет данных попасть в эту тюрьму. В силу этого он не сочувствует тем, кого там держат, и в большинстве случаев не знает даже их имен. Он не выражает никакой признательности благородным защитникам его интересов. Парижане предпочитают купить себе хлеба, чем слушать речи о том, что они имеют право на лучшую жизнь. В прежние времена в Бастилию сажали писателей за самые ничтожные мелочи, но потом убедились в том, что как сочинитель, так и книга и ее идеи приобретают от этого только большую известность, и предоставили вчерашним идеям быть стертыми идеями следующего дня; поняли и то, что когда

располагаешь силой, то можно не беспокоиться о политических и моральных идеях, непостоянных и изменчивых по самой своей природе.

Стонет ли еще там или уже умолк знаменитый Ленге? Этого никто не знает.

Последствия страшны, причины неизвестны (Вольтер).

283. Анекдот

При вступлении на трон Людовика XVI новые, гуманные министры составили милостивый и справедливый указ о пересмотре списков заключенных в Бастилии и об освобождении многих из них.

В числе узников находился один старик, в продолжение сорока семи лет томившийся в четырех холодных и толстых стенах. Закаленный несчастьями, укрепляющими человека в тех случаях, когда они его не убивают,—он переносил тоску и ужасы тюрьмы с мужественным и непоколебимым терпением. Его редкие, седые волосы стали жесткими, как железо, а тело, заточенное в продолжение столь долгого времени в каменном гробу, приобрело такую же плотность и твердость.

Но вот низкая дверь его могилы поворачивается на громадных петлях, отворяется, но не наполовину, как обычно, а настежь,—и незнакомый голос говорит ему, что он свободен и может уходить.

Узнику кажется, что это сон. Он колеблется, потом приподнимается, ступает дрожащими ногами и удивляется, что прошел такое большое пространство. Тюремная лестница, приемная,

все кажется ему обширным, громадным, почти бесконечным. Он останавливается, чувствуя себя потерянным, заблудившимся. Глаза его с трудом переносят дневной свет; он смотрит на небо, как на нечто новое; его взгляд неподвижен; он не может плакать; он поражен возможностью передвигаться, ноги немеют, как и его язык. Он минует наконец страшную калитку.

Когда он почувствовал, что катится в повозке, которая должна привезти его к его старому жилищу, он стал испускать нечленораздельные крики; он не в силах был выносить это необычайное для него движение; пришлось остановиться и высадить его.

Он называет улицу, в которой жил когда-то, и, опираясь на милосердную руку, идет туда; дома, в котором он жил, уже нет; его заменило общественное здание. Он не узнает ни квартала, ни города, ни предметов, которые когда-то там видел. Дома его соседей, запечатлевшиеся в его памяти, приняли другие формы. Тщетно взоры его вопрошают встречных, — ни один из них ничего не говорит его памяти. Он останавливается в ужасе и испускает глубокий вздох; как бы ни было велико население столицы, для него все эти люди мертвы. Никто его не знает, и он не знает никого. Он плачет и жалеет о своей камере.

При слове *Бастилия*, которую он называет своим убежищем, при виде его одежды, говорящей о прошлом веке, народ окружает его.

Любопытство и жалость влекут к нему; старики заводят с ним разговор, но они не имеют

никакого понятия о событиях, которые он вспоминает. К нему приводят, наконец, бывшего привратника его дома—слабого старика с подгибающимися ногами, который последние пятнадцать лет просидел в своей каморке и имел силы только тянуть шнурок от засова входной двери. Он не узнает хозяина, которому когда-то служил, но сообщает ему, что его жена скончалась уже тридцать лет тому назад от горя и нищеты, что его дети отправились в неведомые страны, что из всех его друзей никого не осталось в живых. Все это он рассказывает с безучастным видом, как говорят о давно минувших и почти бесследно исчезнувших из памяти событиях.

Несчастный стонет, но стонет один; многочисленная толпа, состоящая из чужих ему лиц, дает ему почувствовать весь ужас его несчастья сильнее, чем страшное одиночество, в котором он жил до сих пор.

Удрученный страданием, он идет к министру, который даровал ему свободу, столь тяготящую его теперь. Он кланяется и говорит: «Прикажите отвести меня обратно в тюрьму, из которой вы меня извлекли. Легко ли пережить своих родных, своих друзей, все свое поколение? Кто может, узнав о кончине всех близких, не пожелать смерти? Все эти утраты, которые поражают других людей постепенно, одна за другой,—потрясли меня сразу. Удаленный от общества, я жил наедине с собою,—здесь я не могу жить ни наедине с собою, ни с новыми людьми, для которых мое отчаяние—только сон. Не смерть страшна, страшно умереть последним».

Министр был растроган. К несчастному приставили старого слугу, который еще мог говорить ему о его жене и детях. У него не было другого утешения, кроме этих бесед. Не желая иметь ничего общего с новым поколением, появления на свет которого он не видел,—он построил себе в городе убежище, не менее уединенное, чем камера, в которой он жил в течение почти полувека; и горечь от сознания, что он никогда уже не встретит человека, который сказал бы ему: *Мы с вами когда-то виделись*,—не замедлила положить конец его дням.

284. Места заключения

Помимо Бастилии и Венсенского замка, предназначенных для государственных преступников, министр может собственной властью отправить вас еще в Бисетр и Шарантон*. Шарантон предназначен для умалишенных и маниаков. Но под этим названием отправляют туда и некоторых государственных преступников; тюремщиками там являются монахи ордена Шарите.

Молодых кутил по жалобе семьи сажают в Сен-Лазар; женщин же (а их тоже сажают) отправляют в Мадлен*, в Сент-Пелажи* и в Сальпетриер*.

Аресты вызываются иногда важными обстоятельствами, но было бы желательно, чтобы арест граждан не зависел от воли одного чиновника и чтобы вопрос о законности подобной меры разбирался судом.

Некоторые отступления от формальностей иногда бывают полезны, так как существует целый ряд преступлений, которых наши медлительные судьи не в состоянии ни расследовать, ни пресечь, ни наказать. Смелый или ловкий преступник всегда одержит верх в лабиринте законов. Законы полицейские, менее сложные, держат его под более внимательным надзором. В данном случае отступление от буквы закона идет рука-об-руку с пользой, — согласен с этим. Многие насилия и низкие, постыдные проступки бывают подавлены бдительной и решительной властью полиции которой, тем не менее, следовало бы составить соответствующий кодекс и представить его на рассмотрение просвещенных граждан.

Полицейские инспекторы, неопытные в нашем законодательстве, пользуются большим доверием у начальника полиции, особенно когда дело идет об исключительных и запутанных случаях. Но их донесения могут быть ошибочными, преувеличенными, пристрастными. А между тем первые впечатления остаются в сознании чиновника, который, из-за обширности своих обязанностей, не может уделять каждому отдельному случаю много внимания.

Полицейские инспекторы, которые очень часто прибегают к арестам (так как это в их интересах), должны были бы только расследовать преступление и добиваться признаний, а между тем, за отсутствием тщательного следствия, инспекторы превращаются в судей, поскольку на основании их донесений устанавливается факт преступления и назначается то или иное



Торговка печеными яблоками

С гравюры неизвестного художника по рисунку Греза

наказание. Инспекторы чаще всего обрушиваются на ту часть населения, которая лишена и голоса, и защиты, и прав; они заинтересованы в том, чтобы находить виновных, а потому не трудно себе представить, насколько их ошибки и даже само их усердие, не говоря уже о других побуждениях, могут помешать проявлению строгой справедливости. Недоброжелательство и поспешность чреваты опасными последствиями.

В провинции всего лишь тридцать лет назад бывали случаи, что епископы приказывали арестовать дочерей протестантов, чтобы заключить их в монастырь и удалить от влияния родителей. В столице такие случаи всегда были очень редки.

285. Подследственные отделения

Это новый вид тюрем; они основаны с целью быстро очистить улицы и дороги от нищих, чтобы не было видно вопиющей нищеты рядом с наглой роскошью.

Нищих бесчеловечно сажают в темное и зловонное помещение и предоставляют самим себе. От бездействия, дурного питания, заброшенности и скученности они постепенно, один за другим, покидают этот мир.

Подследственные отделения, какими бы благими намерениями их ни оправдывали, противоречат одновременно и простейшей справедливости, и гражданским законам, и здоровой политике, и религии, и чувству человечности. Нужна чрезвычайная убогость средств и изобретатель-

ности, чтобы приговаривать к медленной смерти столько несчастных, вместо того чтобы, лишив их свободы, так или иначе заставить их работать. Никакая земная власть не имеет права держать в заключении нищего, если она не предоставляет ему тотчас же какого-либо занятия, которое, однако, нисколько не угнетало бы заключенного.

Эти предосудительные и ничем не оправдаваемые притеснения огорчают даже нечувствительные души, и можно было бы привести в связи с этим факты, способные поразить самые равнодушные сердца. Но с нас достаточно вскрыть эти ужасы и указать на них справедливым и могущественным людям. И вполне возможно, что они прекратятся при нашем правительстве, хоть и легкомысленном, но все же добром и человечном. Оно поймет, что нельзя так относиться к беднякам, не совершившим никакого преступления, и что не стоило вырывать их из рук добровольной или вынужденной праздности для того только, чтобы обречь их на такую же праздность, но превращенную в пытку, вслед за которой приходят отчаяние и смерть.

Когда министр дает тайный приказ или устное распоряжение арестовать кого-нибудь в силу каких-либо ему одному известных причин, арестованного отсылают не в Бастилию, а везут в Шатле, где жертва и сидит в качестве *подследственного*. Это совершенно новое выражение, созданное применительно к новому роду притеснений. Иностранцев необходимо обучить богатству нашего языка! Итак, слово *подслед-*

ственный имеет несколько значений, что и требовалось доказать.

Приказ об аресте хватает и переносит человека из его дома в застенок, предоставляя ему гнить там до конца жизни. Но приказ бессилен лишить человека его имущества. Все принадлежащие заключенному вещи переходят к его прямым наследникам; таким образом, деньги у нас более священны, чем личная свобода.

286. Жизнь сановника

Министр встает с постели. Его приемная уже полна просителей. Он появляется в дверях; тысячи прошений передаются в руки его секретарей, которые бесстрастно и неподвижно стоят возле него. Он выходит из дому. Просители ждут его у подъезда и сопровождают до кареты. Он обедает; справа и слева к нему обращаются с просьбами о родственниках и друзьях, а во время десерта ему что-то шепчут на ухо женщины. Он возвращается в свой кабинет; на конторке он находит сотни писем, которые должен прочесть; помимо того его мучают еще частные аудиенции.

«Как может он так жить?»—спросят иные. Как?—Он рассеянно слушает то, что ему говорят, и забывает все, что было сказано! Отвечать на письма и просьбы да и вообще всю свою огромную работу он доверяет секретарям, а сам только подписывает. В этом заключаются почти все его обязанности. Но он оставляет за собою несколько придворных интриг, которые обду-

мывает с большим искусством и с большой настойчивостью ведет к желанной развязке. Всю свою жизнь он думает не о служебном долге, а о том, как бы удержаться на своей должности.

Все важные чиновники отличаются ледяной серьезностью. Разговор их—воплощенная сухость. Они объясняются только односложно. Но все это делается только для публики. В частной жизни, когда им нечего бояться себя скомпрометировать, они забывают свою спесь, которая помешала бы их удовольствиям, и тут можно не надолго увидеть важного сановника, который перестал быть жертвой собственного тщеславия.

Лакей министра имеет иногда до сорока тысяч ливров годового дохода. У него у самого есть лакей, у которого в свою очередь имеется помощник; на обязанности этого младшего слуги и лежит чистить платье и приводить в порядок парик вельможи, еще горячий от щипцов. Старший лакей получает парик уже из четвертых рук и возлагает его на министерскую голову, в которой скрыты великие судьбы государства. Покончив с этой священной обязанностью, лакей в свою очередь отдает себя в распоряжение своих слуг, которые его и одевают. Он зовет их громким голосом, делает им выговоры, потом принимает знакомых, оказывает покровительство и, наконец, дает приказание запрягать лошадей. Лакей лакея не имеет своей челяди, но и ему живет-ся недурно.

В то время как слуга короля с успехом заменяет его в Версале, слуга министра делает то

же в Париже и обещает своим знакомым всякие блага, ибо находится у самого источника милостей.

Всемогущество министра особенно наглядно видно в одиннадцать часов утра. Он дает тогда аудиенцию просителям, и его приемная в это время бывает переполнена. Одним быстрым взглядом он может облагодетельствовать человека. Счастливы те, на ком этот взгляд остановится! Их сердца бьются надеждой и радостью. Всемогущий человек приглашает этих прохвостов с ним отобедать; они униженно кланяются, и их лица краснеют от удовольствия. В час к министру является некий человек, приглашает его в кабинет и лишает его *портфеля*. Сановник сразу становится ничем. Он шопотом дает распоряжение запрячь пару лошадей в самую скромную свою карету и покидает Версаль, так и не увидев лица изгоняющего его государя, и отправляется обедать в Париж, наедине со своим горем, вдали от блестящей толпы, награждавшей его поклонами и лестью. Узнав эту новость, толпа расходится, все едут обедать в другое место, и каждый говорит про себя: *Завтра я поеду к его преемнику с визитом и поздравлением.*

Каким образом часть царственной власти, которую держал в своих руках этот могущественный человек, внезапно из них ускользает? Это похоже на сон, на сказку. Не являются ли все важные сановники картонными плясунами, как сказал Дидро? Подрежьте нитку, которая приводит плясуна в движение, и он замрет.

Что же делает плясун, предоставленный самому себе? Он старается в свою очередь свалить

того, кто был причиной его падения; он преда-ется новым мечтам о славе, он не может примириться со своим ничтожеством. Он ненавидит спокойствие и праздность, которые составляют теперь его удел. Все это доказывает, насколько упоительна возможность править людской толпой, внушать ей то страх, то надежду, получать в качестве могущественного человека корыстные похвалы, знаки уважения, льстивые поклоны.

Какова, например, жизнь начальника полиции? Ни минуты он не принадлежит самому себе; он вынужден все время наказывать; он боится сделать малейшую поблажку, так как не уверен, что ему не придется в этом раскаиваться. Ему необходимо быть строгим и идти наперекор велениям сердца; ни одно преступление не проходит без того, чтобы ему подробно не доложили об этом позорном и жестоком проступке. С ним говорят только о пороках и порочных людях. Ему ежеминутно сообщают то об *убийстве*, то о *самоубийстве* или *насилии*. Ни один несчастный случай не проходит без того, чтобы ему не надо было принимать каких-нибудь мер, и притом самых спешных; в его распоряжении всего какая-нибудь минута на обдумывание образа действий; ему приходится одинаково опасаться и злоупотребить предоставленной ему властью и недостаточно воспользоваться ею. Народные волнения, нелепые разговоры, охрана театров, фальшивые тревоги — все его касается.

Стоит ему лечь отдохнуть, как известие о пожаре заставляет его вскочить с постели.

Нет пожара? Да, но кучка молодых дворян производит на улице невообразимый шум и не подчиняется распоряжению квартального. Приходится будить начальника, чтобы рассудить этих ветренников. Двор, город, провинция обращаются к нему со множеством вопросов; ему нужно на все ответить, нужно выследить разбойника, неизвестного убийцу, совершившего преступление, так как отвечать будет он, начальник полиции, если не сумеет скоро передать его в руки правосудия; количество времени, которое потратят полицейские на поимку убийцы, тоже будет учтено; устроить все так, чтобы между преступлением и арестом виновного прошло как можно меньше времени, является делом чести начальника полиции. Какие страшные обязанности! Какая тяжелая жизнь! И этого места добиваются!

В наши дни, — говорил Дюкло, — ведут интриги только из-за денег: подлинные честолюбцы становятся редкостью. Теперь добиваются таких мест, на которых и не рассчитывают долго удержаться; но богатство, которое они доставляют, утешает за их потерю. Наши предки жаждали только славы; если хотите, их век не был просвещенным веком, но он был зато веком чести.*

Один современный нам царедворец сказал:

Надо подавать министрам ночной горшок, пока они занимают свой высокий пост, и выливать его им на голову, как только они этот пост теряют.*

Добавим, что царедворцы так и поступают.

287. Проповедники

В Париже одни только проповедники пользуются правом обращаться с речью к народу. Нужно пожелать, чтобы они осознали всю важность этого права. Некоторые из них, обогатившись светом философии, высказали полезные истины. Вместо того чтобы глупо высмеивать такое благородное занятие, не лучше ли было бы почтить эту ценную привилегию наложением на проповедника известных обязанностей, обязанностей человека и гражданина? Для проповедников настал удобный случай проявить себя именно таковыми и заслужить этим всеобщее уважение.

Являясь под священным знаменем религии общественными учителями морали, они действительно могли бы силой своего красноречия бороться с господствующими злоупотреблениями и, развивая евангельское учение, распространять божественную заповедь милосердия, со всех сторон нападаая на наиболее яркие примеры взяточничества и притеснения.

Все преступления, начиная с самого крупного и кончая самым незначительным, происходят от скупости и жестокосердия. Проповедники могли бы подвергнуть осуждению все политические злодеяния, причиняющие вред народу. Ничто не могло бы остановить этот крик души. Простая, голая правда обладает сокрушающей силой; к тому же правительство никогда не осмеливалось прямо поражать святую истину.

Исходя из этой точки зрения, проповедники, не оскорбляя правительства, могли бы принести

ему пользу. Пусть они впитывают здравые, всеми признанные идеи. Все идеи, полезные человечеству, находятся в Евангелии, которое проповедует только любовь и милосердие; философия наших дней является лишь ответвлением христианства. Некоторые проповедники, повторяю, уже выполнили этот благородный долг в присутствии короля. А как прекрасна обязанность—доводить до слуха монарха стоны, которые сам он не в состоянии услышать, и те высокие идеи, от которых пытаются его оградить!

Я высоко ценю церковное красноречие, и мне хотелось бы быть одним из тех проповедников, которые способны приносить утешение в горестях, царящих повсюду, говорить народу языком апостолов, распространять слово божие в том виде, как оно запечатлено в священном писании! Только в этот момент проявляется во всем своем блеске достоинство священнослужителя. Убеждать, привлекать, утешать, развешивать все сокровища самой высокой морали, наиболее способной преподать людям любовь к миру и к милосердию,—какое это почтенное поприще!

Что же касается аббатов, так называемых *остроумцев*, которые, гоняясь за бенефициями, проповедуют напыщенными фразами и по возможности стараются угодить Двору, которые только и думают, как бы составить себе состояние, и выхватывают из сокровищницы чужих мыслей кое-какие обрывки, кое-какие ораторские приемы, но ничего не дают страждущей толпе,—что же касается всех этих *овержимых*

в рясе, изрыгающих плоские грубости против философов, не умея ни читать, ни понимать, ни ценить; которые пренебрегают здравым смыслом и превращают талант проповедника в талант клеветника,—то я могу только сожалеть, что они оскверняют такой высокий сан и не чувствуют своей действительной силы и того влияния, какое они могли бы иметь на умы, если бы научились говорить людям о их нуждах.

Говорят, что один бывший иезуит, по имени Борегар*, напускавший на себя ораторский пыл, думал, что достиг высшего совершенства в своем искусстве, когда неистово и нелепо выкрикивал: *Нас упрекают в нетерпимости! О! Разве не знают, что и милосердие способно на яростные порывы и что усердию не чужда мстительность?* В другой раз он начал свою проповедь так: *Приблизьтесь, друзья! Опустите завесу, закройте алтарь!.. Я поведу речь о философах!..* Как это забавно!

Иной проповедник говорит в одном из предместьев Парижа или в какой-нибудь деревушке сочиненную им речь против роскоши: *Братья!* — восклицает он, обращаясь к беднякам. — *Роскошь вашего стола, изысканная тонкость ваших блюд, возбуждающая чувства, притупленные и уставшие от наслаждений...* Все это он говорит жалким беднякам, которые по воскресеньям лакомятся только хлебом, салом и капустой, сваренной в соленой воде!

Зачем же он это говорит? Это просто-напросто проба проповеди, которую он должен произнести на следующий день в церкви Сен-Рок, в богатом финансовом квартале Парижа. Народ

спит за его проповедями, потому что не способен воспринимать его красноречие и его познания. Господин Улье де-Безансон говорит, что видел в 1739 году в стокгольмской церкви св. Клары церковного сторожа, который ходил с длинной тростью в руках и хлопал ею по головам тех, кто засыпал во время проповеди. Если бы такой же способ применили во Франции, то рука служителя никогда не оставалась бы праздною и пришлось бы дать ему в подмогу несколько человек.

288. Англофоб

В обществе можно встретить иногда людей, злословящих Францию; люди же, злословящие другие нации, а в особенности англичан*, изобилуют повсюду, причем никакого основания для этого они, разумеется, не имеют. Было бы очень полезно, если бы среди наций существовало известное соревнование, если бы они взаимно укоряли друг друга в ошибках, заблуждениях и глупостях. Пусть бы они противопоставляли друг другу свои искусства, пусть бы, одним словом, друг за другом следили. Тогда они могли бы лучше пользоваться своими открытиями, могли бы обмениваться своими достижениями.

Благодаря своему положению, своей промышленности и нравам населения Франция имеет, повидимому, большое преимущество перед другими народами, и поношения, которым она подвергается, являются поношениями влюбленного, которому хочется видеть любимую во

всей ее красоте, в том цветущем виде, в каком она могла бы быть.

Двадцать миллионов жителей, сто пятьдесят миллионов квадратных десятин земли, или около этого,—какое мощное государство! Государство, которому сама природа в изобилии предлагает все необходимое для жизни и благоденствия! Не ей ли должно принадлежать преимущество перед всеми государствами Европы? Природа наградила ее первенством, а ее положение предопределило ее могущество. Почему же граждане этого государства не хотят, чтобы его благоденствие соответствовало его величине? Почему у английского народа есть гордость, энергия, средства, непоколебимое и спокойное мужество, которые дают ему возможность устоять в гражданской войне, устоять в войне с тремя соединенными державами и успешно действовать против собственных крамольных партий? О, кому не ясно, что нрав англичан создан их политическим устройством и что они своим умом, своей твердостью, просвещенностью и законами заслужили того, чтобы наложить цепи на тиранию и повелевать океаном!

289. Французская академия

Избегнет ли Французская академия, столь славящаяся в пределах наших еловых застав и не существующая за их пределами,—избегнет ли нашей кисти? Нет, так как она-то именно и является предметом пересуд этого большого города Парижа.

Ришельё, руководимый своим инстинктом, не мог создать учреждения, которое не носило бы деспотический характер*. Французская академия—учреждение несомненно монархическое. В столицу были призваны писатели так же точно, как и аристократы, и с тою же самой целью, то есть чтобы всех их иметь под рукой. Легче держать людей в почтении на близком расстоянии, чем в отдалении.

Писателю, желающему сделаться членом Академии, еще задолго до избрания приходится смириться. Его перо смягчается, как только он подумает о том, что в будущем ему понадобится одобрение Двора, который сможет закрыть ему двери, невзирая на единодушный выбор всей Академии. Писатель боится не понаравиться и всячески стремится избежать этой неприятности. Правда в его извращенном изображении теряет свой подлинный облик.

Некоторые льстят даже из честолюбия и предпочитают милость Двора общественному уважению.

Французская академия пользуется и может пользоваться уважением только в Париже. Эпиграммы, которые на нее сыплются со всех сторон, спасают ее от забвения.

Исключительный вкус, который она себе приписывает, дает повод к справедливым насмешкам. Всем людям дано право судить об искусствах, и все сознают это, а потому всегда будет казаться странным, что некая горсточка людей осмеливается выдавать свои взгляды на искусства за самые справедливые и верные, а свой ум— за самый совершенный. Личный

вкус этих людей не может, конечно, выразить общественного вкуса.

Образ действий подобных учреждений неприемлем еще и потому, что склонность к подражанию доказывает связанность и рабское подчинение и что ни один писатель, считающий себя вправе свободно выражать свои мысли, не согласится творить по готовым образцам.

И наконец, странная привилегия объявлять во всеуслышание, что такой-то человек является одним из *сорока* самых умных людей, тогда как среди жителей города изобилуют выдающиеся люди, постоянно вызывает веселый смех. Притязания на звание академика осуждаются строже, чем какие-либо другие претензии, так как никто не считает себя глупее вновь принятого члена, который еще накануне был простым смертным.

Далее, Академия устанавливает почти что оскорбительную разницу между писателями. Получается, что они как бы не имеют никакого значения, если не занимают академического кресла. Это вносит настоящий разрыв между людьми, ценящими равенство, так как все они прилагают одинаковые усилия мысли, у них у всех один и тот же судья, все они обладают одинаковым пылом, одинаковой настойчивостью в стремлении к славе, а между тем силы для борьбы у них далеко не одинаковы.

И действительно, корпоративный дух всегда поддерживает произведение, рожденное в недрах Академии, в ущерб другим произведениям. Если автор не имеет ничего общего с Академией, то за отсутствием глухого неодобрения, при-

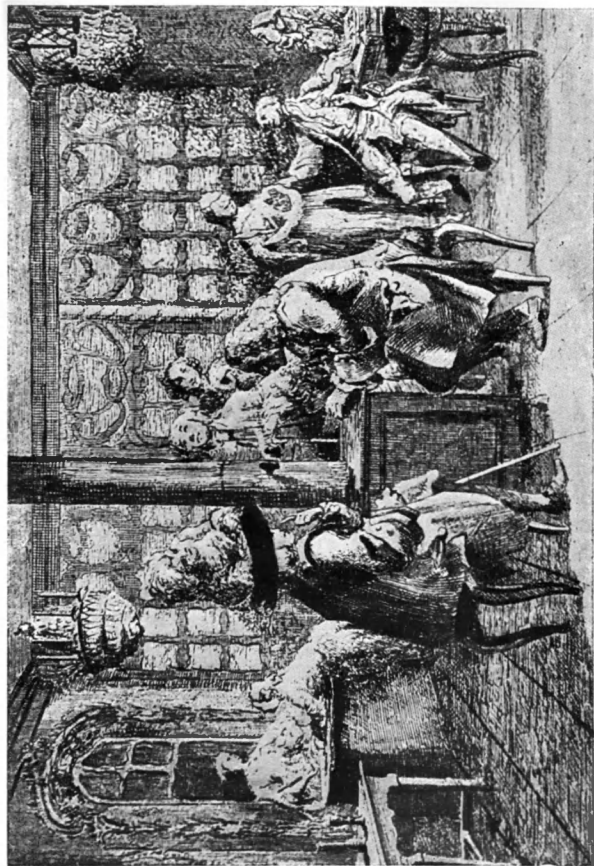
бегают к злостному и предумышленному молчанию. О выходе книги не объявляют, ее не рекламируют, ей приходится прокладывать себе дорогу собственными силами. А какая книга была оценена по достоинству при своем появлении на свет? Пенсии и награды, которые снискивают себе академики, находящиеся у самых источников милостей, дают лишний повод к жалобам и раздорам в среде литераторов.

Услуги, оказанные Французской академией нашему языку, очень малы, чтобы не сказать—ничтожны. Без этого учреждения язык достиг бы гораздо более быстрых и значительных успехов. Что может быть гибельнее идеи—обречь язык на полную неподвижность, в то время как другие искусства двигаются вперед! Что может быть нелепее того догматического тона, который порой себе присваивает Академия! Насмехаясь над Сорбонной, не повторяет ли она сама только старые слова, не руководствуется ли старыми авторитетами, подобно теологам, которые брюзжат на своих скамьях?

Это учреждение, состоящее, правда, из хороших писателей, но включающее далеко не всех их, имеет свою ценность, но лишь пока речь идет об отдельных личностях. Собравшись вместе, ее члены разделяют судьбу всех вообще корпораций: становятся мелочными, порождают одни только мелкие идеи, пользуются только мелкими средствами, руководствуются лишь мелкими соображениями. Это учреждение было бы полезно, если бы стряхнуло с себя жалкие предрассудки и осмелилось бы развить в себе вкус, диаметрально противоположный тому,

каким оно вдохновляется теперь,— другими словами, если бы взамен местной, условной манеры, напоминающей манеру отдельной живописной школы, оно постигло бы беспредельность искусства, выражающего человеческую мысль, если бы оно допускало любой колорит, любую манеру и поняло бы, что не существует никаких постоянных правил для искусства, запечатлевающего на бумаге могущество наших мыслей и пылкость наших чувств.

Благодаря тому, что писатели составляют в Академии только маленькую группу, характер этого учреждения быстро искажается; оно начинает само себе вредить и, помимо воли, принимает в свою среду собственных же врагов. У Академии нехватило мужества отказаться от чужеземной награды; доверие к Академии много раз было подорвано интригами, а потому в глазах бедного, гордого и скромного литератора вскоре совсем потеряет всю прелесть единственное место, которое предоставляет ему родина и которое могло бы вознаградить его за труды. Для вельможи является только лишним наслаждением лишить этого места писателя, не имеющего за собой ничего, кроме общественного мнения. Добрейший и чистосердечный Патрю* произнес следующую речь, когда Академия вздумала принять в свою среду одного невежественного вельможу вместо известного писателя: *В древние времена у некоего грека была превосходная лира. Когда у нее лопнула одна струна, он заменил ее не кишечной, а серебряной струной. И лира потеряла всю свою гармоничность.*



Кофейня
С гравюры Сент-Обена

Мне кажется, что писатели хорошо бы сделали, если бы во-время отказались от этой коварной награды. Их таланты приобрели бы бóльшую мощь и непринужденность. Они не стали бы тогда безрассудно отказываться от славы, которая ждет их за пределами столицы, ради известности в Париже, всегда бурной и вспыхивающей только затем, чтобы вскоре угаснуть.

В академиях писатели видят друг друга слишком близко; недостатки каждого кажутся еще бóльшими, чем они есть в действительности, самолюбие обостряется, интересы расходятся, нет больше взаимного согласия, гармония нарушена. Мне очень нравится ответ поэта Лене*. Один академик предложил ему предпринять что-нибудь, чтобы войти в эту корпорацию. Поэт гордо ответил: *Хорошо; но кто же тогда будет вас судить?*

Академия, занятая своими интересами, недостаточно отдает себе отчет в том, что читающая публика следит за выборами, обсуждает их и считает нелепостью, когда избранником является незнакомое ей лицо. Когда начинают обсуждать сомнительные заслуги, публика возмущается и смеется над никому неведомым избранником.

Некоторые академики разыгрывают роль *гения*. Но гениальность подобна стыдливости: ее невозможно сыграть.

Теперь уже Академия не предлагает в качестве темы ежегодного конкурса вопрос: *В чем заключается высшая добродетель короля?*, как бывало в царствование Людовика XIV. В наши

дни писатели, входящие в ее состав (надо им отдать эту справедливость) не ограничиваются наблюдением за чистотой стиля; они считают себя призванными исправлять нравы и никогда не позволили бы себе обсуждать такую недостойную и презренную тему.

Отрешившись от лести, академики, однако, не отрешились от некоторого педантизма; у одних он тоньше и искуснее, чем у других,— в этом надо признаться,—но все они верят и хотели бы всех заставить поверить, что Академия действительно представляет собою судилище, повелевающее вкусом и призванное руководить им; что звание академика связано с понятием о непогрешимом знатоке искусств. А между тем это отнюдь не так благодаря пристрастию академиков к своей собственной манере и притворному пренебрежению ко всему, что не подчиняется правилам их школы, а также и благодаря их незнанию многих литературных произведений, иноземных и отечественных, читать и разбирать которые им мешает лень или текущие занятия.

290. По поводу слова «вкус»

Теолог горячится, становится изувером и теряет здравый рассудок при каждом упоминании о *благодати*, а с академиком случается то же при упоминании о *вкусе*. Оба стремятся вас убедить во что бы то ни стало и не уступают друг другу в колкостях. Как же не согласиться после этого, что у каждого свой *конек*? А акаде-

мик смеется над теологом, когда тот, так же точно, как и он сам, проявляет странные притязания на непогрешимость.

Подобно тому как можно разрушить всю заслугу самого прекрасного и чистого поступка, объясняя его порочными намерениями, так же точно можно обесславить самое прекрасное произведение, применив к нему холодную и мелочную критику. А это опять-таки является делом академика — или завистливого, или разочарованного, или разыгрывающего из себя ученого.

Иной академик говорит: *Я обладаю вкусом*, потому что не осмеливается сказать: *Я — гений*. Он прекрасно чувствует, что все знают, что такое гений (ибо гения легко распознать); и, видя, что на гениальности ему нельзя настаивать, ограничивается тем, что называет себя *человеком со вкусом*. В этом случае с ним никто спорить не будет, так как довольно трудно оспаривать такое мнение, да и не важно, если кто и присвоит себе это звание.

Утвердив же его за собой, академик воображает, что творения его отмечены *хорошим вкусом*; между тем это отнюдь не так, ибо у него есть *вкус* только для критики чужого произведения, а не для своего собственного.

291. Академия надписей и изящной словесности

Тут любитель древностей посмеивается над каждым поэтом, который не зовется Гомером или Еврипидом. Здесь Аристотель почи-

тается выше Декарта и Ньютона; чем идеи древнее, тем больше в них ценности. Век Медичей еще не получил здесь прав гражданства.

Иной ученый не удостоивает обратить внимания на колоннаду Лувра, а говорит лишь о древнем храме Цереры, антаблементы, архитектуры и прочие детали которого он восстанавливает. Если проиграно сражение, то это объясняется только тем, что теперь забыта сила македонской фаланги.

Апеллес и Зевксис* — первые художники мира, потому что их картины от ветхости перестали существовать.

Если мы и создаем что-нибудь сносное, то только благодаря прошлому; древние все сказали, все видели, все разгадали; мы сами не отдавая себе в том отчета, лишь повторяем за ними, в силу законов метампсихоза; сами мы — поколение дегенеративное, выродившееся для искусств, — *да здравствуют греки!*

Язык наш не стоит древне-еврейского, являющегося языком священным; мы приобретем некоторую ценность лишь по прошествии четырех тысяч лет.

Все эти хулители нашего времени сочиняют огромные *in quarto* о древних; пусть же и читают их древние! Академики переводят древних, и древние в их передаче предстают глупыми и бессодержательными. Они перелагают Гомера плоскими стихами, чтобы его или вовсе нельзя было прочесть или чтобы только они одни и могли им восторгаться. Другие переводят его плохой прозой, чтобы заставить нас возненавидеть

наш родной язык и чтобы еще громче кричать:
Да здравствуют греки! Ловкий расчет!

Шпанхейм* таял от восхищения перед античной статуей. Хорошо посмотреть на статую раз, но этого и довольно. Если все дело тут в древности, то ведь какая-нибудь скала древнее финикийской письменности, хотя бы она и не была заимствована греками. Иной литератор страдает любопытством,—это его дело, раз это его забавляет, но ведь другой вовсе не обязан видеть в медали причину для особенного восторга¹.

Члены этого учреждения* называются академиками, но в Париже их титул имеет лишь весьма слабое значение, неизвестно даже почему. Повидимому, надо быть членом Французской академии, чтобы считаться настоящим академиком.

Чем объясняется такое различие между соседями, которых разделяет в Лувре только тоненькая стенка*? С обеих сторон одинаково много предрассудков и притязаний. Многие члены даже переходят из одной залы в другую; их следовало бы поставить на одну доску: ведь и тут и там сочиняют и прозу и стихи.

Публика или, вернее, общественное мнение установило огромную разницу между эти-

¹ Путник Пирон сочинил занятную эпитафию одному из таких исследователей древности. Ее мало кто знает:

Упрямый антиквар, друзья, здесь погребен,
И телом и душой в этрусской урне он.

Прим. автора.

ми двумя академиями. А между тем было бы вовсе не трудно противопоставить как две равные величины Академию изящной словесности—Французской академии, если бы только первая пожелала немного ближе подойти к изящной словесности, название которой она носит, примириться с современной литературой, изредка читать французские стихи и не порывать с остроумием. Тогда эти антиквары сошли бы за писателей и все привыкли бы говорить, что и они обладают остроумием. Вкус привился бы впоследствии, а у *сорока* была бы отнята их исключительная привилегия на славу и бессмертие.

Совершится ли это или нет, я все же скажу Французской академии:

Твой злейший враг, о Рим, у твоего порога!

Говорят, что Академия надписей отныне не желает больше разрешать своим членам вступать во Французскую академию, ибо слишком много славы для смертного соединять в себе титулы *ученого* и *литератора*. В дальнейшем придется выбирать, так как нельзя будет служить двум ревнивым и соперничающим возлюбленным. Между *ученостью* и *музами* согласия нет!

292. Корпорации

Указ, изданный во время министерства господина Тюрго, отменил все торговые корпорации и цехи—эти *срамные места* нашего правительства,—и все пошло довольно сносно. Пол-

тора года спустя второй указ создал шесть купеческих гильдий и сорок четыре ремесленных корпорации.

Досадные преграды развитию ремесел были отменены, торговле была предоставлена большая свобода; корпорации смежных профессий были объединены. В прежние времена они вели между собою бесконечные тяжбы, утруждая суды нелепыми и дорого стоящими распрями.

Двери промышленности теперь открыты для всех желающих работать. Однако для этого все еще нужны деньги. Корпорации деньги больше не выдают. Куда же деньги деваются? В королевские сундуки! Все незаметно, но неуклонно стекается в этот бассейн.

Цветочницы, дамские парикмахеры, садовники, учителя танцев, сапожники и отходники тем же самым указом были объявлены работниками *свободных профессий* и освобождены от уплаты налогов.

До появления этого эдикта бывали случаи, когда преследовали несчастную женщину, которая несла накануне какого-нибудь праздника цветы на своем лотке; цветы сбрасывали, а ее заставляли платить штраф; именем *короля и закона* хватали наполовину сшитые башмаки и доходили до того, что сажали под арест бунтовщика, накладывавшего папильотки на женскую голову и не имевшего патента, который давал бы ему право завивать и помадить волосы! Мы выходим уже из эпохи подобных чудных мероприятий, но у нас еще остается много других, почти такого же достоинства. Вот работа прежних правителей нашего великого государства!

293. Прикладчики

Хорошенькие женщины, прихотливо заказывающие всевозможные изделия, которые постоянно подвергаются изменениям, конечно не знают, что люди, трудящиеся над такими украшениями, называются *прикладчиками*.

Рабочий придает шелку самые разнообразные формы. Его вкус и талант порождает разнообразие рисунков, художественное сочетание красок, имитацию живых цветов.

Любуются хорошенькой женщиной и туалетом, составляющим часть ее существа; но, любуясь эффектом, производимым всеми этими эгретками, помпонами и бахромой, ни поэт, ни певец никогда и не думает восхвалять коклюшки, челнок и искусную руку *прикладчика*. Все для той, которая носит этот изящный туалет, и ничего для ремесленника, который придал ей этот блеск, эту свежесть, эту воздушную легкость!

294. Булавщики и гвоздари

Дикарь восхищается гвоздем, и он вполне прав. Только в Париже наблюдатель видит, сколько ловкости, опыта и усилий потребовало это ремесло. Нужно тридцать рук и тридцать инструментов, чтобы сделать булавку; а за двенадцать су можно купить их целую тысячу!

Игольщики и булавщики считают свое ремесло одним из самых древних, ибо, как говорят, его изобрел Енох*.

Иголка необходима почти во всех ремеслах. Чтобы довести ее до совершенства, чтобы она была не слишком гибкой и не ломкой, надо произвести над нею больше двадцати операций, одинаково существенных и в высшей степени тонких. Гвоздари избрали себе покровителем св. Клу*, а булавщики—св. Себастьяна, на том основании, что мучители пронзили его стрелами.

295. Притеснения прессы

Враги книги являются врагами знания, а следовательно и врагами людей. Затруднения, чинимые прессе, поневоле заставляют идти им наперекор. Если бы можно было пользоваться благородной свободой, не приходилось бы прибегать к уловкам. Свобода печати могла бы предотвратить некоторые политические недуги, а это уже большое благодеяние. Внутреннее благодеяние государства нуждается в разумных и бескорыстных книгах. Но только тот философ, который довольствуется уважением своих сограждан и не требует материальных наград, может подняться выше облаков, образуемых личными интересами человека, и разоблачать злоупотребления. Наконец, свобода печати будет всегда мерилom свободы гражданской; она является как бы термометром, при помощи которого можно сразу определить достижения и потери народа.

Если посмотреть на вещи с этой точки зрения, то можно сказать, что мы каждый день что-то *теряем*, так как прессу с каждым днем стесняют все больше и больше.

А потому как жалки книги по вопросам истории, политики или морали, которые печатают в наши дни в Париже!

Предоставьте людям свободу думать и говорить; публика рассудит и даже сумеет исправить ошибки писателей. Самый верный способ оздоровить книгопечатание, это предоставить ему полную свободу; препятствия только раздражают; и именно запрещения и трудности и порождают брошюры, на которые обычно жалуются.

Если бы деспотизм был в состоянии убить мысль в самом ее святилище и воспрепятствовать нашим идеям проникать в души наших ближних,—он сделал бы это. Но будучи не в силах вырвать философу язык и отрубить ему руки,—он ограничивается тем, что учреждает на пути философа инквизицию, заполняет все границы чиновниками, прибегает к помощи соглядатаев, вскрывает посылки с целью помешать неизбежному прогрессу морали и истины... Тщетные и ребяческие усилия! Напрасное покушение на естественные права общества в целом и на его патриотические права—в частности! Разум с каждым днем освещает народы все более и более ярким блеском,—вскоре этот свет разгонит все тучи. Тщетно тогда будут бояться гения или преследовать его: ничто не погасит в его руках пылающего факела Истины, и приговор, произнесенный его устами несправедливому человеку, повторяют все потомки. Этот человек хотел лишить своих ближних самого благородного из всех человеческих прав—права думать, права, неотделимого от самого человеческого существования; обнару-

жив только свою слабость и сумасбродство, он заслужит двойного упрека: в тирании и в бессилии.

О славные англичане, великодушный народ, чуждый нашему позорному рабству,—храните существующую у вас свободу печати—она залог вашей личной свободы. Вы сейчас почти единственный народ, поддерживающий достоинство человеческого имени. Молнии, испепеляющие надменное и дерзкое самовластье, исходят из недр вашего благословенного острова. Человеческий ум нашел у вас приют, откуда он может просвещать вселенную.

Если угнетатели решат, что они в состоянии заставить землю замолчать и могут ее пожрать, не дав ей произнести ни единого слова,—их коварные планы будут разоблачены до основания; их головы покроются шрамами, от священных стрел Истины; они навлекут на себя несмыаемый позор и будут преданы проклятию настоящим и будущим поколениями.

О славные англичане! Ваши книги не подчинены цензуре господина Ле-Камю-де-Невиль, и потребовался бы обширный комментарий, чтобы объяснить вам, какие процедуры необходимы, чтобы господин министр или господин канцлер (когда он ведает министерством), или господин вице-канцлер позволил какой-нибудь тоненькой брошюрке, которую и читать-то никто не станет, появиться на Жеврской набережной и завалиться там в тщетном ожидании покупателя.

Мы так смешны и мелки рядом с вами, что

вам трудно было бы понять всю нашу слабость и все наше унижение¹.

В общем такое стеснение приносит значительный ущерб столице, и иностранцы этим пользуются. Если *графомания* имеет смешную сторону, то она как-никак дает возможность существовать различным другим профессиям. Гора Сент-Женевьев заселена книгоношами, брошировщиками, переплетчиками и т. п., которые умерли бы с голоду, если бы не существовало крупной книжной торговли. Эта торговля отнюдь не вредит обществу. Древние писатели не меньше нашего испытывали зуд к обнародованию своих произведений. Эту потребность и мы удовлетворяем, давая при этом наживаться голландским, немецким, фламандским и женеvским книгоиздателям.

296. Городская почта

Ее изобретатель, Шамуссе*, составил целых двести проектов различного рода; все они должны были содействовать общественному благу, но из всех проектов только этот был осуществлен, да и то очень поздно, потому что должностные лица всегда противятся новшествам и соглашаются идти навстречу общественному благу только тогда, когда их к этому принуждают то ли путем убеждения, то ли путем некоторого насилия. Министр всегда спешит сказать: *Я запрещаю*, и никогда не говорит: *Я разрешаю*.

¹ Некогда был издан королевский указ, запрещающий профессору Рамюсу читать его собственные произведения. *Прим. автора.*

Городская почта разъезжает с утра до вечера, развозя письма и пакеты. Париж—это целый мир, и иногда легче пройти пешком тридцать льё, чем разыскать нужного человека в каком-нибудь отдаленном квартале. В таких случаях ему пишут. Записки сберегают время, заменяют личные посещения и избавляют от беготни по пустыкам.

В былые времена в Италии любовные записки передавались дамам продавцами цыплят. Они прятали записку под крылышко самого жирного цыпленка, и заранее предупрежденная об этом дама спешила его купить. Когда этот маневр был открыт, первый пойманный посланец был приговорен к пытке на дыбе, причем к ногам его были привязаны живые цыплята. С этих пор слово «poulet» (*цыпленок*) является синонимом *любовной записки*. Почтальоны городской почты с утра до вечера заняты передачей таких записок; к хрупкой восковой печати все относится с уважением, и она свято хранит любовные тайны под непроницаемым покровом; благоразумный муж никогда не распечатает записки, адресованной его жене.

Друзья этим путем уславливаются о дне, который они собираются провести вместе; это удобство красит повседневную жизнь. Но в таких записках обычно говорится лишь о развлечениях и о делах, и было бы крайне неосторожно касаться каких-либо других тем, так как все это находится в руках полиции, которая интересуется решительно всем.

Неудобство почты заключается в том, что она облегчает писание дерзких анонимных пи-

сем; но так как такие письма пишут только подлецы и трусы, то они заслуживают полного презрения. Во всяком случае, это не может ума-лить полезности городской почты.

Высшие чиновники и всякого рода знамени-тости получают множество праздных писем; сначала это, может быть, их и развлекало, но вскоре начало утомлять. Бремя обширной корреспонденции составляет несчастье, неиз-менно связанное с известностью; приходится терять драгоценные часы на то, чтобы отвечать на всякую ерунду и чертить на бумаге бесплод-ные комплименты или нечто в высшей степени неопределенное и неясное.

Только самым близким друзьям можно ри-совать правдивую картину своего внутреннего мира; от других приходится все это утаивать, потому что они всегда готовы показать ва-ши письма, пустить их по рукам и даже пере-печатать. Нужно быть в этих случаях крайне осторожным, так как очень многие расставляют вам под видом усердия хитрые ловушки, стара-ются подметить в вас что-нибудь смешное и ра-дуются возможности обмануть ваше доверие или легковёрность.

Вышла из печати тоненькая брошюрка, озаглавленная: *Похищенная почта*. Напечатан-ные в ней письма, конечно, поддельны. Но если бы было позволено, из чувства простого любопытства, сломать печати и перечесть кор-респонденцию за один только день,—боже, сколько всплыло бы занимательных и любо-пытных вещей! Уверенность, что все эти письма предназначались только их адресатам, что в

них авторы раскрывают всю свою душу, придала бы этому чтению совершенно исключительный интерес. Никакая фантазия писателя не создаст никогда ничего мало-мальски похожего. Отчаяние, несчастье, нужда, ревность, гордость дали бы ряд самых разнообразных картин, а так как подлинность писем не подлежала бы сомнению, они приобрели бы особый интерес. Какое удовольствие видеть стиль письма делового человека, маркиза, куртизанки, влюбленной девушки, верующего, кредитора и лицемера разных слоев населения! Чего не дали бы теперь за подлинные письма какого-нибудь Дерю* или вообще за записочку какого-нибудь знаменитого человека, начертанную при тех или других жизненных обстоятельствах! Литераторы нашли бы среди них очень хорошо написанные письма, философы сделали бы новые открытия в области человеческого сердца, а грамматисты убедились бы, что из ста писем восемьдесят совершенно безграмотны, но что, в общем, те, что грешат таким недостатком, говорят о большем природном уме, чем многие другие; причем все они по большей части написаны женщинами. Что же касается мужчин, чтобы не сказать—писателей, то среди них те, которые пренебрегают некоторыми грамматическими правилами,—выражаются с большим изяществом, свободой и силой. Подумайте-ка об этом, холодные, тяжеловесные и манерные писатели, знающие грамматику или не знающие оной:

Точное воспроизведение в печати всех этих писем составило бы очень любопытный памятник; но желать этого непозволительно, так

как ничто не может оправдать подобного оскорбления общественного доверия.

Городскую почту объединили с общей, ибо так уже суждено, чтобы все французские учреждения неизбежно попадали под власть откупщиков.

297. Должники

Как приятно, как сладостно расплачиваться с кредиторами—сказал английский писатель Литльтон.*

Однако оказывается, что удовлетворение, доставляемое уплатой своих долгов, не очень-то трогает наших молодых дворян. Они мало заботятся о своих обязательствах. Для них это только предмет шуток, они вполне серьезно говорят своим доверенным слова комедии: *Скажите моим кредиторам, что я все время ищу выхода и что теперь я с этой целью женюсь; если они меня рассердят, я останусь холостяком.*

Нужно было бы больше теснить должников; их тогда стало бы меньше, так как обычно берут в долг не действительно нуждающиеся, а моты, безумцы, распутники, расточители.

Кредитор всегда в немилости у закона, а это поощряет плута и разоряет честного человека. К этим вопросам относятся недостаточно строго: при желании легко избежать тюрьмы; гражданские законы так растяжимы, что не внушают ни малейшего страха. От этого страдают и собственник и торговец. Нарождается целая толпа неутомимых покупателей, которые, учитывая мягкость законов, спешат воспользоваться чужими деньгами.



Поводырь с медведем
С гравюры Минне по рисунку Тузе

Следовало бы карать позором каждого недобросовестного должника. Не стыдно ли не платить своему портному, ресторатору, обойщику, мяснику? Ведь уплачиваются же карточные долги. А почему? Потому что иначе должники не были бы приняты в обществе. Более решительные законы легко могли бы принудить должников выполнять свои обязательства. Скорее злая воля, чем невозможность, заставляет человека отступать перед исполнением самых священных своих обязанностей.

Чем богаче должник, тем хуже он платит. Одной частью своего золота он защищает остальное свое богатство. Он подвергает своего кредитора всем неприятностям запутанной тяжбы и уловкам крючкотворства. Все откладывая и откладывая срок уплаты, он выматывает своего противника, который, в конце-концов, отказывается от половины или трех четвертей того, что тот ему должен.

Я, кажется, уже говорил, что тому назад лет сорок молодые люди любили шум и звон и почти каждую ночь доставляли себе удовольствие, разбивая уличные фонари и нападая на городских стражников. Я говорил, что все подобные бесчинства были строго пресечены. В наши дни светская молодежь, менее шумная, но более коварная, хвастается своими долгами и любит говорить о ювелирах, коннозаводчиках, каретниках, торговцах шелком и прочих, которые их всячески преследуют и которых молодые люди называют *нахалами* и *негодьями*! Они издеваются также над посещением судебных приставов и, вынув из кармана целую связку судебных

повесток, медленно сжигают их в камине, любясь на себя в это время в зеркале!

А что могли бы мы сказать, если бы только захотели, о *подставном* должнике, который изображает из себя банкрота, чтобы выгородить какого-нибудь знатного вельможу?

Но разве мы дали слово все говорить? Отнюдь нет!

Конец третьей части

*Nec temere, nec timide**

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

298. Возражения

Что хочет сказать этот все *преувеличивающий художник*, этот желчный человек, видящий все в *мрачном* свете, успевший написать уже целых три тома нападок на Париж—средоточие изысканнейших наслаждений? Вопреки ему я утверждаю, что свободно жить умеют только здесь. Пусть это будет, если хотите, древняя Ниневия, древний Вавилон—что ж из этого? Мне лично порочность нравится. Разве богачи не должны пользоваться своим богатством? Разве человеку не нужны разнообразные удовольствия? Разве их у него чересчур много? Не нужны ли ему пороки? Не составляют ли они существенную часть его существа? Разве они не... Я знаю, что говорю. В каком же виде представляете вы, *скучный проповедник*, этот великолепный, сверкающий весельем город, где каждый живет так, как ему хочется? Все вас в нем пугает, страшит, все, вплоть до его необъятного населения, которое меня только радует;

и не должна ли столица великого государства быть густо населена? Бедняки трудятся; так и должно быть раз они бедняки; а я наслаждаюсь, потому что я богат. Родись я бедным, я делал бы для богатых то, что бедный делает теперь для меня. Билеты человеческой лотереи не могут быть одинаковыми: одни выигрывают, другие проигрывают.

Вне Парижа нет спасения. Что вы толкуете мне о свободе? Это слово лишено всякого смысла, подобно многим другим словам, произносимым энтузиастами. Разве я не волен предаваться своим фантазиям? Что же еще нужно?

Париж—очаровательное место для каждого, кто хочет наслаждаться, а не размышлять. А что может быть печальнее размышлений? Что представляют собой самые возвышенные мысли, скажите на милость? Раз я уплатил *подушную подать*,—все *королевские дороги* к моим услугам; в погоне за удовольствиями я могу топтать их, сколько мне вздумается.

Если у меня произойдет ссора с простолюдином, попавшимся мне на пути, и если я высеку его слегка, чтобы научить его уважать богатого человека моего ранга; если его дочь мне сначала приглянется, а через неделю разонравится,—я выпутаюсь из затруднений при помощи некоторой суммы денег. Что мне до них? Я только пассажир корабля и не желаю править правительством. Да избавит меня от этого бог! Пусть тот, кто захватил бразды правления в свои руки, выпутывается, как хочет; я восхищен его отвагой. Даже если бы в моих руках

находились все самые полезные политические истины, я, подобно мудрому Фонтенелю, не двинул бы и мизинцем, чтобы выронить хоть одну из них.

Жалуются на то, что необходимые для жизни съестные припасы немного дороги. Возможно. Но я этого не замечаю. В конце-концов, нужно только быть трезвым, воздержанным, умеренным. Стоит ли думать о желудке?

Не являются ли нашими истинными удовольствиями удовольствия духовного порядка? Вы с этим согласны, *строгий правоучитель*? Ну, а они-то здесь очень дешевы. Какое здесь множество самых разнообразных наслаждений, которых в другом месте не кушишь и за золото! Париж—это город, доставляющий наибольшее количество самых разнообразных общественных удовольствий: опера, комедии, фарсы Одино*, фарсы Николе*, китайские чайные домики, Коллизей*, Ваксхолл*, Булонский лес, Елисейские поля, бульвары, кофейни, игорные и другие, еще более веселые, дома. Надо быть рожденным для скуки человеком, чтобы не находить развлечений в этом стремительном и шумном вихре удовольствий.

Много ли нужно на все это денег? Отнюдь нет: за *сорок восемь су* вы можете в течение полутора часов слушать чувствительную музыку Глюка; а прелестная Гимар* и мудрая Теодора будут улаживать ваши взоры танцами.

Далее: за *двадцать су* вы насладитесь драматическим шедевром Корнеля, Мольера, Вольтера,—на выбор; их гений к вашему услугам. Вы любите пьесы легкие и веселые, с му-

зыкой и пением? В один и тот же день вы можете прослушать три таких пьесы и тоже за *двадцать су*.

Вы можете иметь экипаж, лошадей и кучера с кнутом в руках за *тридцать су в час*; и, если накануне вас забрызгали грязью, вы сможете теперь отомстить и в свою очередь забрызгать грязью золоченую карету или самого ее хозяина, если он идет пешком.

У вас нет дома библиотеки? За *четыре су* вы проникнете в *кабинет для чтения*, где все послеобеденное время можете провести за чтением всевозможных книг, начиная с грузной Энциклопедии и кончая тоненькими брошюрками.

Насытив свой ум, вы в любое время можете за умеренную цену пообедать в трактире, если из-за мизантропии или неумения держаться в обществе вам не захочется обедать за столом богача. Раз затрата сделана, не все ли равно богачу, кто съест его кушанья?

Наконец, если вы, по несчастью, не имеете любовницы, то всегда сможете за небольшие деньги найти под скромным платьем такие прелести, какие редко встречаются под шелком и муслином. Спросите любителей—они вам скажут, что можно обойти весь земной шар и не набрести на более забавные, необычайные и странные любовные приключения; строгие красавицы, неприступные в одном квартале, превращаются в упоительно стоворчивых в другом.

Поэтому не удивляйтесь нашему остроумию, господин *юморист*. Какая разница во вкусах, в чувствах, в понятиях, во взглядах отличает жителя столицы от грубого поселянина, живи

он всего лишь в нескольких льё от Парижа! Он положительно из другого теста, чем мы, это не наш соотечественник; может ли он подражать нам, понимать нас? Посмотрите на его изумленные глаза, на раскрытый от удивления рот! Он верит в счастье, тогда как на свете реальны только наслаждения. Они—разменная монета человеческого благополучия; крупные же деньги в этом мире не попадают никому. Я, вовсе не желаю однообразного счастья деревенского уединения—этого *самого безвкусного из всех удовольствий*, как говаривал Вольтер. Я хочу скользить по поверхности и останавливаюсь только на чувственных наслаждениях, всегда восхитительных, если они разнообразны. А где же найти лучше парижских?

Я без труда приспосаблиюсь ко всему. Когда я заказываю себе у портного платье, я предпочитаю сделать его модного цвета: цвета *кака-дофин**, чем цвета *прюн-мсьё**. *Это безумие!*—воскликнете вы; но это принято при Дворе, а уж на это сказать нечего! Не следует спорить о вкусах и цветах.

Я снимаю свой фрак цвета *опера-брюле** или цвета *головешки* и одеваюсь сегодня в цвет *кака-дофин*, подобранный по точному и признанному образцу. Я сумею различить все оттенки и могу сказать, как знатный вельможа: *это то, это не то.*

Да, господин *мизантроп!* Под одеждой цвета *кака-дофин* скрыты очень глубокие вещи. Я буду щеголять в ней на трех спектаклях и гордиться ею, так как знайте, что я не хочу ни на йоту отступить от господствующей в настоящее время

моды так же, как не хочу удалиться хотя бы на одно льё от столицы и Версаля. За этой чертой—готтентоты, кафры, эскимосы: варварские племена, не имеющие понятия о вкусе. Уверяю вас!

Что ответить на такие замечательные возражения? Ответить нечего! Итак, продолжаем.

299. Королевский альманах

Ему уже около ста лет. Он свидетельствует о существовании земных богов—министров, чиновников, фельдмаршалов, высших судебных властей и т. д. Он сообщает их адреса, дни, часы, в которые разрешается являться к ним и курить фамиам в их передних. В эту книгу вписаны все любимцы Фортуны и отмечены малейшие движения ее колеса. Всякий, следующий по пути честолюбия, изучает альманах с сосредоточенным вниманием.

В нем вы найдете имена решительно всех, начиная с принцев и кончая экзекуторами Шатле. Горе тому, кто не занесен в эту книгу! У него нет ни звания, ни должности, ни титула, ни занятий. Счастливы крупные откупщики: в действительности они еще богаче, чем сказано в альманахе.

Како емножество имен заключено под одной обложкой! Регистратор занимает там не больше места, чем председатель; полицейский пристав не больше, чем камер-юнкер Двора. Это почти точное изображение того, как они впоследствии будут лежать в могиле,

Вы найдете в альманахе и полный список королевских советников, которые никогда не давали монарху советов и никогда не будут с ним говорить, и список королевских секретарей, не написавших ни единой буквы под его диктовку.

Сколько красавиц справляется в королевском альманахе о своем возлюбленном—лейтенант он или бригадир, советник или председатель, биржевой маклер или банкир? Имя личного секретаря министра запечатлевается в памяти гораздо скорее, чем имя какого-нибудь академика, и каждый спешит запасть альманахом, чтобы знать, с кем имеешь дело. Один падает, другой возвышается. Имена павших подобны именам покойников. Никакого уважения к тем, кого Плутус и Фемида изгнали из своих храмов.

Одна знаменитая куртизанка купила королевский альманах. Всякий, кто являлся к ней впервые, должен был показать ей свое имя в этой книге, а если его там не оказывалось, презренный смертный становился недостоин ее милостей, и ее дверь закрывалась для него.

Фонтенель говорил, что в этой книге заключается больше правды, чем во всякой другой.

На какие только размышления не наводит чтение этого альманаха! Вас охватывает дрожь, когда вы видите шестнадцать столбцов мелкого шрифта, заполненных именами прокуроров; когда вы читаете имена двухсот докторов, ста пятидесяти аптекарей, не говоря уже о множестве судебных приставов! Теряешь счет придворным слугам принцев, Какое множество челяди,

пытающейся под различными именами прикрыть свое порабощение!

Ниже вы увидите, какое количество нотариусов, адвокатов, регистраторов и прочих чиновников содержит общество. Всем им нужно существовать. Что за прожорливое полчище!

Подсчитайте затем, сколько тысяч ливров берет у земли, у бедных землевладельцев каждая епархия; каких громадных денег стоит содержание преемников скромных апостолов. Вы придете в ужас. И вы будете не в меньшем ужасе, если остановите свое внимание на высших классах. Титулы их представителей свидетельствуют лишь о полной праздности; и их-то и покрывает золото всей страны! Какое количество ртов сосет и грызет государственное тело! Королевский альманах—это *каталог* вампиров.

Все упомянутые в нем не являются ни земледельцами, ни торговцами, ни ремесленниками, ни художниками. А между тем эта часть населения всецело правит другой. Уничтожьте мысленно все эти имена; перестанет ли существовать от этого нация?.. О, отнюдь нет,—могу вас в этом уверить!

Альманах приносит около сорока тысяч франков дохода в год. Никогда ни *Илиада*, ни *Дух законов* не приносили таких денег своим издателям. Мог ли бы Гомер вообразить себе, что будет напечатано такое множество имен, обреченных *умереть* в полнейшей неизвестности, не смотря на титулы, которые, казалось бы, должны были уберечь их от бездны забвения?.. Боюсь, что королевский альманах целиком погибнет в этой бездне, не дождавшись даже гря-

душей революции! Взгляните на все предшествующие альманахи, начиная с 1699 года*, и сочтите, сколько осталось незабытых имен; сочтите, говорю вам, сочтите — из любопытства или из желания поразмыслить над этим.

300. Меркюр де Франс

Кто автор загадок и логогрифов, которыми избилует *Меркюр де Франс*? Все праздные люди, скучающие в провинции в своих уединенных замках. Кто пишет все это множество безобидных стихотворений? Влюбленные созерцатели, считающие себя обязанными воспеть прелести своих возлюбленных и запечатлеть свои вздохи на страницах *Меркюр де Франс*. Но *плохие стихи*, — сказал Вольтер, — *это счастливые дни любовников*. Счастливы плохие поэты! Таким образом, рифмоплетству и любви суждено часто идти рука-об-руку, и *Меркюр де Франс* будет всегда верным хранителем всех провинциальных нежностей, нашедших себе выражение в томных стансах и жеманных мадригалах.

Все эти стихи посылаются почтой, в заранее оплаченных письмах, — похвальная предосторожность! По крайней мере почта получает от них некоторый доход. Несомненно, перевозимые ею стихи не стоят денег, которые она от этого выручает, в чем, вероятно, согласится со мною приемщик и все почтовые служащие. Каждый рифмоплет считает, что своими стихами создает себе имя в этой голубой книжечке. Один ста-

рается восхвалять свой провинциальный городок, другой—собственную свою особу; каждый спешит сообщить свои титулы, чтобы о них знал весь свет. Один нам объясняет, что он адвокат или прокурор, другой—что он жандарм или офицер.

Канцелярский писарь равнодушной рукой распечатывает пакеты, прибывающие с каждой почтой. Вскоре они образуют на его конторке целую гору. При рождении какого-нибудь принца град пакетов усиливается, папки набиваются битком. Романсы, мадригалы, посвящения, стансы и тому подобное сыплются без перерыва, и усталый писарь уже перестает распечатывать конверты. Этот человек более всех на свете пресыщен стихами, и никто так их не ненавидит, как он. Он собирает и складывает получаемые произведения в огромные папки, где они спят в ожидании дня, когда одно из них понадобится и будет вытащено на свет божий. Беда, если оно окажется чересчур длинным или слишком коротким для страницы, которую хотят им заполнить! Как бы ни было оно безукоризненно, его все равно забракуют и вместо него выберут такое, которое по размерам как раз подходит к остающемуся на странице месту.

Провинциальный поэт воображает, что его произведениям восхищаются и спешат их напечатать; а они тем временем покоятся на дне канцелярских ящичков. Он с нетерпением ждет очередного номера *Меркюр де Франс*, распечатывает его торопливой, дрожащей рукой, ищет свое произведение и, не найдя его, готов скорее

объяснить его отсутствие неисправностью почты, чем презрительным отношением своих судей.

Нужно прочесть сотню стихотворений, чтобы найти одно сносное, то есть такое, в котором не было бы грубых ошибок. Трудно представить себе, до какого предела нелепости и пошлости доводят стихотворство иные рифмоплеты. Покой и мир да снизойдут в добрые души, сочиняющие весь этот поток снотворной поэзии и прозы! Но ничто в то же время так убедительно не доказывает, что во Франции царствует скука или любовь, как это изобилие стихотворений в честь красавиц, несравненно более привлекательных, конечно, чем произведения, в которых их воспевают.

Когда какому-нибудь провинциальному поэту посчастливится увидеть напечатанными стихи, подписанные его именем, его охватывает трепет восторга, и в блаженном экстазе он говорит себе: *В эту минуту Париж, король, Двор читают мой мадригал, и мое имя, сделавшееся отныне знаменитым, стоит перед их глазами. Кто знает, не замечтался ли в эту минуту король или министр над моим стихотворением и, в удивлении и восторге, не собираются ли они назначить меня на какую-нибудь должность?* Поэт созывает всю семью, показывает ей страницу, обессмертившую, выдвинувшую его навсегда из ряда обыкновенных людей; книжка переходит из рук в руки, начиная с податного инспектора и кончая нотариусом. Все молча восхищаются стихотворением и напечатанным именем автора и в глубине души завидуют ему.

В давно минувшие времена *Меркюр де*

Франс был распространителем пошлости и приторности; потом вдруг сделался до крайности неучтивым и резким, попав в руки одного педанта*. Затем его совершенно изуродовали глупость и сухость, а искусство *подчеркивать недостатки* заменило критику. Нельзя не удивляться, видя безвестных, безусых писателей, судящих об искусстве с нелепой напыщенностью. Эти *дон-кихоты изысканного вкуса* ломают копыя, защищая то, чего сами не понимают. Несколько пустяшных замечаний, несколько мелочных придировок—вот все, чем этот журнал теперь пробавляется. О, как много в Париже незначительных писателей, изошряющихся в искусстве болтать о пустяках!

Так как это предприятие носит меркантильный характер, и многие заинтересованы в том, чтобы оно было возможно прибыльней из-за выплачиваемых им пенсий (кто поверит, что безусловно честные люди живут этими плохими стихами и глупой прозой!), то патент на журнал выдали некоему Панкуку*—не типографу, а книгопродавцу. Он содержит на жалованьи поэтов, платя им постольку-то за лист, и жалкаястряпня плохих стихов идет безостановочно. В силу старой и совершенно непонятной привычки провинция все же подписывается и впредь будет подписываться на *Меркюр де Франс*.

По именам авторов можно заранее сказать, какие произведения будут в *Меркюре* превознесены до небес и какие беспощадно повержены во прах. Некоторые академики ловкими тайными маневрами добились того, что в этом журнале их боготворят. Некоторые авторы не



ÉVÉNEMENT AU BAL.

Le Bal fut plus d'une surprise:
L'Amoureux Dans à genoux
Croit haïr le sein de Céphise,
Il avoue ce plaisir bien doux.

Mais c'est à Daphne qu'il en coûte,
Il l'embrasse pour la valser
Hélas! souvent on trouve sa beauté
On l'a crue souvent son plaisir.

Приключение на балу
С гравюры Дюкло по рисунку Фрейдеберга

краснея помещают в нем избранные места *из своих же собственных произведений* и потом сами себя расхваливают; другие делают это при посредстве друзей.

Гийом-Тома Реналь*, впоследствии по справедливости заслуживший славу своей *Философической и политической историей торговли европейцев с Индией*, в 1751 году принимал участие в *Меркюре*. Пошлость этого глупого журнала не имеет ничего общего с идеями превосходного труда аббата Реналья.

Господин Панкук (ибо в данном случае он уже автор, а не книгопродавец) напечатал в *Меркюр де Франс Рассуждение о прекрасном*. Знаете ли вы, что такое прекрасное? Послушайте господина Панкука. Прежде всего он утверждает, что *красота неизменна и одинакова для всех наций*. Вас это немного удивляет, читатель? Сейчас увидите, куда это приводит автора. Он авторитетно упраздняет относительную и произвольную красоту как несуществующую. На это у господина Панкука имеются свои основания—подождите! Решив, что *красота постоянна и неизменна*,—он задает вопрос: *Кто же может быть судьей в этом деле?* И отвечает: *Тот, кто живет среди просвещенной нации, кто, принадлежа к этой последней, обладает от рождения верным вкусом и кто ближе других подходит к центру совершенного вкуса*. Но что же представляет собой этот центр, к которому автор хочет нас привести? *Это—общество, имеющее право высказывать свое мнение о прекрасном во всех родах искусства*. Какое же это общество? *То, к которому принадлежат люди, работаю-*

щие на самый первый во всем мире журнал, одобренный всеми людьми со вкусом и пенсионерами; это—люди, оплачиваемые журналом, его сотрудники, люди, созданные для рассуждений о незыблемой красоте, люди с особым термометром в руках. А отсюда следует, что неизменно-прекрасное это то, что четыре раза в месяц печатается в Меркюр-Панжук: *quod erat demonstrandum*¹.

Вот что печатают в Париже и что распространяют в *Отель-де-Ту*. О, Зульцер*! Твое имя совершенно неизвестно этой невежественной толпе торгашей, смело пишущих об искусствах сухим беспомощным слогом, ограничивающим горизонт искусств. До чего ничтожен этот голубенький журнал, посвященный королю, журнал, о котором говорили как о создании самых выдающихся писателей! Нельзя себе представить ничего бесплоднее этих меркюрианцев.

Впрочем, в этой главе мы имели в виду только литературную часть журнала,—политический его отдел находится всецело в ведении министерства, и все известия, идеи и выражения здесь заранее predetermined. А между тем именно политический отдел и поддерживает жалкую литературную часть.

301. Писатели, родившиеся в Париже

Париж дал литературе почти столько же великих людей, сколько их дало все остальное королевство.

¹ Что и требовалось доказать (*лат.*).

Я их перечислю, насколько мне это позволит память, и сделаю это в алфавитном порядке, так как не собираюсь распределять их ни починам, ни по должностям, как то делают директора коллежей или господа журналисты, эти оценщики человеческих заслуг. Вот мой список:

Господа: *д'Аламбер*, знаменитый геометр и выдающийся литератор. *Амонтон*, искусный механик. *Амио*, старший придворный священник и знаменитый переводчик. *Анкетиль*, историк Лиги и автор *Кабинетной интриги*, и его брат—путешественник по восточной Индии. *Ансом*, автор нескольких театральных пьес. *Арно д'Андийи*, известный выступлением против иезуитов и превосходным переводом Иосифа. *Антуан Арно*, один из наших великих, плодотворных и бесполезных писателей. *Бакюлар д'Арно*, автор *Комменжей* и *Евфемии*, которую скопировал потом автор *Мелании*. *Байи*, писавший об астрономии и мечтавший о неведомом нам народе. *Ле-Бо*, секретарь Академии изящной словесности, автор *Истории Византии*. *Карон де-Бомарше*, заслуживший громкую славу своими мемуарами, стоящими неизмеримо выше других его произведений. *Беллен*, морской инженер, автор *Французской гидрографии*. Г-жа *Бело*, ныне супруга председателя де-Мениер, довольно известная переводчица с английского. *Дю-Беллуа*, автор *Осады Кале*, трагедии, которая со дня своего появления в свет поплыла на всех парусах благодаря попутному ветру, дувшему от Двора. *Ле-Блон*, поместивший в *Энциклопедии* статью о военном искусстве. *Буало*, первый из наших версификаторов. *Буэн-*

ден. Буше д'Аржи, юрисконсульт. Бугенвилль, член Французской академии, переводчик *Анти-Лукреция*. Де-Бюри, историк. Знаменитый Буланже, автор *Разоблаченной античности*, идеями которого многие воспользовались. Вилляре, продолжатель *Истории Франции*. Вильнёв, автор нескольких романов. Маркиз де-Виллет. Ватле, член Французской академии. Вильмен д'Абанжур, стихотворец. Вольтер. Галлимар, геометр. Гельвеций-отец, врач. Гельвеций-сын, автор чересчур знаменитой книги *Об уме*. Гоге, автор *Происхождения законов, искусств и наук*. Г-жа де-Гомез, автор *Ста рассказов и Веселых дней*. Гузисе, ученый. Гийо де-Мервиль. Дакен, сын знаменитого органиста. Дионис дю-Сезжур, член Королевской академии наук. Дезайе-д'Аржанвилль, интендант. Дюси, член Французской академии. Дорневаль, автор *Ярмарочного театра*, написанного совместно с Ле-Сажем. Дора, приятный поэт. Бютель Дюмон, автор *Трактата о роскоши*. Дюпре-де-Сен-Мор, член Французской академии. Дюамель-дю-Монсо, член Академии наук. Де-Келюс, археолог. Карачиоли, автор подложных *Писем папы Ганганелли*. Кассини де Тюри. Жак Кассини, астроном. Камю, врач и одаренный фантазией писатель *Кино*. Доктор Кенэ, глава секты экономистов. Маркиз де Ксименес, написавший трагедии *Амалазонт* и *Эпикарис*. Клеро, член Академии наук. Кошен, хранитель королевского собрания рисунков. Колле, автор песенок, водевилей, пародов и пьес, написанных очень оригинально. Ла-Кондамин, известный путешественник. Контан д'Орвиль, плодовитый и полезный писа-

тель. *Кребийон-сын*, получивший громкую известность благодаря своим остроумным романам. *Кревее*, бывший профессор. *Ледран*, хирург, член лондонского Королевского общества. *Латтеньян*, реймский каноник, плодовитый сочинитель песенок. Граф *Лораге*, автор двух редкостных трагедий. *Лос-де-Буаси*. *Ле-мьер*, член Французской академии. *Лангле Дюфренуа*. *Де-Лиль*, член Академии наук. *Лорри*, адвокат. *Лорри*, врач. *Лорри*, профессор-юрист. Дон *Лебель*, бенедиктинец. *Де-Маки*, профессор химии. *Маке*, член Академии наук. *Маршан*, добродушный писатель. *Мариэт*, любитель рисунков, автор *Трактата о камнях*. *Мариво*, автор тонких и искусно разработанных произведений. Знаменитый *Мальбранш*, одаренный мощным воображением. *Мольер*. *Муасси*, автор нескольких театральных пьес. *Моро*, Ванский епископ. *Моро*, королевский прокурор в Шатле. *Миньо*, племянник Вольтера, аббат в Сельере, где он воздвиг памятник своему дяде. *Монкриф*, прозванный «последним французом». Двое братьев *Лемоннье*, члены Академии наук. *Марешаль*, анакреонтический поэт. *Блен-де-Сен-Мор*, написавший четыре героических послания и вдобавок еще трагедию. *Моран*, отец и сын. *Патт*, архитектор. *Песселье*. *Пети де-ла-Круа*, профессор арабского языка. *Пенгре*, астроном. *Парфе*, автор *Истории французского театра*. *Пуэнсине*, автор комедии *Кружок*. *Пуэнсине-де-Сиври*, переводчик Плиния. *Понсе-де-ла-Ривьер*, бывший епископ города Труа. *Филипп де-Прето*, автор *Картин римской истории*. *Дю-Пон*, редактор *Эфемерид гражданина*. Г-жа *Ле-Пот*, автор

многих записок по астрономии. *Премонваль*, член Берлинской академии. Г-н и г-жа *де-Пиюзье*. *Расин* младший. *Руссо*, поэт. *Роллен*, ученый. *Ремон де-Сен-Марк*. *Ремон де-Сент-Альбен*, автор книги *Комедиант*. Г-жа *Риккобоцц*. *Робер де-Вогонди*, географ. *Руа*, автор превосходного пролога к *Элементам*. *Дю-Розуа*, автор *Поэмы чувств*. *Саж*, известный химик. *Сорен*, член Французской академии. *Секусс*, адвокат. *Седен*, автор нескольких комических опер. *Соре*, который то получал, то только оспаривал премию Французской академии. Маркиза *де-Сен-Шамон*. Граф *де-Сенектер*. *Тибу*, знаменитый печатник. *Титон дю-Тийе*, автор *Французского Парнаса*. *Туссен*, автор книги о нравах. *Фаган*. *Фавар*, автор пьес с музыкой и пением. *Де-Фуши*, непреременный секретарь Академии наук. *Фюзелье*. *Флонсель*. *Фужеру-де-Бондаруа*, член Академии наук. Ученый *Фурмон*. *Фурнье*, гравер и словолитчик. *Шамуссо*, патриотический писатель. *Ла-Шоссе*, драматург. Председатель *Эно*.

Без сомнения, я пропустил несколько имен, но мне хотелось бы, чтобы про них сказали: *Præfulgebant Cassius et Brutus, eo ipso quod eorum effigies non visebantur*¹.

Если прибавить к тому же, что не было ни одного знаменитого человека, родившегося в провинции, который не приехал бы в Париж для усовершенствования своего таланта и не остался бы здесь на всю жизнь, который не

¹ Блистали Кассий и Брут именно потому, что не видны были их изображения.

умер бы здесь, не будучи в силах покинуть этот великий город, несмотря на всю свою любовь к родным местам, то вереница просвещенных людей, сосредоточенных в одном месте, между тем как другие города королевства представляют собой бесплодные пустыни,—вызовет на глубокие размышления о действительных причинах, которые гонят литераторов в столицу и удерживают их здесь точно силою волшебства.

В то время как природа расточает свои драгоценные дары этим людям, столь отличным от толпы,—Фортуна, точно в отместку, отказывает им в своих милостях; и в этом отношении ее злоба весьма стара. Демосфен был сыном кузнеца, Вергилий—булочника, Гораций—вольноотпущенника, Феофраст—тряпичника, Амио—кожевника, Ла-Мот—шапочника, Руссо (поэт)—башмачника, Мольер—обойщика, Кино—булочника, Флешье—свечного мастера, Роллен—ножевщика, Массийон—кожевника. Женевский часовых дел мастер был отцом Жан-Жака Руссо; господа Карон де-Бомарше и экономист Дюпон—тоже сыновья часовщиков.

Почти все прославившиеся в области искусств, литературы и наук и обогатившие своими произведениями сокровищницу человеческого ума,—в молодости знавались с суровой нуждой и подвергались, выражаясь словами Меровпы*, *презрению, сопутствующему бедности.*

Гомер нищенствовал; Тассо, Мильтон и Петрарка часто нуждались; Корнель умер в бедности; Буланже бродяжничал; Жан-Жак Руссо умер... не смею здесь этого произнести.

Пенсии, которые в наши дни монархи раздают литераторам, назначаются не тем, которые наиболее их заслуживают своими сочинениями, и не тем, которые наиболее в них нуждаются. Все, вплоть до литературных званий, приобретается искоманием, влиянием, интригами.

302. Носильщики

Почти на всех перекрестках у нас имеются *Геркулесы* и *Милоны Кротонские*, переносящие мебель и разносящие товары. Вы знаком подзываете их к себе, и они поступают в ваше полное распоряжение вместе со своими крюками. Они ждут работы, прислонясь к уличным тумбам. Вы думаете, это люди исключительно высокого роста, краснолицые, полные, с сильными ногами? Нет; они бледны, коренасты, скорее худы, чем толсты; они не столько едят, сколько пьют.

Они всегда готовы взвалить себе на спину любой груз. Слегка согнувшись, опираясь на толстую палку, они тащат на себе такие тяжести, которые убили бы лошадь. Они несут их с необычайной легкостью и ловкостью по улицам, загроможденным экипажами: то это какое-нибудь колоссальное зеркало шириной во всю улицу (в нем танцуют дома, мимо которых его несут), то драгоценный и хрупкий мрамор, шедевр искусства. Кажется, будто носильщики обладают особо острой осязательной способностью и что она передается также и грузу, который они на себе тащат;

благодаря целому ряду искусных уловок, поворотов и обходов им удается избежать опасного столкновения с неудержимо стремящейся толпой. Они останавливаются или ускоряют шаг как раз во-время; они дают знать о своем приближении громкой бранью; не снимая поклажи, они грозят прохожим своими палками и, в конце концов, несмотря на все камни преткновения, благополучно достигают цели, ничего не сломав; им совершенно безразлично, идти ли по сухой мостовой или по грязной и скользкой.

С одного конца города на другой они переносят на длинных носилках фарфоровые вещи, и, если в пути на них ничего не свалится из какого-нибудь окна, то ни на одном блюде, ни на одной чашке не окажется ни малейшей трещины.

И знаете ли, какие мускулы больше всего работают у этих носильщиков? Мускулы ног. Взгляните на них: вы увидите, что ноги их все время дрожат, нечувствительно для самих носильщиков, но тем не менее заметно на глаз.

Когда в морозные дни колеса скользят по мостовой и экипажи, скатываясь к канавам, цепляются один за другой, извозчики слезают с козел, спиною приподнимают экипаж и разбирают колеса, не прибегая к посторонней помощи, хотя нередко в карете сидят четверо, да, кроме них, лежит еще два-три сундука. Как сильны позвонки человека!

Валится ли какая-нибудь телега, везущая колоссальную каменную плиту, шестьдесят услужливых рук приводят все снова в порядок; в другом месте на это потребовалось бы целых

шесть часов, здесь все устраивается в мгновение ока.

Ломается ли пас у кареты, отказывается ли служить колесо, экипаж поднимается почти с такой же быстротой, с какой упал. Вам говорят: *Сейчас здесь произошел несчастный случай*, а от него не осталось уже и следов: носильщики, стоявшие на ближайших перекрестках, с громадным рвением оказали безвозмездную помощь. Как только на улице образуется затор, они прибегают и немедленно расчищают путь. Эти услуги, повторяющиеся изо дня в день, должны бы как-нибудь вознаграждаться.

Говорят, что в Турции носильщики таскают на себе тяжести весом до семисот и восьмисот фунтов; наши до этого еще не дошли. Грузчики, носящие на новом Крытом рынке муку, считаются самыми сильными; у них головы точно втиснуты в плечи, а ноги совсем плоские; их позвонки, деревянные, сгибают спинной хребет, который так навсегда и остается согнутым.

Эти люди отнюдь не обладают исключительной силой; они были бы плохими борцами, плохими боксерами, неловкими гребцами или пильщиками. Но они приучили себя к ношению на спине или шее громадных тяжестей и великолепно изучили на практике законы равновесия. Ловкость важнее силы; не бойтесь, что они вывихнут себе руку или ногу, таская непомерные грузы: в анналах хирургии такие случаи крайне редки.

Но на что действительно тяжело смотреть, так это на несчастных женщин, которые с тяже-

лой корзиной за плечами, с покрасневшими лицами, с налитыми кровью глазами встречают рассвет на грязных улицах или на подмерзших мостовых, когда образовавшийся за ночь лед трещит под шагами первых прохожих. В такую гололедицу жизнь насильщиц подвергается опасности, невольно страдаешь за них, несмотря на то, что в них осталось мало женственности. Работа их мускулов не видна, как у мужчин; она скрыта, но вы ее угадываете по вздувшимся шеям, по тяжелому дыханию, и вас охватывает глубокая жалость всякий раз, когда они на ходу в изнеможении произносят крепкое ругательство надорванным, визгливым голосом. Вы чувствуете, что их голос не был создан для этих резких, грубых слов, а тело—для ношения таких невероятных тяжестей; вы это чувствуете, потому что ни загар, ни ежедневный труд, ни огрубелые мозолистые руки не в состоянии превратить их в мужчин. Под толстой, грубой и грязной одеждой, под жесткой кожей они сохраняют еще свои природные формы, те самые, что дают вам возможность на балу в Опере узнавать под масками, в домино герцогинь. Для чуткого человека эти несчастные созданья—все же женщины; они внушают ему глубокую жалость. Как случилось, что женщины оказались у нас доведенными до необходимости исполнять работу, столь не соответствующую их природным силам? И можно ли сказать, что народ, держащий их взаперти, более жесток, чем тот, который отдает их в жертву безжалостному, непрерывному труду?

Какой резкий контраст! Одна пошатывается-

ся, обливаясь потоком под непомерной тяжестью тыкв и других овощей, и громко кричит: *Берегись! Дорогу!* Другая, проезжающая в легком экипаже, колеса которого едва не задевают громадную, полную до краев корзину, набеленная и наруганная, с веером в руках, гибнет жертвой изнеженности. Не верится, что это два существа одного и того же пола! А между тем это так!

Иногда носильщик в один прием захватывает своими крюками решительно всё имущество какого-нибудь бедняка: кровать, матрац, стулья, стол, шкаф, кухонную утварь. Все это добро он выносит с пятого этажа и снова поднимает на шестой. Одного рейса ему достаточно, чтобы перенести все движимое и недвижимое имущество несчастного. Носильщик богаче этого бедняка, так как хозяин вещей заплатит ему за одну только их доставку, быть может, десятую часть их стоимости. Увы! Бедняк вынужден менять квартиру каждые три месяца, так как вскоре оказывается не в состоянии платить по контракту. И его постоянно гонят с одной квартиры на другую.

«Могу ли я его жалеть?—скажет хозяин квартиры.—Не должен ли я сам платить *домовладельцу?*» А домовладелец скажет: «Не должен ли я платить королю одну десятую своих доходов, да еще *восемь су* с каждого ливра, которые только что накинули?» Это неизменный предлог, чтобы не оказывать ни малейшего снисхождения бедным.

При рождении *сына Франции** все грузчики, носильщики портшезов, трубочисты и во-

доносы объединяются в корпорации и во главе с музыкой, т. е. с несколькими скрипачами, отправляются в Версаль, где испрашивают себе аудиенцию у короля. Они ждут в *Мраморном дворе* появления короля на балконе и приветствуют его, держа в руках атрибуты своего ремесла, причем нередко развлекают публику забавными шутками.

То это какой-нибудь трубочист, спрятанный в трубе, которую несут на носилках четверо его товарищей. Он неожиданно высовывает голову из отверстия трубы и обращается оттуда к королю с приветственной речью. Он говорит, что оберегает от пожаров дома его славной столицы. То носильщики портшезов приносят громадное чучело, одетое в расшитое лилиями платье; чучело держит в своих мощных объятиях крошечного младенца и награждает его нежными поцелуями.

Рыночные торговки пользуются особым преимуществом: их пускают на самую галлерею, где они отдельно от остальных приветствуют короля; но они делают это стоя на коленях. Затем их угощают обедом в большой придворной официантской, где их принимает один из старших официантов дворцового управляющего. Обед бывает великолепный.

Вернувшись в Париж, рыночные торговки с торжествующим видом прогуливаются по городу и докладывают Крытому рынку об оказанном им приеме. И в течение полугода рынок бывает очень доволен Двором. Если король в это время приезжает в Париж, громкие голоса здешних торговцев и торговок, дающие сигнал

площади Мобер и другим рынкам, кричат: *Да здравствует король!*—так громко и рьяно, что становится даже страшно.

Все подобные приветствия и поздравления сочиняются писателями, которые забавляются этим втихомолку и сочиняют такие речи удачнее, чем вещи, под которыми им пришлось бы подписаться. Мне попадались среди этих пустячков довольно остроумные вещицы; далеко не все они известны, многие из них так и остались неизвестными. Древний праздник *Сатурналий**, преисполненный мудрости и веселья, у нас никогда не возродится; а между тем, я думаю, все бы выиграли хотя бы с точки зрения простой забавы, если бы попробовали это сделать, пусть хоть один только разик.

303. Дыни

Дыни, выращиваемые в окрестностях Парижа, хороши только с виду. Тот, кто едал превосходные ломбардские или вкусные голландские дыни *канталупки*, не может прикоснуться к этой дряни, присвоившей себе название одного из лучших плодов мира. У нас дыни до такой степени выродились и сделались столь вредными для здоровья, что в осеннее время, около 25 сентября, полиция бывает вынуждена запрещать их продажу и предписывает выбрасывать их в реку.

Оранжереи, выстроенные по новому образцу, с приподнятыми стеклами, лучше концентрирующими солнечные лучи, смогут, без сомнения, доводить эти фрукты до той зрелости, которая сделает их менее вредными.

Но самое вредное для здоровья—это тыква, если не считать устриц, которых привозят в конце октября из Дьеша или Канкаля. Никому не советую есть устриц в это время года, до наступления первых холодов. Полиции следовало бы в данном отношении присматривать за парижскими гурманами, как нянька смотрит за детьми.

304. Девушки на выданьи

Число перезрелых девушек громадно. Нет ничего труднее заключения брачного контракта, и не столько потому, что эти узы вечны, сколько потому, что нужно нотариальным порядком выделить невесте соответствующее приданое. Некрасивые перезрелые девушки изобилуют, но и хороше́ньким не без труда достается замужество. Быть может, следовало бы возобновить в Париже обычай, существовавший у вавилонян. Там всех девушек, достигших брачного возраста, приводили на городской базар. Являлись юноши; они, естественно, покупали самых хороше́ньких, а вырученные деньги шли на приданое дурнушкам.

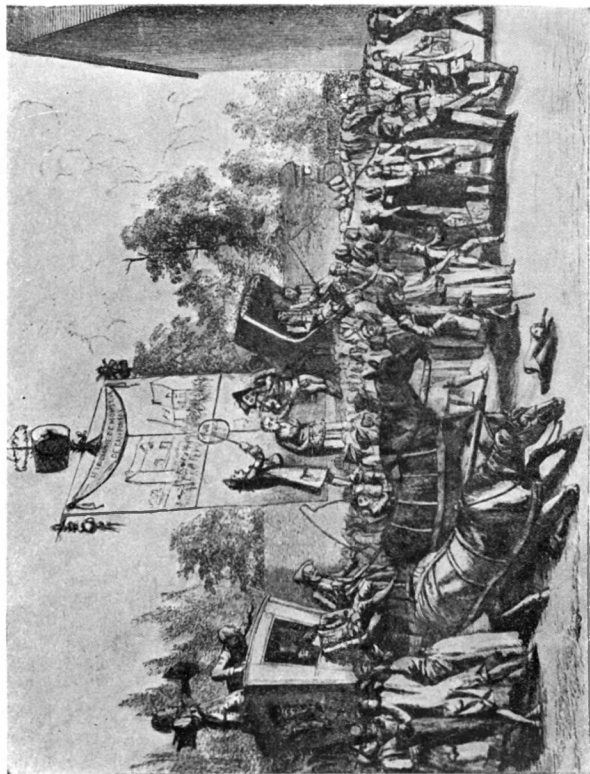
Мы видим, что брак превратился в тяжелое ярмо, которого всеми силами стремятся избежать; видим, что с недавних пор в безбрачии стали усматривать более приятное, более надежное и спокойное положение. Девушка, по собственному желанию не вышедшая замуж, представляет теперь далеко не редкое явление в среднем классе. Сестры или подруги устраиваются на совместную жизнь и преумножают

свои средства, помещая их в пожизненную ренту. Не представляет ли собой это добровольное отречение от уз, искони дорогих женскому сердцу, эти противобрачные воззрения в высшей степени замечательного явления в наших нравах?

У лакедемонян женщины ежегодно секли в храме Венеры холостяков. Что сказал бы Ликург, если бы узнал, что наши современные барышни пренебрегают брачным алтарем, избирают безбрачие, которое они всячески защищают и восхваляют, и пользуются свободой почти наравне с мужчинами, свободой, которая ни у одного народа в мире никогда не была уделом женщин!

Что же получается в результате такого странного беспорядка? Обеспеченные люди, не вступающие вовсе в брак, или вступающие в него поздно, почти не имеют детей; отважные нищие, женящиеся слишком рано, производят их множество, а в силу этого богатства сосредотачиваются все в меньшем и меньшем числе рук, и в классе, которому они были бы наиболее нужны, их меньше всего.

Все слои общества изобилуют старыми девами, которые пренебрегли обязанностями жён и матерей и только и делают, что бегают из дома в дом. Избавив себя от горестей и радостей брачной жизни, они не должны притязать на внимание и уважение, которое заслуживают матери семейств, окруженные потомством; и было бы правильно считать старых дев бесплодными лозами, которые, вместо того чтобы приносить плоды,—выращивают под солнечными лучами только скудные желтые листья.



Вход в кабачок Рампоно
С гравюры неизвестного художника

Все эти престарелые девы обычно более злобны, хитры, надоедливы и скупы, чем женщины, имевшие в свое время мужа и детей.

Следовало бы обложить холостяков и старых дев особой податью; разрешать подросткам обоих полов давать обеты (принудительные или безрассудные) не иначе как по достижении определенного возраста, и притом более зрелого сравнительно с тем, какой допускается теперь, и отменить безбрачие солдат, вызывающее безбрачие девушек, тем более, что женатые солдаты были бы храбрее и крепче привязаны к своей родине. И наконец, законодателю следовало бы вновь вызвать к жизни *былые браки с левой руки**, чтобы уменьшить препятствия к заключению браков. В прежние времена наложница не считалась бесчестной женщиной. Желая чрезмерно обуздать свободу мужчины, его толкнули на новые заблуждения. Здесь уместно будет напомнить, что *зачастую сам закон порождает грех.*

305. Визиты

Визиты отнимают много времени. Мало того, что вы расписываетесь у швейцаров: бывают дни, когда вы принуждены путешествовать из дома в дом, чтобы раскланяться, присесть, произнести несколько ничего не значащих слов и затем исчезнуть, чтобы проделать то же самое в соседнем доме. Ходить из особняка в особняк является особым занятием и трудом.

Всем нуждающимся в протекции приходится поневоле делать визиты великим мира сего.

Долг, гордость, алчность заставляют проходить целый ряд передних. Просители страдают, ворчат себе под нос и терпят общую участь. Лакей, который непременно обязан обладать прекрасной памятью, громко произносит фамилии входящих: предусмотрительный обычай! При входе женщин раскрывают настежь обе половинки двери. Вот когда звание и титул ласкают слух их обладателя: одно голое имя заключает в себе нечто постыдное.

В настоящее время формулы первых приветствий значительно сокращены. Вы можете, если желаете, сесть, не произнося почти ни слова. Вновь прибывшая занимает ближайшее к хозяйке кресло; потом уступает его в свою очередь следующей и так далее. Женщины оглядывают друг друга с ног до головы, строя друг другу гримасы. Это момент, когда сообщаются последние новости, так что то или иное событие, случившееся в восемь часов вечера, в десять делается достоянием всего Парижа. Его передают уже со всевозможными комментариями и остроумными словечками, которые становятся его приговором, а на другой день о нем уже неудобно будет говорить.

После обмена новостями переходят к обсуждению каких-нибудь новых теорий, но разговор этот быстро иссякает, если только не выступает какой-нибудь морской офицер, который пользуется случаем прочесть публичную лекцию о лоцманском искусстве¹.

¹ Известен ли морским и пехотным офицерам стиль Тюреяна*? Вот как он писал, выиграв большое сражение: *Неприятель атаковал нас, мы его разбили;*

Женщины стараются скрыть овладевающую ими скуку и ловко переводят разговор на новую оперу. С рей грот-мачты приходится спуститься к фаготам оркестра и беседовать о гармонических бурях. Сейчас, когда я это пишу, происходят бесконечные споры о музыке и о морском флоте. Почему эти споры длятся так долго? Потому что в обществе никак не могут сговориться.

У профессиональных говорунов имеется определенный репертуар, которым исчерпывается весь их ум. Они не считают нужным его разнообразить; многие из них способны вас поразить, *но всегда лишь на один раз*. Я сам, как и многие другие, попался на эту удочку.

306. Уединение

Живя в Париже, вы всегда, если хотите, можете уединиться, что совершенно невозможно в других городах. Вы объявляете, что на месяц уезжаете в деревню, и можете быть уверены, что в течение этого месяца никто не будет вам досаждать. Привратник прекрасно помогает вам *путешествовать*, в то время как вы в одиночестве дуетесь в своем углу. Привратник в таких случаях исполняет роль почтовых лошадей.

Я прочитал как-то стихотворение, озаглавленное: *Послание к моему дверному замку*. Идея была довольно забавная: какой-то философ

слава всевышнему! Мне пришлось трудновато. Желаю Вам спокойной ночи; ложусь спать.—Прим. автора.

крупными буквами написал на двери своего кабинета три слова: *Щадите мое время*. Но помогло ли это ему избавиться от надоедливых гостей? Сомневаюсь. Против докучливых посетителей существует только одна крепость—дверной замок. А потому не следует сочинять к нему никаких посланий, а следует просто-напросто его запирать.

Какое множество ненужных связей, ненужных дружб! В жизни благоразумного человека наступает время, когда ему следовало бы на чем-нибудь остановиться; когда он должен был бы испытать своих знакомых и освободиться таким путем от тысячи забот, которыми так называемые друзья обременяют человека в ущерб друзьям настоящим. Мудрость и философия от этого только выиграли бы, а человек научился бы беречь время и тем самым избежал бы поздних сожалений о его потере.

Некоторые люди так устали от своего собственного общества, что могут существовать, только когда в комнате находится еще три-четыре человека, присутствующие при их вставании и туалете.

307. Афиши

Ежедневно, с раннего утра, появляются афиши о пьесах, которые вечером будут даны в трех главных театрах, а этому примеру следуют также бульварные и ярмарочные театры. Рядом появляются: *Аталия* и *Жанно у выводчика пятен*, *Кастор* и *Поллукс** и *Пляска дьяволенка*. Есть чем удовлетворить все вкусы. А ког-

да дело идет об удовольствиях, я считаю, что всякий прав по-своему, лишь бы только пьесы не были непристойными. И они перестанут быть такими, когда актеры не будут одновременно и блюстителями нравственности.

Кто поверит, что существует множество бедных людей, которые не ходят в театр, а ограничиваются чтением афиш и утешают себя тем, что знают, где какую пьесу ставят! Они берут ее у кого-нибудь взаймы, прочитывают перед сном и в мечтах представляют себе, что видели ее на сцене.

Запрещено вывешивать какие-либо объявления без разрешения начальника полиции, и, чтобы объявить о пропаже собаки или браслета, вы должны получить подпись соответствующего чиновника.

Правда, существует особое бюро, где продаются бланки с заготовленной подписью; это содействует скорейшему розыску пропавших болонок, попугаев, муфт и тросточек.

В Париже можно печатать без разрешения только два рода объявлений: *уведомления о похоронах* и *пригласительные билеты на свадьбы*. Но подобная вольность не сможет долго существовать при правительстве с безукоризненно поставленной полицией, и скоро строгие правила, несомненно, подчинят и эти билеты наблюдению какого-нибудь цензора и одобрению господина канцлера или господина министра юстиции, ибо нельзя же допустить, чтобы вступающий в брак или мертвец, как бы они ни спешили, печатали билеты без спроса. Это неуместная дерзость, прямое посягательство на *власть!*

Некоторые частные лица (я их выдаю), берут на себя смелость печатать без особого *мандата* и без *привилегии* свои визитные карточки, называя себя *графами*, *маркизами*, *баронами*, *кавалерами* и даже просто *адвокатами*. Но ведь они могут незаконно присваивать себе эти титулы! Скорей же сюда королевского цензора, чтобы он *рассмотрел* и *одобрил* все эти карточки, которые потом будут оставлены у привратника или всунуты в дверной замок. Какая, в сущности, разница в том, на чем печатать—на *карточке* или на *бумаге*? Типографский шрифт не должен никогда касаться клочка бумаги, если на то нет требуемой *подписи* и *скрепы*. Ведь мало ли что можно поместить на визитной карточке! Об этом обычно забывают, и очень некстати: чиновников министерства юстиции это крайне тревожит...

Расклейщик объявлений должен иметь на животе медную бляху, которая дает право прибавать и приклеивать к стенам театральные афиши и прочие объявления, касающиеся продажи книг, владений и тому подобного. Эти же расклейщики¹ выкрикивают и продают объявления о приговорах над преступниками и радуются казням, так как это дает возможность и им и типографу заработать немного денег.

Все эти афиши на следующий день срываются и заменяются новыми. Если бы рука, которая их приклеивает, не уничтожала их впоследствии, то, в конце-концов, все улицы

¹ Их сорок, как и членов Французской академии.
Прям. автора.

оказались бы заваленными своего рода картоном, плодом грубого смешения возвышенного и низкого: *епископское послание, шарлатанские объявления, приговоры парламентского суда, приговоры совета, отменяющие их, наложение ареста на имущество, распродажа после покойника, торги, церковные послания, пропавшие собаки, приговоры Шатле, обращения к набобжым душам, марионетки, проповедники, истолкование таинства евхаристии, драгунский полк, эластичные бандажки и проч. и проч.*—словом, множеством самых разнообразных бумаг, которые публика всегда имеет перед глазами, но никогда не читает и которые служат только для прикрытия голых стен.

Если бы народ привык читать эти объявления, он, может быть, научился бы менее уродовать орфографию. Но ему нет дела ни до орфографии, ни до всего того, о чем гласят бесчисленные афиши.

Некоторые судебные приговоры достигают шести футов в высоту и трех в ширину, причем напечатаны они бывают очень мелко. Какой чудовищный поток никому ненужных слов! На эти плакаты смотрят с удивлением, и никто их не читает. В них говорится о запутанной тяжбе между двумя лицами, дошедшими до полного разорения, и всего-то ради того, чтобы оклеить исписанной бумагой часть стены! Эта ненужная литература обходится иной раз в шестьдесят тысяч франков. Одни только судебные регистраторы да акцизные находят этот стиль превосходным и необходимым.

Имена нотариусов, прокуроров, судебных

приставов и других крупным шрифтом написаны на всех перекрестках, но от этого все эти господа не стали знаменитостями. Они у всех на виду и все же никому неизвестны. За недостатком известности они набивают себе карманы деньгами: переписанная набело опись имущества приносит куда больше, чем хорошая книга.

Театральные афиши делаются в красках, но их прибивают слишком высоко. Семь-восемь таких афиш располагаются лестницей: наверху *Гранд-Опера*, канатные плясуны и акробаты— в самом низу. Но чаще, из уважения, афиши о *бульварных спектаклях* помещаются поодаль от афиш *трех главных театров*. Вот что значит порядок и субординация!

308. Картины, рисунки, эстампы и прочее

Дорого обходящаяся и бессмысленная манья коллекционирования картин и рисунков, за которые платят бешеные деньги, мне совершенно непонятна. Нет более мелочной и нелепой роскоши, если не считать бриллиантов и фарфора. И не потому, чтобы та или иная картина не стоила заплаченных за нее денег, а потому, что дико, смешно и непристойно тратить их на произведения живописи, приносящие человеку лишь весьма ограниченную пользу и наслаждение.

Пусть принцы устраивают себе всевозможные коллекции,—это их долг по отношению ко всякого рода искусствам. Но когда этим начинает заниматься частное лицо, то колоссальные

затраты на коллекцию, которая все же будет неполной, несомненно мешают ему быть хорошим отцом, хорошим другом, щедрым гражданином: все его деньги идут на размалеванные холсты. И чем больше у него будет картин, тем больше ему захочется приобретать. Его дом, семья, все окружающие почувствуют на себе громадные жертвы, которые он будет неизменно приносить своей мании, а особенность этой мании состоит ведь в том, что она никогда не удовлетворяет того, кто ею одержим.

Так как здесь всегда возможны и очень часты оплошности и ошибки, то создается новый источник беспокойства и огорчений; упрямство заменяет художественный вкус и безумная жажда новых приобретений мешает спокойно наслаждаться уже приобретенным.

Я никогда не мог понять, почему нельзя довольствоваться хорошей копией за неимением оригинала. Часто самый изощренный глаз колеблется, не зная, которой из двух картин отдать предпочтение, и если есть возможность приобрести тридцать прекрасных картин за те деньги, каких стоит одна подлинная, то для чего разорять себя, приобретая эту единственную?

Некто продал свои дома и земли, чтобы составить коллекцию эстампов. Он держит их в папках, которые открывает не чаще четырех раз в год. И до сих пор, с трудом волоча ноги, он все еще является на аукционы, кричит судебному приставу задыхающимся голосом: *Одно су!* и, обзаведя самого себя вслух сумасшедшим, уносит домой приобретенный лист. Ему нужны сильные очки, чтобы любоваться своей

покупкой. После его смерти все это попадет в разные руки, и *дело*, на которое он потратил столько сил, никогда не будет завершено.

Старой картине, наполовину стертой временем, так что на ней нельзя уже ничего разобрать, отдается предпочтенье перед современной, интересной картиной, краски которой свежи и приятны. В чем же заключается недостаток этой последней? В том, что написавший ее художник еще жив!

Частные лица должны предоставить привилегию вкладывать громадные суммы в картины и статуи принцам и великим мира сего, богатства которых чрезмерны. Тратить все свое наследство на разные редкости—безумие; забывать же родных и друзей ради картин и гравюр—порок. Искусства созданы для того, чтобы красоваться в общественных залах, а не в частных кабинетах. Неумеренный их любитель—не кто иной, как маниак.

До сих пор на наших сценах еще не высмеивали это разорительное безумие; оно безусловно заслуживает кисти комедиографа.

309. Аукционы

Но наши вельможи под именем *любителей редкостей* в большинстве случаев являются только сановными старьевщиками, покупающими подержанные вещи без надобности, без страсти, только для того, чтобы приобрести по *дешёвке* драгоценности, лошадей, картины, старинные эстампы и прочее. Они устраивают у себя конские заводы или кунсткамеры, кото-

рые вскоре превращаются в склады. Их принимают за страстных любителей искусств; в действительности же они любят только деньги.

Эти вазы, бронза, картины, все эти шедевры, которыми они будто бы дорожат и перед которыми преклоняются, сделаются собственностью каждого, кто только захочет освободить от них их владельца, дав ему золота. Самая древняя медаль не останется в *медальном шкапце*, несмотря на всю пышность обстановки ее владельца: она будет продана. Эти украшенные орденами торговцы перехватывают таким образом прибыль настоящих коммерсантов, и, хотя они и говорят, что покупают исключительно для того, чтобы поддерживать художников, в действительности они являются для них длинными тиранами.

Впрочем, настоящая цена картин выясняется именно на аукционе, где они не производят ложного впечатления, как в салонах своих гордых владельцев. На аукционах выгодная роль этих захватчиков и неучей кончается; там мнимые знатоки видят, как их баснословная оценка сводится к нулю; там высокомерная французская школа учится сбавлять спесь. Художник может называться сколько ему угодно *первым придворным живописцем*, — его картина в четыре фута вышиной идет за десять эю (стоимость холста). Судебный пристав не делает ей никакого снисхождения и безжалостно отдает ее покупателю, который украсит ею свою закоптелую переднюю или столовую.

Филипп, герцог Орлеанский*, регент королевства, любил забавляться искусством, но

рука его высочества, так искусно приводившая в движение Европу, в живописи не превосходила талантом самого жалкого маляра. Что же получилось? Главная его картина, хотя и украшенная его именем, последовательно изгонялась из всех собраний и в настоящее время находится в одном из коридоров Тюильри, тщетно надеясь привлечь покупателя, который приютил бы ее. Ее осматривают, читают августейшее имя, улыбаются, но никто не желает дать за нее тридцать шесть ливров, что доказывает, что в области искусств, которыми руководит гений, подкупить публику титулами нельзя.

310. Шляпы

Парижанин с одинаковой легкостью меняет свои взгляды, свои причуды и моды. Форма наших шляп, как и все человеческое, пережила целый ряд изменений. Головные уборы, красующиеся в шляпных лавках, сменяют друг друга, подобно новым методам в царстве науки. В течение некоторого времени *высокая и остроконечная шляпа* одерживала верх над всеми другими, подобно тому как это было с *академическим стилем*, который теперь начал, наконец, сдавать и которому больше уже не подражают.

Эта склонность к разнообразию, эта страсть, толкающая нас к созданию новых мод, заставляет нас принимать все, что в шутку или из пустой прихоти выдумывают принцы, будь то *пряжки громадных размеров* или *фрак*. Так, Алкивиад дал свое имя башмакам особого фа-

сона, и его тщеславие бывало польщено всякий раз, когда при нем говорили, что эти башмаки—его создание.

Иногда та или другая мода создается в силу особых соображений и выгод. Первообраз современных *панье** был выдуман, чтобы скрывать от глаз публики незаконную беременность и маскировать ее до самого последнего момента. Большие манжеты были введены шулерами, чтобы удобнее было плутовать за игрой и передергивать карты.

Мы понемногу убавляли поля широких фетровых шляп, сделали из больших маленькие и кончили тем, что совсем уничтожили *все три* до крайности неудобных *угла*. Сейчас наши шляпы совершенно круглы,—именно это и модно.

Их больше уже не носят подмышкой по утрам: они покрывают благороднейшую часть нашего тела, для которой и сделаны. Разве видали когда-нибудь турка, который держал бы свой *турбан* подмышкой, или епископа с *митрой* в руках? Будем же постоянно носить шляпу на голове, чтобы предохранять свои слабые мозги от солнечных лучей, и пусть этот бесценный купол препятствует испарению наших мозгов. Не смешно ли было постоянно держать шляпу в руке, выдвывая ее всевозможные манипуляции, согласно правилам вежливости и жеманства?

Я не собираюсь писать здесь историю шляп, я не коснусь засаленных шляп Людовика XI, который носил их такими в силу своей неопрятности и скупоности; равным образом не буду

говорить о волшебной силе, присущей некоторым шляпам: одни превращают плохого священника в знатного вельможу, другие—идиота в доктора. Вы знаете, какой эффект производит подбитая мехом шляпа на голове гренadera?! И наконец, разве корона не представляет собою убора, вызывающего своеобразное опьянение?

В юности я видел шляпы с очень большими полями, которые в отогнутом виде были похожи на зонты. Поля шляп то поднимали, то опускали при помощи особых шнурков. Позднее им придали форму *лодки*. В наши дни круглая и ничем не украшенная форма является господствующей. Шляпа — это Протей, принимающий все формы, какие ему желают придать.

Это могут подтвердить женщины, которые после многократных проб окончательно остановились на *английской шляпе*, несмотря на всю свою ненависть к Англии. С своей стороны я советую им придерживаться этого фасона. Пусть они при желании украшают ее жемчугом, бриллиантами, перьями, шнурами, лентами, кисточками, пуговицами, цветами, пусть поэты в своих творениях подвязывают к ним звезды, кометы, пусть они будут всех цветов—красные, зеленые, черные, серые, желтые,—но только пусть женщины никогда не расстаются с *английской шляпой*: дурнушки от этого только выиграют и красивые—тоже.

У нас, таким образом, вывелись и шляпы-пигмеи и шляпы-колоссы. Когда мужчины начали носить маленькие шляпы, дамы стали делать до смешного высокие прически. Теперь

же, когда мужские шляпы увеличились в объеме и округлились,—женские прически сделались несравненно ниже.

Один поэт написал:

Я видел Кларису, Елену младую:
Головка повязкой тугой обвита,
А тело стонало, на плен негодую,
Как в клетке охвачено усом кита.
Их кудри над ними вздымались высоко,
Макушку венчал горделивый султан,
И вдруг Медицейской красы без упрека—
Венеры узрел я пленительный стан;
Округлые формы ласкали мне око,
Как все было стройно, естественно в ней!
Любуясь, я думал: «Кларисе моей
Искусство внушает быть много дурней».

Сейчас мужчины и женщины носят шляпы гораздо лучше прежних. Во всяком случае, сидя в карете, мы можем откинуться в самый угол, не боясь выколоть соседу глаз острыми концами треуголки. Ее еще продолжают носить подмышкой в парадных случаях, но это случается теперь не чаще двух раз в неделю—в дни торжественных приемов. Теперь даже во время спектакля вы можете увидеть людей из общества со шляпой на голове.

Последний каприз моды, по-моему, самый лучший: он касается цвета шляп. Они теперь больше уже не черные, а белые, как у кармелитов и у фельянтинцев, принявших этот цвет более века назад. Летом это особенно удобно, так как в белой шляпе солнце не так печет голову. Сначала это кажется немного странным, но глаз ко всему привыкает. Какие бы шляпы ни носили—красные, синие, яркозеленые,—все

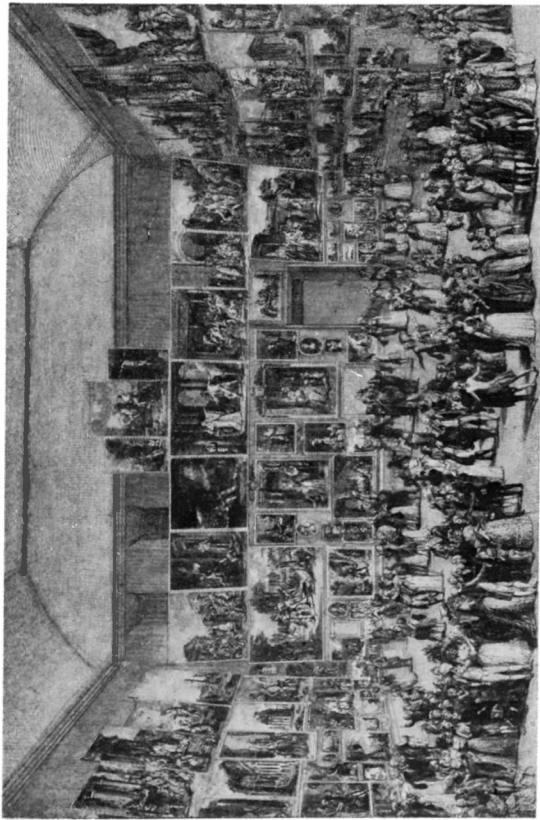
равно привыкли бы ко всему: каждый выбрал бы себе цвет по вкусу. Получилось бы совершенно своеобразное зрелище.

Обычно начинают с того, что новую моду забраковывают; каждый негодует на безрассудное пристрастие к новшествам; но через месяц даже самые ярые критики с ней примиряются, и тот, кто еще вчера не признавал ее, завтра будет отстаивать то, против чего он только что возражал.

Нам суждено наводнять мир новыми чепцами, так воспользуемся своим изобретательным гением и станем надевать и мужские шляпы нашего изделия на швейцарские и голландские головы. Будем попрежнему законодателями в этой области. Все женщины носят наши шляпы. Нужно, чтобы они окончательно укоренились и в Вене, и в Берлине, и в Петербурге. И кто знает, не расширим ли мы и дальше, в качестве счастливых победителей, наши славные завоевания?!

311. Свадьбы

Пусть тот, кто когда-нибудь присутствовал на деревенской свадьбе и видел молодую пару, рука-об-руку, с любовно переплетенными пальцами, с простодушным желанием во взглядах, направляющуюся из своей хижинки в церковь, кто видел родителей, провожающих жениха и невесту в церковь, где они и сами когда-то венчались, кто видел парней-дружек, раздетых по-праздничному, с лентами на шляпах и с приколотыми сбоку букетиками, молодых



Выставка картин в Лувре в 1787 г.
С гравюры Мартини по его же рисунку

девушек в белых корсажах, бросающих в этот день на своих возлюбленных более уверенные взгляды, кто слышал немного резкие, но веселые звуки скрипки, замыкающей шествие, — тот пусть не рассчитывает увидеть под великолепными портиками наших храмов ни живой, искренней веселости, ни всей этой светлой картины откровенной, простодушной и непринужденной радости.

Здесь на празднование Гименея тратят большие деньги; направляясь к алтарю счастья, здесь не идут по зеленому луку вдоль цветущих изгородей. Здесь едут в закрытых каретах, надевают дорогие наряды; все утро занято парикмахерами. В церкви все уныло оглядывают друг друга, каждый шаг подчинен строгому церемониалу, и великолепная пара, в раззолоченных платьях, уже несет на челе печать скуки, которая будет ее спутницей во все дни жизни. Крестьянка, прежде чем закрепить свою клятву в верности перед деревенским священником, искренно полюбила. Парижанка, получая дорогое кольцо, клянется, еще не полюбив, что будет любить вечно.

Деревенское свадебное пиршество тоже резко отличается от столичного. Где простодушный смех, разостланные на траве скатерти, радость родных, до краев полный жбан вина, целый жареный теленок, разрезанный на куски? Где оживленные пляски и проявления неподдельного веселья? Где вы увидите седых старцев, вытирающих глаза, затуманенные слезами нежности? Где прочтете в бросаемых украдкой взглядах новобрачной ожидание близких на-

слаждений? Где взволнованный муж не скрывает своего нетерпения скорее увидеть первую загоревшуюся в небе звезду? Где молодая жена появляется на следующее утро слегка побледневшей, смущенной и счастливой, удивленной и торжествующей?.. Во всяком случае, не в городе.

Собрание родственников, которые долго перед тем не виделись и, едва пройдет этот день, снова надолго разъедутся, старики, скрывающие свою дряхлость, взаимный показ нарядов, размеренные реверансы и поклоны, злобные замечания, холодные комплименты, чопорные манеры, угрюмая и степенная важность — вот что составляет неотъемлемую сущность столичных свадеб.

Чтобы увидеть нечто похожее на свадьбы прежних времен, надо спуститься в среду мелкой буржуазии. Там они менее блестящи, но зато оживленны и шумны. Присутствует на такой свадьбе от восьмидесяти до ста человек, и все приглашенные по очереди отплачивают новобрачным таким же пиршеством. Эта цепь пирушек продолжается месяца три.

Трактирщики громко жалуются на то, что свадебные пиры с каждым днем становятся все реже, что теперь большинство молодых сразу же после свадьбы уезжает в деревню, чтобы не делать угощений. Трактирщики говорят, что радость исчезает, что в народе начинает господствовать тоска, раз находят возможным отказывать себе в хорошем обеде и выпивке в самый торжественный в жизни день, который наши предки праздновали безудержным пьянством,

не боясь осуждения. Деревенские скрипачи в свою очередь жалуются, что в наши дни не пляшут, как плясали в прежние времена.

У трактирщиков, недовольных современными свадьбами, пустуют громадные залы, в тщетном ожидании гостей и танцоров. Места хватило бы на бесконечно длинный стол и на веселый хоровод.

Простонародье еще танцует с воодушевлением и подолгу. Оно позже всех расстается с веселыми обычаями старины, несмотря на то, что у нас всячески стараются испортить все его развлечения.

На буржуазных свадьбах царит полная свобода выражений. Если бы собрать воедино все, что там произносится, то большинство шуток оказалось бы не очень-то тонкими, но они, во всяком случае, оригинальны, чего в высшем кругу не бывает. Буржуа в эти дни так хочет, что все прохожие узнают, что он пирует.

Один небогатый гражданин, от природы большой лакомка и, следовательно, любящий хорошо поесть (чего нельзя себе позволить, не имея порядочной ренты), придумал забавный способ ежедневно угощаться на чьей-нибудь свадьбе. Одевшись во все черное и очень чистенько, он все утро проводил или в церкви Сент-Эсташа, или Сен-Поля, или Сен-Сюльписа, или Сен-Рока, — словом, в больших приходах, и когда видел многочисленное свадебное шествие, спешил смешаться с толпой. Иногда ему приходилось даже выбирать, так как в день бывает нередко по три-четыре свадьбы разной руки в одной и той же церкви.

По окончании церковной службы начинается неизменное пиршество, заказанное заранее в каком-нибудь трактире. Обычай требует, чтобы родственники обоих молодых пировали за одним общим столом, причем часто случается, что многие из них видятся здесь в первый раз. Этим объясняется то, что родные мужа, видя в церкви незнакомца, думали, что он родственник жены; а родные жены полагали, что он со стороны мужа. И, пребывая в этой двусмысленной роли, наш герой прекрасно ел, сыпя направо и налево шутками; а вы, конечно, не сомневаетесь, что модный разговор и разные злободневные словечки были ему известны в совершенстве.

Такая комедия продолжалась около четырех или пяти лет, пока однажды один из присутствующих, видевший нашего приятеля в третий раз на протяжении недели, решил спросить его, с чьей он стороны. *Со стороны двери*, — ответил тот, вставая и бросая на стол салфетку. В это время уже ели сладкое.

Если празднование Гименея в деревне обходится дешево, если деревенский житель тратит на освящение брачных утех очень немного, то иначе обстоит дело в Париже. Там жених погружается в целое море расходов, связанных с требованиями роскоши и приличия, чтобы угодить своей будущей супруге и удовлетворить глупое тщеславие ее родни. А неделю спустя после свадьбы начинаются сожаления и жалобы. Счета поставщиков следуют друг за другом непрерывной чередой: от бриллианщика, от торговца тканями, от золотых дел мастера, портного, трактирщика, белошвейки, модистки, обойщи-

ка, зеркальщика, парикмахера. Плати, бедный муж, плати! За тебя только для этого и вышли. Неужели ты думал, что будешь наслаждаться даром?

Все это послужило сюжетом для красноречивой картины, где изображено, как приданое жены разлетается на части и попадает в руки и карманы великому множеству крупных и мелких торговцев. Муж грустным и удивленным взором следит за неуклонным исчезновением своих денег и горестно ощупывает пустые мешки, а вознаграждением за понесенный убыток ему служит навек связанная с ним жена, сверкающая мишурой своих уборов.

Первый ребенок поглощает последние остатки приданого; разочарованный муж становится раздражительным, начинаются взаимные упреки, и каждый в глубине души проклинает обманувший его брак и разорительную свадьбу, устроенную в угоду тщеславию.

312. Брак. Прелюбодейние

Нерасторжимость брака ведет к прелюбодейнию. Когда узел развязать нельзя, его разрывают. Что тут удивительного? Одна и та же форма брачного контракта существует для самых различных людей, не имеющих ничего общего ни по своим физическим качествам, ни по материальным средствам, ни по положению, ни по воззрениям! Здесь цепь была натянута слишком слабо; там—слишком туго; здесь она приобрела тиранический характер; там послу-

жила покровом корыстолюбия. Солдат, матрос, земледелец, судья, военный, писатель, торговец, почтальон—все порабощены одними и теми же обычаями.

И после всего этого—человека, следящего за поведением своей жены, называют ревнивцем и осуждают! Если же она ему изменяет, над ним издеваются. Закон, запрещающий развод, несмотря на несоответствие характеров,—весьма странный закон. Он царит в Париже, а что из этого получается? Сами знаете!

Какой переворот происходит в душе влюбленного мужа на другой же день после свадьбы или, самое позднее, неделю спустя! С какой высоты низвергаются надежды какого-нибудь честного ремесленника! Он думал жениться на бережливой, порядочной, внимательной к своим обязанностям женщине и неожиданно находит в ней расточительную особу. Она не желает сидеть дома; страсть к мотовству сочетается у нее с леностью. Легкомыслие, ветренность, сумасбродство являются на смену полезным занятиям, к которым ее приучали с детства. Вместо того чтобы упрочить в своем доме достаток и мир путем разумного труда, она предается безумной страсти к нарядам.

Кто бы мог подумать, что брак в такой степени изменит все ее природные задатки? Застенчивая, робкая девушка, трудившаяся в родительском доме, превратилась в требовательную, высокомерную женщину, думающую только о собственных удовольствиях, ибо она вбила себе в голову, что домашние обязанности должны всецело лежать на муже, а роль жены

заключается в том, чтобы предаваться рассеянной жизни.

Как бы ни был тот ремесленник трудолюбив и экономен, постоянная беспечность его жены подрывает дом, незаметно приходящий в полное разорение потому, что хозяйке недостает внимательности, нежности и бережливости.

Одно упущение обычно ведет за собой ряд других. Дети наследуют нищету родителей— и вот история половины браков, совершаемых в Париже в кругу второразрядной буржуазии.

В прежние времена прелюбодеяние каралось смертью; в наши дни всякий, кто заговорил бы об этом суровом старинном законе, был бы изрядно освистан.

Посмотрите все наши комедии,—не смеются ли в них всегда над мужьями; почитайте стихи наших поэтов легкого жанра,—они постоянно высмеивают брак, и их язвительность всех веселит. Эти шуточки представляют собой как бы непрерывную апологию прелюбодеяния: словно хотят, чтобы женщины поскорее поняли, что их прелести созданы не для того, чтобы принадлежать одному избраннику.

Все искусства восхваляют неверность, стараются внушить ее женщинам и уничтожить в их душе последние сомнения на этот счет. Что представляют собой наши картины, статуи, эстампы? Всевозможные удачные и ловкие *штучки*, проделываемые с бедным богом Гименеем! Наша живопись не целомудренней нашей поэзии.

Но в наши дни,—о преступная утонченность!—пошли дальше прелюбодеяния, иска-

зили самое священное установление, воспользовались самыми законами для того, чтобы освятить распутство и дерзко взрастить его плоды. Это растление нравов, этот небывалый срам—создание нашего века; это еще новое преступление, порожденное роскошью!

Богач сходится с девицей; он имеет от нее детей, которые признаются незаконными. Желая дать им имя и положение, он приказывает разыскать какого-нибудь человека, дворянина по рождению, но с душой, искалеченной разными невзгодами. Такого находят; с ним торгуются. Он происходит из семьи с очень хорошим именем, но неимущей; он был воспитан в гордой праздности и не имеет средств к жизни. Доведенный до крайности, он считает честь пустым звуком. Ему предлагают жениться на этой девице и признать ее детей своими. За это он получит пенсию, которой и будет кормиться в тиши какой-нибудь отдаленной провинции.

Сначала дворянин чувствует к этому некоторое отвращение; но золото—этот могущественный двигатель всех недостойных поступков,—золото убеждает его согласиться. Его введут к нотариусу, где он подписывает контракт, действительно обеспечивающий ему пенсию, но предварительно устанавливающий раздел имущества между супругами.

Представьте себе человека, встречающего на следующее утро в полутемной часовне четырех свидетелей, а перед алтарем молодую, прелестную девушку, которую он никогда раньше не видел: вот его будущая жена, но при условии, что она никогда не будет ему принадлежать.

Она только что вырвалась из объятий сладострастия с тем, чтобы по окончании обряда броситься в них снова. Супруг единственный раз коснется ее руки, когда священник будет произносить священные слова. Пройдет это мгновение, и муж будет навсегда разлучен с нею, так что, может быть, и не узнает лица той, с которой заключил брачный контракт... Кольца обменены, *да* произнесено той и другой стороной или, вернее, клятвопреступление и святотатство—совершены.

Выйдя из часовни, новобрачная, не поклонившись мужу, садится в экипаж, и через несколько минут она уже снова в постели, которую только что покинула; мужу платят за год вперед и у него теперь есть жена, но он не только не смеет явиться в ее дом, но не может даже жить в одном с ней городе. У него есть и будут дети, которых он в глаза не видал и не увидит, но которые будут носить его имя.

Он обрекает себя на изгнание и едет проедать постыдную пенсию в провинциальный городок, в то время как жена, выставляя напоказ брачный контракт и церковное свидетельство, публично хвастается купленным ею именем. Оно вырезано золотыми буквами на мраморной доске, красующейся на фасаде ее великолепного особняка, в то время как муж стыдится произнести его в своем уединении.

Вот что совершается на глазах у самого законодательства! И поруганный закон вынужден молчать, потому что против него с преступной ловкостью обратили его же собственные статьи; человек точно захотел в свою очередь

отомстить неумолимому, не в меру строгому закону.

Не лучше ли было бы не осуждать старинных смешанных, непринужденных браков, при которых женщина не бывала обесчещена, а ни в чем неповинные дети не страдали под гнетом отверженности и стыда?

Скажут, что нужен стиль Ювенала, чтобы громить такую распущенность, но что тут мог бы сделать самый пылкий сатирик?! Чем он помог бы? Упадок нравов чаще всего происходит от несовершенства законов, от ошибок и противоречий.

313. Книги маленького формата

Мания *маленьких форматов* сменила любовь к громадным полям, которые так ценились пятнадцать лет назад. Тогда приходилось ежесекундно перевертывать страницы; вы покупали больше чистой бумаги, чем текста. Но это нравилось любителям.

Некоторые граверы все еще продают эстампы или портреты так называемых *знаменитых* людей, знаменитых и к тому же еще живых; но все эти граверы далеко не стяжали себе той известности, какой пользовался господин Дора*, первый начавший торговать эстампами и разорившийся на этом деле. Именно он-то и пустил в ход гравюры, составляющие главное достоинство некоторых книг и ценящиеся дороже, чем все вместе взятые лучшие авторы древности.

Мода переменилась; теперь увлекаются только *маленькими форматами*; в таком виде пе-

реиздали всех наших милых поэтов. Преимущество этих книжечек в том, что их можно носить в кармане, что они служат отдыхом во время прогулок и разгоняют скуку путешествий. Но необходимо иметь при себе лупу, так как печать в этих изданиях настолько мелка, что требует превосходного зрения.

Дидо* напечатал для графа д'Артуа* собрание избранных авторов именно в таком формате. Это шедевр типографского искусства, но издание чрезвычайно редкое и в продаже не бывает.

Нельзя ли было бы обмануть литературную инквизицию, столь страстную и беспокойную, противящуюся распространению наиболее ценных философских сочинений, путем издания их в виде книжечек маленького формата, в которых четкость печати достигалась бы высоким качеством шрифтов и бумаги?

Благодаря этому новому способу философская мысль приблизилась бы, если можно так выразиться, к состоянию *невидимости*, — можно было бы целое издание уложить в мешочек для пудры. Если бы автор с своей стороны присоединил к типографской ловкости лаконический стиль, то такой красноречивый экземпляр мог бы легко переходить из рук в руки, ютась в табакерке или в коробочке для мушек или в какой-нибудь крошечной бонбоньерке. Литературные чиновники, ожидающие прибытия тюков товара с запечатленными в нем мыслями, чтобы захватить их своими невежественными, грубыми руками, были бы сбиты с толку. Произведение гения, сделавшись неосязаемым, по-

смеялось бы над всеми этими подлыми врагами, ведущими с ним непрестанную войну. Видимые брошюры стали бы носить на себе с этих пор печать осуждения, и глупость выдавала бы себя своими большими размерами. Философия же, наоборот, подобно мудрецу, заняла бы в мире самое маленькое место.

Потом следовало бы обратиться к оптикам и получить от них стекла, которые при надобности увеличивали бы крошечные буквы, не утомляя зрения. Книгопечатанье и оптика, подав друг другу руку, сделались бы неразлучными братом и сестрой. Таким образом, благодаря сочетанию, эти две науки приобрели бы изумительную, почти безграничную силу.

Мы приглашаем словолитчиков развить мысль, которую мы сейчас поверхностно набросали; мы призываем фабрикантов изготовить возможно тонкую и легкую бумагу, чтобы наши мысли перестали быть легкой добычей неукротимых опустошителей царства литературы и философии. Возьмем ловкостью то, что у нас хотят отнять силой; постараемся, чтобы материя, приведенная нашими стараниями в более утонченное состояние, соответствовала быстроте полета наших мыслей, которые по самой природе своей созданы для того, чтобы презирать тех, кто их преследует по невежественности или из страха.

Мы знаем, что можно было бы обратиться не к оптике, а к химии, чтобы в мгновение ока на белом листе бумаги появился ряд *красно-красных, грозных, громящих* слов, которые через некоторое время сами собой улетучились бы;

но, поразмыслив, мы должны признать, что так как наш секрет может быть легко открыт, в то время как материя не подвергнется разрушению, то нам лучше придерживаться первого проекта. Но что я говорю! Весьма возможно, что прибегать к его исполнению окажется ненужным, принимая во внимание новые знания, приобретенные правительствами. Наши мысли не только не вредят правительству, а, наоборот, будут весьма полезны, если только стоящие у власти сумеют, подобно искусным лоцманам, правильно воспользоваться ветром. А в этом заключается все искусство государственного деятеля.

314. Мастера письма

Речь идет здесь не о Корнеле, Паскале, Ла-Фонтене, Ла-Брюйере, Фенелоне, Вольтере, Жан-Жаке Руссо, Бюффоне, Ренале, Пау,— речь идет о Пайясоне, Дотрепе, Ролане и Ливерло. Они выписывают каждую букву спокойной, твердой рукой, великолепно чинят перья, делают росчерки и устанавливают отличительные признаки *круглого письма, косоного и скорописи*. Они велики в искусстве письма, но не в искусстве писать.

Уметь хорошо выписывать буквы необходимо, так как плохой почерк можно сравнить с неясным бормотаньем; однако достаточно иметь разборчивый почерк. Вельможи, хорошенькие женщины и писатели любят хвастаться плохим почерком, и напрасно. С другой стороны, важное значение, какое учителя чистописания

придают красивому почерку,—весьма забавно. Писать разборчиво—вот все, что требуется. Стараться сравняться в этом искусстве с Россиньо-лем—даром потраченное время. Если у этих мастеров письма прекрасный почерк, то в большинстве случаев они пишут медленно; какой-нибудь клерк нотариальной конторы или дворцовый писарь сделает вам выписку таким легким и изящным почерком, к какому все эти знатоки с их точным, размеренным и холодным вырисовыванием каждой буквы никогда и не приближались.

Недавно союз писарей возведен в *академию*; но ведь Людовик XIV основал же в свое время след за *Военной академией—Академию танцев*. Одна только *Академия причесок* пока что не успела еще пустить корни, но и это придет со временем, в век изящных искусств.

Существует целый ряд академий, основанных королевскими указами. Так, в Тулузе имеется Академия фонарщиков*. У древних тоже было множество академий. Элиан* сообщает, что с целью защиты этих *академий* от насмешек на заседаниях было *строжайше запрещено смеяться*. Поостережемся же смеяться под сводами *Королевской академии письма*, где так хорошо выводят всякие *О, М и Ф* и где к тому же пишут еще и цифры.

Самая важная функция этих присяжных мастеров письма заключается в сверке почерков, подлинность которых оспаривается в судебных процессах; это дело серьезное. *Энциклопедия* утверждает, что такая *сверка* представляет собой нечто весьма гадательное; эксперты же

говорят, что существуют определенные и достоверные способы изобличения поддельвателей. Эксперты пользуются в таких случаях очень сильными лупами; не требуется ли еще что-нибудь для дачи правильного заключения? Вспомните последний процесс маршала Ришельё*, всю путаницу и противоречивость свидетельских показаний.

Таким образом, человеческая жизнь зависит порой от этих экспертов-сверщиков. Заявить, что не существует достаточно верных способов для изобличения поддельвателей подписей, значило бы предоставить последним чересчур обширное поле деятельности. Но нужно признать, что возражения, выставленные *Энциклопедией*, убийственны и что было бы желательно одновременно прибегать и к помощи *мастеров письма* и к помощи *писателей-философов*.

315. О старинном обществе «Эвр-форт»

Я ненавижу циников еще больше, чем педантов, но мне хотелось бы увидеть где-нибудь в центре Парижа Диогена с его бочкой (однако при условии, чтобы всякая непристойность была устранена). Я желал бы, чтобы такому человеку было разрешено обращаться к согражданам с громовыми речами и упрекать их за пороки. Париж нуждается в этом еще больше, чем нуждались Афины.

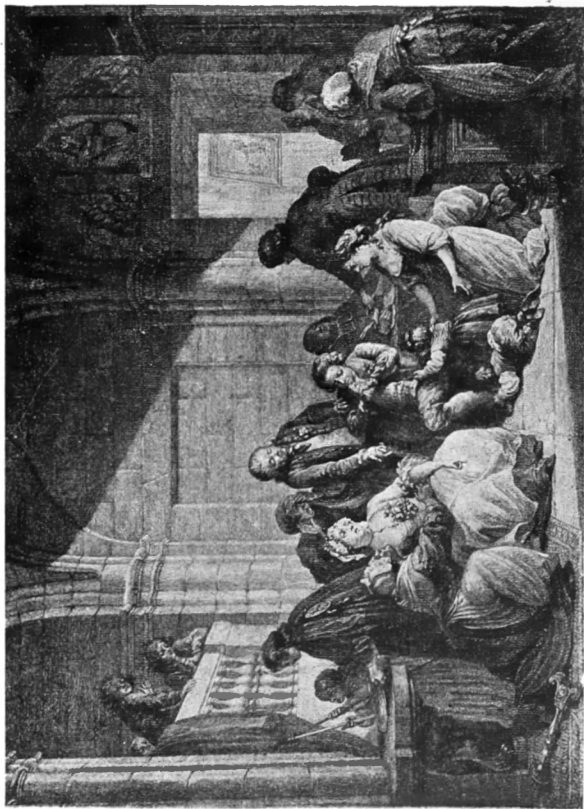
Во всяком случае, блюстители общественных нравов, существовавшие у римлян, были бы нам в высшей степени полезны. Предупреж-

дают ли наши несовершенные законы возникновение всевозможных непорядков? Обуздывают ли сумасбродства роскоши, разоряющей средние состояния? Противодействуют ли злостным банкротствам? Пресекают ли разврат, который шествует высоко подняв голову?

У нас существуют цензоры книг; эти цензоры запрещают все, что грешит против благопристойности, все, что идет вразрез с законами чести, и т. п. Почему же не быть цензорам, которые требовали бы отчета у толпы бездельников о их времяпровождении, предупреждали бы крупные скандалы и преступления? Мы умеем только наказывать; разве публичное проявление разврата менее опасно, чем та или другая напечатанная фраза?

Слово *развлекаться* является в Париже синонимом *разоряться*. Наши танцовщицы находятся на содержании у молодых людей, не признающих никакой узды; их пример губит тех, которые только что выходят из юношеского возраста. Подобному распутству, ведущему за собой несчастья целых семей, не ставится никаких преград. Полиция ждет, чтобы зло завершилось, и не думает о том, чтобы пресечь его в самом начале. И опасные Цирцеи, с одной стороны, дерзкие интриганы—с другой, развращают все слои общества. Не ужасно ли, что слова Мольера: *Будьте честны лишь в той мере, какая требуется, чтобы избежать виселицы*, сделались аксиомой, применяемой в жизни?!

В 1661 году во Франции образовалось особое общество, члены которого, проникшись страст-



У нотариуса. Прерванное бракосочетание
С гравюры де-Лоне по рисунку Обри

·ным желанием восстановить общественную ответственность, принялись громить все бесчестные поступки, не наказуемые законом. Они вели тайный надзор за нравами тех или иных частных лиц, делали о них доклады на своих собраниях и на основании мотивированного и единодушно принятого решения предавали гласности проступки и позор виновных.

Эти грозные писатели назвались *Обществом Эвр-форт*; но так как они не щадили и сильных мира сего и так же смело обсуждали поведение королей, как и частных лиц, то Людовик XIV *разгневался и приказал строжайше наказать всех членов Общества*. Итти против королевской власти они не могли, и их деятельность, становившаяся с каждым днем все кипучее, с тех пор в столице прекратилась.

Членами этой своеобразной лиги, боровшейся с пороками и дурными нравами, были многие люди с громкими именами, но Людовику XIV (совершенно не терпевшему всего, что носило характер объединения) дали понять, что эти смелые, пылкие писатели представляют собой остатки Лиги и Фронды. Он поверил на-слово и, не расследовав дела, пригрозил, что всех их сошлет в Канаду*.

А так как, говоря словами господина Тома*, *не очень-то соблазнительно пререкаться с теми, кто может сослать*, Общество умолкло и больше никого уже не критиковало. Тем не менее, несколько членов Общества, избегнув преследования и очутившись вдали от столицы, в глуши Бургундии, сочли возможным возобновить свое смелое дело. Но власти опять стали их пресле-

довать, и городской совет Дижона запретил их собрания, грозя в случае ослушания самыми страшными карами. С тех пор создатели *Эвр-форт* бросили свое призвание и умолкли навсегда... Сожалею об этом.

В 1742 году в Париже появился нищий, отличавшийся большой смелостью и обладавший, говорят, незаурядными способностями, большим умом и даром слова. Прося милостыню, он часто обращался с речью к прохожим и горячо нападал на те или иные сословия, разоблачая их хитрости и мошенничества. У этого нового Диогена не было ни бочки, ни фонаря; больше всего от него доставалось священникам, проституткам и судейским. Его смелость называли *нахальством*, а его упреки — *дерзостью*.

В один прекрасный день он осмелился войти, оборванный и грязный, в дом одного генерального откупщика и уселся за его стол, говоря, что пришел дать ему урок и вернуть себе часть того, что было у него отнято. Но его выходки пришлись не по вкусу, а так как он имел несчастье родиться на свет двумя тысячами лет позже, чем следовало бы, то его вскоре арестовали и посадили в тюрьму.

Этот нищий должен был бы знать, раз он был умным человеком, что в Париже наверняка назовут безумием то, чем восхищались в Афинах. У нас терпят самого подлого, самого низкого, самого гнусного негодяя, но все содрогаются и негодуют при приближении так называемого *циника* или мало-мальски на него похожего: да этот тип в Париже и не существует,

ибо он в корне противоречит нашему образу правления и характеру нашего общества.

У нас сколько угодно разговоров на политические и нравственные темы. Проповеди читаются тысячами, но весьма возможно, что, для того чтобы исправиться, нам нужны были бы колкие шутки, ядовитая сатира, резкие упреки. Но кто возьмет на себя обязанность осуждать все порочное, презирать все низкое, громко и ясно возглашать истину и приводить в ужас своих врагов? Человека, у которого хватит храбрости презирать вражду и злобу, назовут *фанатиком, диким зверем, бешеной собакой*; в то время как льстецы, лжецы, подхалимы будут слыть вежливыми, *благовоспитанными* людьми.

316. Ворота

Высокопоставленные люди во время болезни велят настилать навоз у ворот своего дома и вокруг него, чтобы шум экипажей не так их беспокоил. Эта противозаконная привилегия при первом же дожде превращает улицу в ужаснейшую клоаку и заставляет стотысячное население весь день ходить по жидкому, черному и зловонному навозу, в который нога погружается выше щиколотки. К тому же покрытие улицы соломой делает экипажи еще опаснее, так как не слышно их приближения.

Чтобы защитить чью-нибудь больную или разгоряченную голову от уличного шума, подвергают опасности жизнь тридцати тысяч пехотинцев, над которыми кавалерия, правда,

хотя и считает возможным издеваться, но которые, тем не менее, вовсе не обязаны умирать под бесшумными колесами кареты только потому, что у господина маркиза приступ лихорадки или расстройство желудка.

Сократ ходил пешком; Гораций ходил пешком (*Ibam forte via sacra, sicut meus est mos*¹); Жан-Жак Руссо ходил пешком. Пусть какой-нибудь современный Журден*, какой-нибудь бездельник выезжает из ворот собственного дома в берлине* английского образца, — в добрый час! Пусть обдает грязью прохожих, что ж из того? — можно ведь и утереться. Но только пусть не давит нас в жидкой грязи, так как уметь пользоваться собственными ногами или немножко замечтаться дорогой не составляет еще преступления, достойного колесования.

Часто ворота совершенно неожиданно извергают экипажи, которые перерезают улицу с такой быстротой, что избежать этой внезапной опасности бывает совершенно невозможно. Бросаясь нередко прямо под лошадей, так как не знаешь, куда они направятся: направо или налево. Разве нельзя было бы обязать дворников предупреждать прохожих, давая какой-нибудь условный свисток; это служило бы предохранительным сигналом. При возвращении экипажей домой опасность уменьшается, так как выездной лакей усиленно звонит в колокольчик.

Считается почти что неблагородным жить в доме, не имеющем ворот на улицу. Пусть это

¹ Шел я однажды Священной Дорогой, как часто хожу я*.

будет простая калитка—у нее всегда пристойный вид, которого недостает въездной аллее. Такая аллея может вести к самому удобному помещению, может быть широкой, опрятной и хорошо освещенной,—все равно ею все будут пренебрегать. Существуют ворота темные, загроможденные экипажами, так что рискуешь напороться животом на дышло или ось кареты,—и что же? Все всё же предпочтут этот узкий проход широкой въездной дороге, называемой *аллеей*. Женщины хорошего тона не посещают тех, кто живет в доме, не имеющем ворот.

Ворота бывают очень полезны тем, у кого есть долги: все розыски обычно заканчиваются у дворницкой; судебные пристава дальше не проникают; а когда дело касается описи имущества, то ограничиваются только жалкими вещами, составляющими обстановку этого помещения. В доме, выходящем на аллею, судебный пристав может подняться хоть до седьмого этажа; но он никогда не переступает порога ворот. Вот странные обычаи, а между тем они в полной силе. Удивляйтесь же после этого немилости, в какую попали буржуазные *аллеи*!

Но действительное неудобство *аллей* заключается в том, что прохожие привыкли смотреть на них как на общественные уборные; возвращаясь домой, вы застаете у своей лестницы остановившегося человека, который оглядывает вас, ничуть не смущаясь. В другом месте его прогнали бы; но в аллеях он считает себя хозяином в отношении удовлетворения своих естественных нужд. Такой обычай крайне отвратителен и особенно смущает женщин.

317. Швейцарец с улицы Урс

Ежегодно, в день 3 июля, в Париже сжигают изображение швейцарца, который в пьяном виде нанес удар саблей одной из статуй девы Марии, причем, как говорит предание, по статуе потекла струйка крови. Трудно найти что-либо более нелепое, но, тем не менее, этот старинный обычай до сих пор еще соблюдается.

Прежде изображение бывало одето в швейцарское платье, но швейцарцы вознегодовали, и пришлось облачать его в холщевый балахон. При виде возобновляющегося из года в год костра можно подумать, что в народе верят этому удивительному чуду. Все весело смеются, глядя на ивового великана, которого один из участников процессии несет на плечах, заставляя его делать всевозможные реверансы и поклоны перед каждой гипсовой мадонной, встречающейся на пути. Барабан возвещает о приближении процессии, и, как только в каком-нибудь окне появляется чья-либо голова, великан появляется на уровне глаз любопытного. На чучеле красуются большие манжеты, длинный парик à bourse, в правой руке он держит деревянный кинжал, окрашенный красной краской. И прыжки, которые заставляют делать этот манекен, так забавны, что не могут не вызывать смеха, особенно если подумать, что все это проделывает *мрачный нечестивец*.

Таким образом, даже наиболее укоренившиеся обычаи дают лишь крайне сомнительную картину действительных верований народа: в большинстве случаев это лишь зрелище для черни.

Даже наши самые торжественные церемонии не имеют другого основания. Так, например, у нас до сих пор все еще пользуются при помазании королей святой стекляшкой с миром*. Никто из присутствующих, разумеется, не верит, что она спустилась с неба в клюве голубя. Никто не верит также и в чудесное исцеление золотухи посредством прикосновения царственных рук. Тем не менее, всегда будут пользоваться маленькой стекляшкой, а монархи всегда будут прикасаться к золотушным, не исцеляя их.

К каким ошибочным заключениям приводят подобного рода факты, сообщаемые тем или иным путешественником! Ничто не может ввести в большее возбуждение, как общественные торжества в тех случаях, когда не заботятся о приближении духа старинных обычаев к тому, который господствует в народе в наше время.

А потому *швейцарца с улицы Урс* будут продолжать носить по городу, доставляя особенное удовольствие и развлечение маленьким савоярам. Они попрежнему будут провожать его с улицы в улицу, смеясь и танцуя, и радостно будут ждать вечера, когда ракеты и петарды начнут с шумом разрываться в пламени разгоревшегося костра.

В прежнее время народ видел, как сжигали самого швейцарца-иконоборца, и точно так же этому радовался. Судопроизводство немного изменилось и смягчилось со времен наших предков; следовательно, лучше видеть, как сжигают чучело, чем видеть на его месте живого человека. Но когда перестанут сжигать и чучело?!.. Не знаю!

318. Савояры

... Это честные ребята;
Они приезжают из Савойи,
Чтобы легкой рукой
Очищать наши трубы от сажи.
Вольтер.

Они работают в качестве трубочистов и рассыльных и образуют в Париже особого рода товарищество, имеющее свои законы. Старшие имеют право наблюдать за младшими; у них существуют особые наказания для тех, кто сбивается с правильного пути. Известен случай, когда они судили одного из товарищей, уличенного в воровстве; после разбора дела виновный был повешен.

Они экономят на самом необходимом, чтобы ежегодно посылать что-нибудь своим бедным родителям. И такие образцы сыновней любви скрыты под лохмотьями, в то время как раззолоченные одежды красуются на беспутных детях!

С утра до вечера савояры бегают с улицы на улицу, с запачканными сажей лицами, с белоснежными зубами, с простодушным и веселым видом. Их крики протяжны, жалобны и унылы.

Страсть все классифицировать понудила образовать и из маленьких савояров единую артель *трубочистов*, и в новых, белых домах можно часто видеть смуглые, черные лица детей, жадно смотрящих в окна в ожидании работы.

Организация городской почты оказала плохую услугу савоярам. Их теперь стало меньше, и говорят, что их столь испытанная честность

сейчас уже не та, но они попрежнему отличаются любовью к родине и к родителям.

Тяжело видеть какого-нибудь восьмилетнего мальчугана, когда он с завязанными глазами и с мешком на голове влезает, опираясь на колени и спину, в узкую печную трубу, вышиной в пятьдесят футов. Он получает возможность вздохнуть, только достигнув опасной верхушки, потом спускается тем же путем, рискуя сломать себе шею, стоит только ветхой штукатурке, служащей ему хрупкой опорой, не выдержать и обвалиться. Спустившись, с полным ртом сажи и опухшими веками, почти задыхаясь, он просит у вас пять су—цену его труда и перенесенной опасности! Этим способом прочищаются в Париже все печные трубы; и этих несчастных малышей объединили в особую артель только для того, чтобы извлечь известный доход из их и без того крохотного заработка. Пусть тупые, жестокие предприниматели, извлекающие из этого выгоду, разорятся в пух и прах вместе со всеми, кто домогается получения *монопольных привилегий!*

Все эти аллоброги* обоего пола и всех возрастов не ограничиваются своей деятельностью в качестве рассыльных и трубочистов. Одни играют на улицах на рылях и подпевают гнусавыми голосами; другие носят с собой в маленьких ящиках сурков—все свое достояние! Некоторые таскают на спине волшебные фонари и по вечерам возвещают о себе публике игрою на шарманке, звуки которой в ночной тишине и мраке становятся приятнее и трогательнее. Женщины, выставляя напоказ, под внешней

неприглядностью, свою изумительную плодovitость, показывают публике своих детей в самых различных положениях: и лежащими в плетушках за плечами, и сосущими грудь, и виснувшими на руках, не считая тех, которых матери гонят перед собой,—и все это, чтобы собрать побольше милостыни. Отталкивающей внешности, тощие, кажущиеся гораздо старше своих лет, они всегда производят впечатление, будто находятся на последнем месяце беременности.

Те из них, которые играют по бульварам на рылях, носят на грязной шее орденскую голубую ленту, некогда принадлежавшую какому-нибудь *величеству*. Теперь она служит им перевязью для музыкального инструмента. Так знаки величия порой погибают, порой снова получают подобающее применение.

Но уйдем с бульваров, куда толпа рабочих направляется, чтобы, как говорит один поэт:

Киркой разбив гранит,—как лентою атласной,
Узором из камней покрыть сей путь прекрасный.

319. Отцы и дети

Ничто так не удивляет иностранца, как вольная и непочтительная манера, с какой сын разговаривает здесь со своим отцом. Он с ним шутит, насмехается над ним, позволяет себе непристойные намеки на возраст родителя, причем отец с мягкой снисходительностью первый же над этим смеется, а бабушка потакает всем этим якобы милым выходкам внука,

Вы не сразу узнаете отца семейства в его собственном доме. Вы его разыскиваете и находите в каком-нибудь укромном уголке, беседующим с самым скромным и незначительным из собравшихся гостей. Стоит ему открыть рот, как зять тотчас же его прерывает; дети говорят ему, что он все *выдумывает*, и отец, которому очень хотелось бы иной раз рассердиться, не смеет себе этого позволить в присутствии жены. Она, видимо, одобряет дерзости детей.

Отец называет своего сына *мсьё*, никогда не говорит ему *ты*, и представители мелкой буржуазии имеют глупость подражать в этом отношении вельможам.

К такому странному и прискорбному заблуждению привел господствующий в Париже обычай! Он отнял у мужчин то, что им дало римское право. Женщины на законном основании становятся здесь почти полновластными хозяйками. Таким образом, оказывается, что источник зла кроется в наших гражданских законах и обычаях, предоставляющих женщинам чересчур большие права.

Когда у женатого человека умирает жена, его ждет полнейшее разорение: дети, желая получить имущество матери, подают на отца в суд, доводят его до нищеты. Законы санкционируют недостойные притязания детей, и в их презрении к отцовскому авторитету никто не находит ничего из ряда вон выходящего. Как можно было до такой степени ограничить власть главы семейства?

Таким образом, жизнь мелкого буржуа часто .
проходит в том, что его тиранит жена, презирают

дочери, осмеивает сын, не слушается прислуга. Он совершенный нуль в собственном доме; он образец стоического терпения или же полнейшей бесчувственности.

320. Светский язык

Светский язык—это язык комплиментов; тот же, что выражает некоторую долю чувства,— совершенно забыт. Слов говорится сколько угодно, их даже расточают, но смысл в них отсутствует. Короче говоря, разговаривают так же, как одеваются: с известной приятной изысканностью; но это изысканность поверхностная и ненужная.

Преисполненные равнодушия люди так изощряются в уверениях, в обещаниях, в готовности оказать всяческие услуги, что настоящий друг вынужден ограничиваться двумя-тремя словами, чтобы не быть причисленным к их компании.

Свет больше полирует, чем обучает. Совершенно не нужно быть захваченным вихрем света, чтобы знать свет и особенно чтобы ценить его по достоинству. Желаете быть зрителем, отойдите от него на некоторое расстояние. Совершенно так же, как для того, чтобы хорошо видеть маршировку полка, совсем не нужно самому быть в строю, а нужно только находиться на линии, по которой полк движется.

В высшем свете существует только два сорта мужчин: одни думают о своих делах, другие— о своих удовольствиях. Первые изнуряют себя работой, вторые—наслаждениями.

Когда светские люди сознают, что не могут проявить остроумия, они громко заявляют, что вовсе и не желают его иметь.

321. Светский тон

Парижское общество имеет свои собственные законы, не зависящие ни от каких других и содействующие удовольствию его представителей. Мудрость и добродетель достойны уважения, но их бывает иногда недостаточно для того, чтобы устранить некоторые недостатки, губящие благородную непринужденность, которой подобает господствовать среди порядочных людей.

Порой слишком упорно отстаиваешь свое мнение, что особенно излишне, когда мнение это справедливо. Имея право презирать, — выражаешь свое презрение порой слишком подчеркнуто. Желаясь взять верх над мнением соседа — настолько бываешь поглощен своей идеей.

А так как добродетельный человек пренебрегает многими мелочными обязанностями (тем более, что совесть его в этом не упрекает и что он основывает свое поведение на великих принципах, руководящих жизнью), то безусловно полезно установить точные и определенные правила, которые, подобно спасительным преградам, останавливали бы чересчур стремительные скачки тщеславия и гордости — даже тогда, когда они вполне законны.

Таким образом, все: внешний вид, тон, жест, акцент, взгляд — подчиняется известным пра-

вилам светского обращения, которые необходимо соблюдать, и все эти формальности не только не разрушают, но, наоборот, усиливают удовольствие общения.

Совершенно верно замечено, что чувствительный человек всегда вежлив. Можно быть неловким, не уметь ходить, не знать, как сесть, громко сморкаться, опрокидывать на ходу стулья, танцевать, как философ, и даже наступать на лапу комнатной собачке,—все равно: сердечная доброта, врожденная приветливость всегда скажутся, несмотря на незнание правил светского обращения и неумение одеваться. И в этой-то приветливости и заключается повсюду, даже в Париже, настоящая вежливость.

Но не надо воображать в то же время, что этот дар нравиться может собой все заменить. Теперь не бояться покраснеть, лишь бы манеры были грациозны, ум изобретателен, рассуждения—привлекательны. Другими словами,—пользуются маской благопристойности для того, чтобы оправдывать искусство подличать и обогащаться путем всяких низостей. Различным видам унижения дают громкие имена; раболепствование перед вельможами готовы назвать служением государству, и скоро нас, верно, захотят убедить в том, что ремесло алчного царедворца — самое почетное и славное изо всех.

Уже сейчас иногда дают понять, что существует вид *неизбежного* мошенничества; что честный человек ни на что не годен; что честность — только разновидность глупости и что в наш порочный век одно только золото может возна-

градить отсутствие добродетелей. Наконец, начинают даже намекать... Но я не должен всего говорить!

322. Великосветский тон

В высшем свете не встречается людей с яркими характерами. Все странное там смягчено, а предрассудки, хотя и существуют, но как бы рассеиваются на все то время, которое великосветские люди проводят вместе.

Благородная простота обращения искусно маскирует самолюбие, и судейский, архиепископ, военный, финансист, придворный—все точно замаскированы нечто друг у друга. Существуют только оттенки, а отнюдь не краски. Можно различить отдельные профессии, но все они находятся как бы в расплавленном, смешанном состоянии и не образуют резких контрастов.

Именно здесь общество можно сравнить с прекрасным концертом. Все инструменты отлично настроены, диссонансы крайне редки и общий тон быстро восстанавливает гармонию.

Доверие и дружба не господствуют в этом обществе; сердечные излияния ему чужды; но вместо прелести добродушия там можно наблюдать обмен мыслей и мелких услуг, что сближает воззрения и чувства и устраняет несогласия, а это особенно важно в обществе, где притязания непомерно велики и где гордость, — как только с нее спадает личина, — становится чудовищной.

Ум питается мыслями, а чтобы мысли могли возникать, необходимо собрать воедино несколько фактов. Одного природного ума в наши дни

недостаточно: нужно быть образованным и уметь говорить о высоких предметах в легком, приятном тоне.

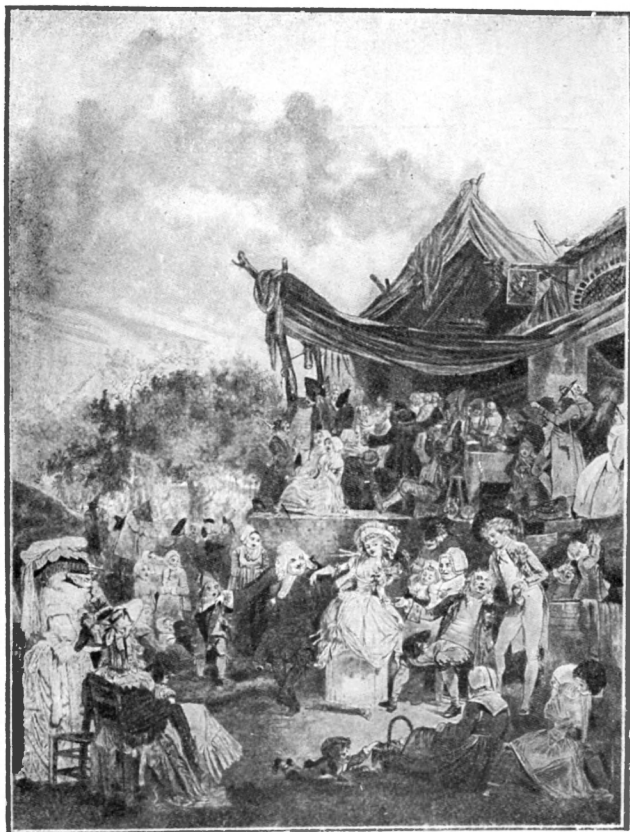
Некоторые женщины, усовершенствовав свой ум общением с высококультурными людьми, совмещают в себе качества обоих полов и решительно превосходят знаменитых людей, у которых они заимствовали часть знаний, выделяющих их из толпы.

У женщин отсутствует педантизм, способный подорвать доверие ко всякому знанию; его заменяет способность смело мыслить и правильно рассуждать; способность, основанная на изучении людей.

Мольер, желавший в своих *Ученых женщинах** осмеять педантизм, а в действительности осмеявший стремление к образованию, наверно пожалел бы, что задержал на время развитие знаний, если бы видел наших современниц, украшающих разум прелестью чувств.

Можно вообще сказать, что в Париже женщины, одаренные умом, умнее самых остроумных мужчин; но таких женщин можно встретить только в высшем кругу.

Знание светского обращения дается только навыком; он один позволяет с первого взгляда разбираться в тысячах правил приличия, которым не смогут обучить никакие уроки. Благодаря привычке даже глупый человек оказывается нередко в более выгодном положении, чем какой-нибудь умница. Последний будет чувствовать себя неловко, в то время как первый будет уверен в каждом своем жесте, интонации, выражении; он точно и безошибочно



Менуэт новобрачной

С гравюры Дебюкура по его же рисунку

улавливает все, что касается светского обращения.

Когда в 1778 году господин де-Вольтер приехал в Париж*, люди высшего света, опытные в этих делах, заметили, что за время своего столь продолжительного отсутствия из столицы знаменитый писатель утратил способность верно определять, когда нужно быть порывистым, когда сдержанным, когда сосредоточенным и когда веселым, нужно ли молчать или говорить, хвалить или шутить. Он потерял равновесие и то поднимался чересчур высоко, то опускался чересчур низко, и при этом все время испытывал определенное желание казаться остроумным. В каждой его фразе чувствовалось усилие, и это усилие переходило у него в какую-то манию.

Некоторые представители большого света драпируются в свой сан, чтобы скрыть свое духовное убожество; они прячутся за свои титулы. Надо при этом заметить, что нигде с такой легкостью не прощают глупости, как в этом обществе: до такой степени внешние формы, манеры, тон и язык, принятые там, приходят на помощь тому, у кого недостает ума.

323. Отмена глупых обычаев

У одних только представителей мелкой буржуазии существуют еще скучные церемонии, бесконечное, ненужное жеманство, принимаемое буржуа за учтивость, но до-нельзя утомляющее людей, знающих светское обращение.

Вам уже больше не расточают тысячи извинений за *плохой обед*, которым вас угос-

тили; не уговаривают *выпить еще вина*; не мучают гостей, желая доказать им, что умеют *принять*, не упрашивают их *спеть*. Все эти нелепые привычки, дорогие нашим предкам, несчастным приверженцам неприятных и стеснительных обычаев, называвшихся у них *благопристойностью*, теперь оставлены.

Обеденный стол был тогда ареной, где тарелки неуклонно совершали круг, пока, наконец, не сталкивались и не разбивались в учтивых руках, старавшихся передать их своим соседям. Ни минуты отдыха! Спорили и *до* и *во* время обеда с педантическим упрямством, и знайки в такого рода церемониях приветствовали эти пустые словопрения.

Девушки, прямые, молчаливые, неподвижные, туго затянутые в корсеты, с вечно опущенными глазами, не притрагивались к тому, что лежало на тарелках, и чем усерднее их уговаривали съесть что-нибудь, тем упорнее они отказывались, считая, что тем самым лучше всего докажут свою умеренность и скромность.

За десертом они обязаны были петь, причем большую трудность представляло петь, сдерживая слезы, и отвечать на расточаемые похвалы, не поднимая глаз на того, кто хвалит.

В наши дни девушки за обедом едят, за десертом не поют, пользуются благопристойной свободой, смотрят по сторонам, говорят немного меньше, чем их матери, и не так громко, и улыбаются, вместо того чтобы смеяться. Их сдержанность вполне соответствует их возрасту и способна только усилить очарование невинности.

Истинная учтивость изгнала нескромную жеманность, столь дорогую сердцу наших предков. Основанная на здоровом смысле вежливость никого не стесняет и кажется непринужденной, она подчиняется обстоятельствам, легко изменяется к любым характерам, ничему не мешает, скрывает то, что бывает нужно скрыть, приводит в хорошее настроение и никогда не делает промахов потому, что руководствуется не какими-нибудь нелепыми правилами, а тем, что ей подсказывает разумная благожелательность.

В наши дни такая вежливость даже не требует большого опыта, так как трудно обидеть человека, если не желаешь этого сделать и особенно если не выказываешь ни самодовольной гордости, ни неуместных притязаний. Эти два порока, конечно, не уничтожены, но они редко проявляются в обществе, а если и проявляются, то окружающие тотчас же дают это почувствовать, и тем самым исправляют неучтивого и подчиняют его общему тону.

324. Поверхностные замечания

Среди парижан очень многие картавят. Больше того, они не замечают этого недостатка у актеров, и когда последние лишены этого счастливого дара, то стараются поскорее приобрести его, чтобы больше нравиться публике.

Парижанину стоит неимоверных трудов мягко выговорить два *l*, и он никогда не в состоянии правильно произнести таких слов, как: *bouillon*, *paille*, *Versailles*.

Парижанки очень худощавы, и в тридцать лет у них уже нет груди; они приходят в отчаяние, когда начинают толстеть, и пьют уксус, чтобы сохранить тонкую талию.

В провинциальном обществе кричат, в Париже говорят тихо. Со словом *мадам* обращаются ко всем женщинам, начиная с герцогини и кончая продавщицей цветов, и скоро всем девицам будут тоже говорить *мадам*,—такое здесь изобилие сомнительных старых дев.

Иностранцу трудно понять, как возможно, чтобы в королевстве имелись принц или принцесса, которые не имеют другого имени, кроме *Мсьё* и *Мадам**, наравне с простыми смертными. Не значит ли это, что все прочие являются узурпаторами этих двух высоких титулов? Один поэт, очень этим смущенный и не знавший, как выйти из затруднения, написал в конце одного из своих стихотворений: *Остаюсь, Монсеньёр, покорнейшим слугой Мсьё*, и т. д.

Всех молодых девушек, с которыми не говорят на *ты*, называют *мадмуазель*. Теперь они начинают выезжать в свет одни, без матерей.

Вкус и искусство проявляются скорее в дамском дезабилье, чем в нарядных туалетах.

Мужчины в Париже к сорока годам начинают уже *сдавать*.

Все берется в кредит, так как без этого торговец не мог бы распродать своего товара. Он предпочитает потерпеть некоторый убыток, чем допустить, чтобы в лавке залежался товар; набавив немного цену, он тем самым наверстывает потерянное.

В Париже вас не оскорбит ни господин

интендант, ни его уполномоченный, ни губернатор, ни комендант округа, ни кто другой. Вы не встретите здесь ни господина председателя, ни королевского прокурора с надменным и гордым лицом. В Париже между людьми существует большее равенство, чем во всех других городах.

Четыре человека продолжают еще носить длинные мантии, но их нигде не встретишь. Это: канцлер, первый председатель, гражданский судья и судья по уголовным делам.

Когда встречаются лицом к лицу с каким-нибудь принцем крови, ему смотрят прямо в глаза, не кланяясь, и дают дорогу, как этого требует вежливость: он лишь более важный вельможа, чем остальные, вот и все. Он ничего не имеет против того, что на него смотрят, так как это доказывает, что его знают в лицо.

Самые необычайные события занимают столу не больше недели. Талантливых людей (а таких очень много) чествуют только в минуты возбуждения: на следующий день переходят уже к другому счастливцу, торопящемуся использовать эту искру энтузиазма. А какой талант ценится особенно высоко? Умение забавлять людей.

Всякий, у кого имеется в доме швейцар, отказывается платить долги, как только это ему вздумается, и в печати чванливо заявляет о своем разорении.

Существуют *застольные* друзья, обещания которых уносятся вместе с скатертью. Угостив вас, они считают себя вправе не держать своего слова.

Женщины больше уже не берут в руки ни иголки, ни вязального крючка; они или делают филе или вышивают на пальцах.

Все деньги провинций текут в столицу, и почти все деньги столицы проходят через руки куртизанок.

Хорошенькие женщины дружат с некрасивыми, так как последние оттеняют их.

Мебель сделалась теперь главным предметом роскоши и больших затрат: каждые шесть лет здесь меняют обстановку с тем, чтобы окружать себя всем самым красивым, что только изобретает изящный вкус наших дней. Необходимо иметь роскошные кровати, стены комнат должны быть обшиты резной панелью, покрытой дорогим лаком и украшенной золотым багетом, а современный гипс с таким совершенством имитирует мраморные колонны, что их нельзя отличить от настоящих.

Ногами топчут ковры в тридцать тысяч ливров, которыми раньше покрывали лишь ступеньки алтарей.

В домах нигде больше не видно балок: их сочли бы за ужаснейшую непристойность. Во всех комнатах стены продырявлены для прохода звонков; это особая наука. Иная женщина, уронив платок, звонит, чтобы ей его подняли.

Гостиная считается никуда негодной, если высота ее меньше шестнадцати-двадцати футов. В наши дни у представителей буржуазии обстановка лучше, чем была у монархов двести лет назад; табуреты можно встретить теперь только у короля, королев*^{*}, ювелиров-оправщиков да у сапожников.

Лакей вельможи носит чеканного золота часы, кружева, бриллиантовые пряжки и содержит скромненькую модистку.

Очень многие легко и хорошо рассказывают только потому, что для них не составляет никакого труда говорить то, над чем не приходится задумываться.

Мне кажется, что инвентарь нашей современной обстановки крайне удивил бы какого-нибудь предка, если бы он вдруг вернулся в мир. Язык судебных исполнителей, которые знают названия всего этого множества лишних вещей, чрезвычайно богат, хорошо разработан и совершенно неизвестен бедному люду.

Женщины больше не вмешиваются в хозяйство; составляют исключение только жены ремесленников.

Честь девушки является ее собственностью, она смотрит за ней в оба; честь замужней женщины—собственность ее мужа, она заботится о ней меньше.

Наш век значительно упростил всякие церемонии, и теперь только среди провинциалов можно еще встретить церемонного человека.

Из всех пошлых старинных обычаев продолжает существовать только один: приветствовать чихающего.

В наши дни подчас осмеливаются хвастаться здоровым желудком, чего двадцать лет тому назад никто не решился бы сделать. Теперь лакеи, подав десерт, не уходят из столовой, а остаются до конца обеда или ужина, которые в наше время уж не затягиваются ни спорами, ни забавными анекдотами,

Общество обычно произносит два приговора: один всегда тороплив и предшествует подробному знакомству с делом; второй следует спустя некоторое время, он более обоснован и большей частью не подлежит обжалованию.

Я не советую порядочному человеку, не имеющему своего лакея, идти обедать в богатый дом. Там вы всецело во власти прислуги. Если вы пожелаете чего-нибудь выпить и скромно заявите об этом лакеям, то не замедлите увидеть, как они, повернувшись на каблуках, побегут к буфету за вином для кого-нибудь другого. Вскоре сухость глотки лишит вас возможности повторить свою просьбу; ваши умоляющие взгляды окажутся столь же бессильными. Жажда будет палить огнем ваше небо, и вы уже не в состоянии будете притронуться ни к одному из расставленных на столе блюд. Придется ждать конца обеда, чтобы промочить горло стаканом воды. Такой способ введен с целью устранения из числа обедающих всех, не имеющих собственных слуг. Таким образом богатые ограждают свой стол от чересчур большого наплыва гостей.

Большинство женщин начинают обедать только с антрэ*.

В Париже заболеть значит создать себе особое положение; оно особенно ценится женщинами, считающими его интереснее других.

Иметь внешность придворного значит иметь, как у литераторов, одно плечо выше другого.

Мужчины носят теперь крупный бриллиант на воротничке, но больше уже не украшают бриллиантами своих часов.

Только совсем одинокие, всеми покинутые люди проводят лето в Париже. Считается хорошим тоном сказать, идя по Пон-Роялю: *Я ненавижу город, я живу в деревне.*

Неучтивых, грубых людей в Париже уже нет, но фатов еще много.

Женщины самого высшего круга со спокойной дерзостью плутуют иногда за карточной игрой и в то же время имеют дерзость говорить тому, чьи деньги поставили на выигрывающую карту, что они ничего не ставили. И подобно тому, как это бывает, когда играешь с принцами, им нельзя отомстить иначе, как только разгласив на следующий же день этот случай по всему Парижу. Женщины обычно делают вид, что эти слухи до них не доходят.

Обращение женщин знатного происхождения стало до крайности высокомерным, между тем как тон вельмож очень вежлив.

Парижанки покупают себе на четыре нарядных платья одну рубашку. В провинции полотно, в столице—блонды.

Многотомное произведение в Париже читают только после того, как провинция и заграница дадут о нем одобрительный отзыв.

Реже всего можно встретить среди наших монахов человека с лицом кающегося грешника; у большинства же молодых людей цвет лица мертвенно-бледный, что, однако, не всегда является следствием разврата, а часто происходит и от недостатка движения.

Наши мысли становятся такими тонкими, что испаряются, не оставляя следа; в наши дни изо всех наук усерднее всего изучают химию.

Иной журналист может быть, из корыстных видов, и самым подлым льстецом и самым наглым критиком.

В общем, у вельмож в наши дни ум такой же вульгарный, как у простонародья; они презирают все, чего не понимают, все их интересы до крайности жалки и мелочны.

В Париже невозможно найти управу на знатного человека: он тотчас же добывается соответствующего судебного постановления, и следствие прекращается.

Один торговец, прочитав наклеенное на столбе объявление о новой книге, озаглавленной *Трактат о душе*, спросил, что же это за трактат, касающийся единственной вещи, которой он никогда не торговал и природы которой совершенно не знает!

В прежние времена епископов называли *ваше преосвященство* и *ваше высокопреосвященство*; теперь их называют *монсеньёрами* и никто не отказывает им в этом титуле, хотя и стараются скрыть улыбку, когда его произносят. Ничего не может быть забавнее, как слышать двух епископов, которые напыщенно величают друг друга этим титулом.

Принцессы и герцогини обладают более ровным, более приятным, более покладистым характером, чем маркизы, графини и другие знатные женщины, которые в общем в достаточной степени дерзки.

Ползти, как низкий раб, отвагу показуя,
Жиреть от грабежей, подтасовав закон;
Тайком душить друзей под видом поцелуя—
Вот честь, вослед царей, венчающая трон.

Эти стихи Вольтера мало кто знает, а между тем они заслуживают известности.

В провинции стараются подражать манерам и тону парижан, но в то время как в Париже он прост, легок, естествен, повсюду в других местах он тяжел, однообразен, утомителен.

Клеон называет Дамиса своим другом; он познакомился с ним всего двадцать четыре часа перед тем. А один парижанин сказал: *Я приобрел себе в этом году триста шестьдесят четыре друга.* Он говорил это 31 декабря.

Париж не дает покоя всем остальным городам королевства: он возбуждает в них и зависть и любопытство. Самому же Парижу нет дела ни до какого другого города во всем мире, его занимает только то, что происходит в нем самом и что делается в Версале.

Сюда доходят разговоры о Лионе, о Бордо, о Марселе и Нанте, здесь охотно верят богатству этих городов, но никто не верит в их увеселения, развлечения, еще меньше в их вкус. Титул провинциального академика вызывает смех, и иной стихотворец, не бывающий нигде, кроме кофейни, пожмет презрительно плечами при имени почтенного писателя, который покажется ему смешным только потому, что творит в провинции.

Париж желает быть единственным средоточием искусств, мыслей, чувств и литературных произведений, а между тем печатать здесь разрешается теперь только глупцам.

Большинство богатых парижан, сидящих безвыходно в своих гостиных и любующихся

на себя в зеркала, не видит никогда ни небесного свода, ни звезд. Они смотрят на солнце без благодарности и восхищения, вроде того, как смотрят на лакея, освещающего путь.

325. Хлеб из картофеля

Говоря о пище бедняков, число которых вселяет ужас, я не могу обойти молчанием одного друга человечества, который в то самое время, когда столько слугителей роскоши работают для стола богачей, подумал о столе неимущих.

Воздадим благодарность господину Пармантье*! Что из того, что его способ не нов, что им пользуются в других странах? Он нас с ним познакомил, а мы так в этом нуждались! Он делает опыты *превращения картофеля в хлеб*, и если они окажутся, как он надеется, успешными, если ему удастся хоть отчасти заменить этим растением (культура которого так проста и надежна) пшеницу, выращиваемую ценой столь тяжелого труда, то этим ученым будет сделано необыкновенно полезное открытие, неоценимый подарок многочисленному классу нуждающихся.

Особенно в Париже будет ощутима польза этого корнеплода, который, спокойно развиваясь и не боясь несчастных случайностей, уничтожающих посевы, будет верной защитой и от недорода хлебов и от ужасов еще более губительной монополии.

Существование народа, особенно близкого моему сердцу, тогда не будет уже зависеть ни от

климатических условий, ни от спекуляции купцов. Картофель, не боящийся ни морозов, ни дождей, ни гроз, ни града, ни бурь, сможет уродиться всегда, в любой почве, чтобы затем превратиться в питательный, вкусный хлеб.

Если бы только его обработка оказалась такой же простой, как и его культура! Это мучнистое вещество, легко распространяющееся по поверхности почвы, одержит верх над пшеницей, так часто обманывающей ожидания человека и потом исчезающей из рук земледельца, чтобы стать предметом самой пагубной и алчной спекуляции.

Вот почему я с нетерпением ожидаю успеха нового способа, который, будучи упрощен и сделавшись общим достоянием, усовершенствует процесс *превращения в хлеб* этих драгоценных корнеплодов. Если новый Триптолем* сумеет оградить существование народных масс от алчного монополиста, он заслужит мою глубочайшую благодарность, и я буду громко заявлять о выгодах, которые усматриваю в этом открытии, несмотря на то, что оно было отвергнуто невежественными и легкомысленными людьми со злобным высокомерием, характеризующим наш век.

Что касается меня, то я считаю, что это открытие—из числа тех, которым суждено оказать самое большое влияние на человека, на его независимость и счастье. По этому вопросу я разделяю взгляд господина Ленге*, умеющего быть столь красноречивым, когда он прав. Я, так же как и он, думаю, что хлеб, питающий человека,

является в то же время и его палачом; я считаю, что химия, самая полезная из наук, могла бы дать нам другой хлеб, приобретаемый менее дорогой ценой и находящийся в меньшей зависимости от крупных землевладельцев, этих тиранов общества, которые всегда покровительствуют алчным дельцам, делящимся с ними прибылью.

Опыт доказал возможность делать хлеб из другого вещества, кроме пшеницы; это уже большое достижение. Кто же может оставаться равнодушным к такому открытию и не видеть громадных выгод, которые оно может доставить человечеству?!

Вскоре после первого издания этой статьи были сделаны пробные бисквиты из картофеля, больше того: батат* был превращен в хлеб и бисквиты! Какое это сокровище для колоний, подвергающихся страшным конвульсиям природы, ураганам, уничтожающим все урожаи,—для колоний, страдающих кроме того и от опустошительных войн и от страшных капризов океана!

Картофельный бисквит превосходит пшеничный, но хлеб из батата имеет преимущества перед картофелем в том отношении, что батат мучнистее, менее водянист и содержит сладкое и питательное вещество, способствующее его превращению в хлеб и усвоению нашим организмом.

Не знаю, может быть мои горячие надежды меня обманут, но я думаю, что химия в один прекрасный день научится извлекать питательное начало из всех тел и что тогда человеку

будет так же легко добывать себе пропитание, как черпать воду из озер и фонтанов.

И что станется тогда с борьбой, внушаемой гордостью, честолюбием и скупостью, со всеми жестокими установлениями больших государств! Легкая, без труда добываемая и изобильная пища будет залогом спокойствия человека и развития его добродетелей. Все наши жалкие политические системы тогда ниспровергнутся. Трудитесь же, трудитесь, славные химики!

326. Милостыня

В Сен-Жерменском предместьи производили сбор в пользу несчастных погорельцев. Сборщики подающий зашли в дом одного человека, слывшего большим богачом. Он принял их в очень холодной комнате, — дело было в декабре; пока они развязывали шнуры своих кошельков, хозяин бранил служанку за то, что она употребила целую спичку для разжигания вязанки хвороста и указывал ей на полуобгорелые спички*, оставленные для этой цели и хранившиеся в уголку камина.

Сборщики не ждали большой щедрости от хозяина, читавшего такую нотацію, но он подошел к потайному шкапу и извлек из него сумму, совершенно необычную для такого рода поданий. Сборщики не могли не высказать ему своего удивления, особенно в связи с только что сделанным выговором прислуге.

Господа, — сказал им на это благотворитель, — *да будет вам известно, что только*

путем таких сбережений я и могу подавать бедным крупную милостыню¹.

Собираемая в Париже милостыня весьма обильна. Возблагодарим за это бога, источник всяческого добра. Милосердные души содействуют общественному порядку и спокойствию больше, чем все строгие законы и полицейские меры. Без таких благотворителей общественная узда поминутно рвалась бы под влиянием отчаяния и злобы. Если число частных бедствий уменьшилось, то мы этим обязаны тем светлым душам, которые таятся, делая добро. Порок, безрассудство и гордость любят красоваться на виду у всех; нежное участие, щедрость, добродетель прячутся от глаз пошляков, чтобы служить человечеству в тишине, без гласности и чванства, довольствуясь взором Предвечного².

Не будь деятельной любви к ближнему, которая помогает в горе, несет радость обитателям чердаков, утешает нищего на его убогом одре, поддерживает его силы, доказывая ему, что он не забыт в своем жалком одиночестве, — не будь такой любви к ближнему, ежедневно находили бы умерших от голода людей, чердаки

¹ Весьма возможно, что этот анекдот английского происхождения, но меня уверяли, что такой случай был и в Париже. Для распространения добра нет ничего лучше хорошего примера. *Прим. автора.*

² Приведем в качестве примера доктора Брейе. Каждое первое число месяца он тайком приносил своему юре мешок с десятью тысячами франков для приходских бедных. В течение пятнадцати лет подряд он совершал это путешествие; в общем итоге он пожертвовал сто восемьдесят тысяч ливров. Делать добро — это уже много, а тут какое постоянство в добре!.. *Прим. автора.*



Советчик в делах туалета
С гравюры Вуайе по рисунку Лоренса

домов были бы всегда полны трупов, число преступлений увеличилось бы во сто раз. Своим спокойствием город в значительной степени обязан чувствительным душам, которые в то время, как закон карает преступления, заботятся о том, чтобы предотвращать их, и служат государству и королям, врачуя страдания и успокаивая жалобы и ропот. Эти редкостные люди должны быть ценимы правительством, которое, возможно, утратило бы свою власть, если бы они прекратили свои благодеяния. Будем же их чтить, воздадим им все уважение, какого они заслуживают. Никто не оспаривает презрения и негодования, заслуженного подлым или жестоким злодеем. Зачем же отказывать добрым и великодушным поступкам в уважении и славе? Зачем умалять и отрицать присущую человеку доброту? Ведь отрицанием нельзя поддерживать эту врожденную человеку добродетель. Софисты окажутся бессильными перед опытом. Жестокость в человеке — это та же болезнь. Тот, кто ни во что не ставит людей, представляет собой существо с изъяном, и мне хочется верить, что таких не много. Злоба порождается насилием; сострадание же — явление вполне естественное. Если мы заботимся о собственных интересах, то нередко заботимся и об интересах себе подобных; в молодости эта черта превращается даже в своего рода страсть, и это доказывает, что природа сотворила нас скорее добрыми, чем злыми. В жизни разбойника можно насчитать больше великодушных поступков, чем случаев проявления жестокости в жизни добродетельного человека.

Чувствительные души с умилением замечают, что человеколюбивые поступки в наши дни все умножаются; что достаточно сообщить о каком-нибудь бедствии или несчастном случае, чтобы пробудить в людях сострадание и милосердие; что бедну нищеты стараются заполнить благодеяниями. Она глубока, но не бездонна.

Журналь де Пари сделался вестником бедствий и *проводником* помощи, доставляемой несчастным. Ни одна жалоба до сих пор не осталась втуне. Такая роль делает этот листок бесконечно ценным и достойным уважения; деятельности его редакторов можно позавидовать.

В 1781 году рождение дофина* было как в столице, так и в провинции поводом ко множеству великодушных и патриотических поступков. Выпускали на свободу заключенных, выдавали приданое бедным девушкам, усыновляли сирот. Итак, добрые дела совершаются и, несмотря на все наше легкомыслие и непоследовательность, благотворительность царит среди разлагающихся нравов. Ибо люди почувствовали, что доброта души представляет собой высшую добродетель; что в удовольствии оказывать ближним услуги заключается нечто небесное и божественное, что величайшее и, быть может, единственное преступление — жестокосердие и что, в конце-концов, нужно рассматривать скупость как самый презренный и самый пагубный из всех пороков.

Никто не избавлен от обязанности делать добро, самый бедный, и тот должен приносить свою лепту несчастному. Иной раз сущий пу-

стяк может вернуть человека к жизни, тут дело не всегда в одних только деньгах, нужны заботы, посещения, советы, хлопоты, своевременное заступничество...

Пускай же писатели, верные своей самой благородной задаче, непрестанно поддерживают в людях спасительную склонность к благотворительности!

327. Приход Сен-Сюльпис

Мне повезло: я набрел на счастливый след, которого и буду придерживаться. Я описываю пороки и горе только потому, что изображаемая мною картина может послужить лекарством для людей, которых я считаю не безнадежно испорченными, а лишь невнимательными, рассеянными или чересчур преданными своим удовольствиям. Нет слов достаточно сильных, чтобы восхвалить деятельность прихода Сен-Сюльпис, направленную к оказанию помощи бедным. Помимо сборов на пеленки, на жалование кормилицам, на бесплатные школы, на обучение и одежду, здесь нашли еще возможность доставлять работу тем, кто может работать, и обучать ремеслам тех, кто их не знает.

Это прекрасный пример для остальных приходов столицы, так как мало еще упразднить нищенство: на смену ему нужно поставить труд. Нет ничего увлекательнее, чем ежедневное наблюдение за тем, что совершается в этом приходе. Если бы его полезные начинания могли умножиться, то со временем были бы осуществлены

слезы всех несчастных; их вырвали бы из того жестокого состояния полной беспомощности, в котором находится большинство из них, и избавили бы от необходимости унижать себя теми или другими низкими поступками, на которые толкает некоторых из них нужда и которые всегда близки к преступлениям.

Учреждениям Сен-Сюльпис чужды недостатки больниц; они правильнее понимают задачи милосердия и потому предотвращают отчаяние бедняка, праздность детей и немощь стариков.

Мы берем на себя смелость указать на эту удивительную организацию, считая ее более других способною служить человечеству, не унижая его, руководить им, не вызывая в нем возмущения, и мягко направлять его на путь честности, прямоты и труда. Религиозный культ вызывает всеобщее уважение, когда место, где зывают к Предвечному, является убежищем немощных, приютом слабых, пристанищем для немощных и становится для всех гостеприимным храмом.

328. Убежище младенца Иисуса *

Это полезное заведение, образец человечности и здравомыслия, обязано своим возникновением знаменитому Ланге, кюре церкви Сен-Сюльпис. Свыше восьмисот бедных женщин и девушек находят там приют и пищу, занимаясь пряжей хлопка и льна. Этим они зарабатывают на жизнь, а тем временем их обучают, затем устраивают на места.

На скотном дворе содержатся коровы, молоко которых идет в пищу двум с лишком тысячам детей прихода Сен-Сюльпис. Заведение имеет свою булочную, которая раздает ежемесячно более ста тысяч фунтов хлеба приходским бедным, разводит домашнюю птицу, содержит несколько кабаньих берлог, продает вепрёнков и имеет аптеку, где делаются очень прибыльные настои. Порядок, царящий в этом заведении, может служить образцом для религиозных общин, владеющих обширными землями.

Это заведение, внешне менее пышное, чем сама церковь Сен-Сюльпис, в глазах чувствительного наблюдателя во сто раз более привлекательно. Постройка великолепного здания церкви стоила страшно дорого, но, не принося действительной помощи человечеству, оно представляет собой пышную декорацию, и только. В убежище же *младенца Иисуса*, в его скромных стенах непрестанно претворяется в жизнь первая из всех добродетелей—милосердие. Это заставляет прощать ненужную роскошь обширного храма.

О, как мне приятно встречать на своем трудном пути подобные учреждения! Но обычно я вижу вокруг одни только бесплодные монастыри, всевозможные *Sacré Cœur de Jésus*, *Assomption*, *Caricines* и т. п.

Спрашивается, на что нужны все эти монастыри и все эти монахини, большинство которых самым серьезным образом *молится о восстановлении в Англии римско-католической веры*, о чем гордые адмиралы этой доблестной республики ни мало не думают?

329. Рекомендательные конторы.

Кормилицы

В Париже матери не кормят своих детей, и я осмеливаюсь утверждать, что они хорошо делают: в тяжелом, смрадном воздухе столицы, среди городской суматохи, среди слишком деятельной или слишком рассеянной жизни, которую там ведут, невозможно исполнять обязанности материнства. Нужна деревня, нужна правильная сельская жизнь, чтобы, вскармливая собственным молоком детей, окончательно не разрушить свое здоровье.

Вот почему мы видим множество кормилиц, приезжающих в столицу, чтобы предложить внаём свои груди. Не легко было устранить различные злоупотребления, возникавшие на почве торговых переговоров между родителями и бедной, продающей себя матерью, но, тем не менее, все это удалось наладить предусмотрительно и безболезненно.

Многочисленные рекомендательные конторы представляют собой образцы разумного, деятельного и заботливого руководства. Эти учреждения заслуживают всяческих похвал; зло, приносимое избытком населения, исправляется, если можно так выразиться, господствующим в них порядком, до такой степени разумное руководство видоизменяет человеческий род и дополняет природу.

Здесь мы видим, как садовник, другими словами—правительство, заботится о семенах и думает о грядущих поколениях.

330. Часы дня

В шуме городского водоворота различные часы дня являют нам попеременно картины спокойствия и движения. Это как бы ряд подвижных сцен, отделенных друг от друга почти что одинаковыми промежутками времени.

В семь часов утра все огородники с пустыми корзинами отправляются верхом на клячах к своим огородам. Кареты попадают в это время редко. В такой ранний час одних только писарей можно встретить уже одетыми и завитыми.

Около девяти часов вы видите бегущих парикмахеров, с головы до ног покрытых пудрой (откуда их прозвище *мерланы**); в одной руке они держат щипцы для завивки, а в другой—парик. Мальчики, торгующие лимонадом, надев свои неизменные куртки, разносят по мебелированным комнатам кофей и баваруаз. Тут же встречаются ученики-наездники в сопровождении лакеев; они направляются к бульварам, причем нередко заставляют прохожих расплачиваться за свою неопытность в верховой езде.

Около десяти часов члены судебного ведомства начинают черной тучей двигаться по направлению к Шатле и к Пале. Вы видите одни только брызжи, адвокатские мантии, портфели¹ и бегущих за ними вслед просителей.

В полдень все маклеры и биржевики тол-

¹ Говорят, что в Пале надо итти сразу с тремя портфелями: в одном должна быть бумага, в другом—деньги, в третьем—терпение. *Прим. автора.*

пой отправляются на биржу, а праздные граждане—в Пале-Рояль. Весь квартал Сент-Оноре, квартал финансистов и чиновников, в это время на ногах, мостовая запружена; это час всевозможных ходатайств и просьб.

В два часа все, обедающие вне дома, причесанные, напудренные, раздетые, ступая на цыпочках, чтобы не запачкать белых чулок, отправляются в разные концы города. Все извозчичьи экипажи в это время находятся в движении, на площади не найти ни одного свободного; из-за них спорят, и иногда случается, что два человека одновременно открывают дверцы кареты, влезают и садятся. Приходится отправляться к комиссару, чтобы он рассудил, кому в ней остаться.

В три часа на улицах народу мало: все обедают, это время затишья; но ему не суждено долго продолжаться.

В четверть шестого начинается ужасающий, адский шум. Улицы полны, экипажи катятся по всем направлениям; одни спешат на различные зрелища, другие—на прогулку. Кофейни наполняются публикой.

В семь часов снова наступает затишье, глубокое и почти всеобщее. Лошади напрасно бьют о мостовую копытами: город безмолвствует, шум точно заколдован чьей-то невидимой рукой. Но осенью это в то же время и самый опасный час, потому что на улицах еще нет сторожей, и с наступлением сумерек бывают случаи грабежей¹.

¹ В 1769 г. один грабитель успел за шесть дней убить при помощи короткой пращи трех человек, пока, наконец, не был задержан. *Прим. автора.*

Начинает смеркаться, и в то время, как в Опере поднимаются декорации, толпы чернорабочих, плотников и каменщиков направляются к городским предместьям, к себе домой. Их башмаки, запачканные известкой, оставляют на мостовой белые следы, по которым можно узнать рабочих. Они ложатся спать в тот самый час, когда маркизы и графини приступают к туалету.

В девять часов вечера снова поднимается шум: это час разъезда из театров. Дома сотрясаются от грохота экипажей, но этот шум скоро смолкает. Высший свет в ожидании ужина делает краткие визиты.

Это также час, когда проститутки с обнаженными шеями, высоко поднятыми головами, накрашенными лицами, дерзкими взглядами и такими же жестами, не обращая внимания на огни освещенных лавок и реверберов, преследуют вас по грязной мостовой. Они обуты в шелковые чулки и плоские туфли. Их речь соответствует их жестам. Говорят, что невоздержание служит охраной целомудрия, что наличие этих бродячих женщин предотвращает случаи изнасилования; что не будь гулящих девок, мужчины стали бы соблазнять и увозить честных девушек. Правда, случаи похищения и изнасилования стали теперь редки.

Как бы то ни было, этот совершенно невероятный для жителя провинции срам происходит нередко у самых дверей какого-нибудь почтенного буржуа, и его дочери являются свидетельницами непостижимой распущенности. Они не могут не видеть и не слышать всего,

что позволяют себе говорить распутные женщины. И что станет с рассуждениями философа о стыдливости?

В одиннадцать часов вечера—опять тишина. Это час, когда кончают ужинать. Это также час, когда все кофейни выпроваживают праздных посетителей, всех бездельников и рифмоплетов, отправляющихся домой, в свои мансарды. Публичные женщины, которые перед тем слонялись по улицам, осмеливаются теперь появляться только возле своих домов из боязни попасться на глаза сторожам, которые в этот неурочный час *подбирают* их. Это очень употребительный термин.

В четверть первого раздается стук карет тех, кто не играет в карты, а уже разъезжается по домам. Теперь город больше уже не кажется пустынным. Скромный буржуа, успевший было заснуть, просыпается от шума, но его *дражайшая половина* на это не сетует. Не один малютка-парижанин обязан своим появлением на свет неожиданному грохоту экипажей. Гром и здесь, как и в природе, является великим оплодотворителем.

В час ночи приезжают шесть тысяч крестьян с овощами, фруктами и цветами. Они направляются к Крытому рынку; лошади их устали, измучились; они сделали не меньше семи-восьми льё. Крытый рынок—это место, где Морфей никогда еще не отрясал своих маков. Здесь никогда не бывает отдыха, спокойствия, передышки. На смену огородникам являются торговцы рыбой; за ними—продавцы домашней птицы, позже мясники, специалисты по разделке

мясных туш. Все парижские рынки получают провизию только с Крытого рынка: это всеобщий склад. В колоссальных корзинах, образующих целые пирамиды, переносится всякая снедь с одного конца города на другой. Миллионы яиц лежат в плетушках, которые поднимают, опускают, переносят с места на место, и,—о, чудо!—ни одно яйцо не разбивается.

Водка широкой рекой течет в харчевнях. Ее разбавляют водой, но зато сильно сдабривают для крепости перцем. Крестьяне и рыночные носильщики напиваются этой настойкой, более же воздержанные пьют вино. Стоит неумолчный гул. Ночные торги происходят в полном мраке. Получается впечатление, что все эти люди бегут от солнечного света, что они боятся его.

Продавцы свежей рыбы, можно сказать, никогда не видят дневного светила, так как уходят домой только тогда, когда огни реверберов начинают уже бледнеть. Но если на рынке никто друг друга не видит, зато все друг друга слышат, ибо кричат там во всю глотку, и нужно хорошо знать местное наречие, чтобы разобрать, откуда раздается зовущий вас голос.

Подобные же сцены и в тот же самый час происходят и на набережной ла-Валле. Там, вместо лососины и селедок, дело идет о зайцах, о голубях.

Этот непрерывный шум представляет собой полный контраст со спокойным сном, каким спит остальная часть города, так как в четыре часа утра там бодрствуют только грабитель и поэт.

Дважды в неделю в шесть часов утра гонеские булочники*, эти кормильцы Парижа, при-

возят громадное количество булок; всем им надлежит быть съеденными в городе, так как увозить их обратно торговцам не разрешается.

Вскоре рабочие срываются с жалких коек, берут орудия своего ремесла и отправляются в мастерские.

Кофей с молоком (кто бы мог это подумать!) полюбился этим силачам.

На перекрестки улиц, при бледном свете фонарей, женщины приносят на спине большие жестяные сосуды с этим напитком, разливают его в глиняные горшочки и продают их по *два су*. Сахара в нем немного, но, тем не менее, рабочие находят этот кофей с молоком превосходным. Представьте себе, что артель лимонадчиков, ссылаясь на существующие уставы, всеми силами добивалась, чтобы эта вполне законная торговля была запрещена. Лимонадчики хотели сами продавать ту же чашку по пять су в своих зеркальных лавочках. Но рабочим нет надобности любоваться на себя в зеркала во время завтрака.

Как бы то ни было, обычай пить кофей с молоком укоренился и так распространился в народе, что напиток этот сделался постоянным завтраком всех ремесленников, работающих на дому. Они находят его выгоднее, вкуснее и питательнее всех прочих. Поэтому они пьют его в несметном количестве и говорят, что в большинстве случаев он служит им поддержкой вплоть до самого вечера. Таким образом, у них только две трапезы: завтрак и вечерний мясной винегрет с петрушкой, о котором я говорил выше.

Утром распутники выходят из публичных домов, выходят бледные, потрепанные, унося скорее страх, чем раскаяние; весь день они будут сожалеть, вспоминая о проведенной ночи. Но склонность к разврату или привычка— это тиран, который завтра вновь завладеет ими и медленным шагом потащит к могиле.

Игроки, еще более бледные, выходят из неизвестных или знаменитых игорных домов. Одни бьют себе в грудь и в голову, бросая в небеса отчаянные взгляды, другие дают себе обещание снова вернуться к тому столу, за которым им сейчас повезло; но завтра он обманет их.

Запретительные законы всегда будут бес- сильны против этой злосчастной страсти, ко- торая движется жаждой золота; она замечается во всех слоях общества. Ее поддерживает само правительство, устраивающее так называемые *лотереи*, но преследующее ее в то же время под другими названиями.

Удары кузнечного молота тревожат сон лен- тьев, пребывающих еще в постели. Если бы послушаться наших сибаритов, пришлось бы изгнать из города всех ремесленников, работа- ющих напильником, запретить котельщикам паять кастрюли, каретникам — набивать креп- кие железные обручи на колеса, а всем раз- носчикам—издавать на улицах громкие и рез- кие возгласы, которые бывают слышны как в самом верхнем этаже дома, так и в задних корпусах. Пришлось бы заглушить весь го- родской шум, чтобы не нарушать покоя не- жащихся в постели бездельников и дать им возможность не расставаться с пуховиками

вплоть до полудня, когда солнце находится в зените своего пути.

По тем же причинам им не хотелось бы слышать ни запаха шляпных мастерских, где валяют сукна, ни запаха кожевенных лавок, где употребляются растительные масла, ни мастерской лакировщика, ни парфюмерной лавки (хотя сами они пользуются косметикой), ни запаха лавок, где растирается нюхательный табак, так как он заставляет их чихать, когда они проходят мимо. Если бы выслушивали все притязания богачей, в столице оставили бы в покое одни только ворота, а улицы стали бы устилать войлоком до часу дня, то есть до того часа, когда лентяи расстаются с пуховиками или кушетками; в воздухе не должны были бы звучать колокола, и барабаны караульных, проходящих мимо их окон, должны были бы умолкнуть, так как только их экипажам полагается стучать, катясь по мостовой, и беспокоить по ночам спящих.

Каждое *десятое, двадцатое и тридцатое* число месяца с десяти до двенадцати часов дня вы всегда встретите на улице носильщиков с большими денежными мешками на спине, согнувшихся под тяжестью этой ноши. Они бегут, точно неприятельская армия собирается захватить город; это служит лишним доказательством того, что у нас еще не сумели создать те удобные и разумные денежные знаки, которые должны были бы заменить металл, предоставив ему, вместо того чтобы путешествовать из сундука в сундук, спокойно лежать в качестве недвижимого капитала.

Горе тому, кто должен в этот день платить по векселю и не имеет на руках денег! И пусть считает себя счастливым тот, кто смог расплатиться и у кого после этого осталось еще хоть одно шестилитровое эю.

Почти ежегодно около середины ноября наступает период катарральных заболеваний, вызываемых холодным сырым воздухом и туманами, задерживающими испарину. Многие от этого умирают, но парижанин, привыкший надо всем смеяться, называет эти опасные простуды *гриппом*, *кокеткой*, а два дня спустя грипп *хватает* весельчака и сводит его в могилу*.

Переход из жарких помещений и зрительных зал на свежий воздух делает задержку испарины почти неизбежной. Новая мода носить длинные манто в этом отношении превосходна: она уберегает от холода. Какие-нибудь быстрые движения были бы еще более верным предохранительным средством. Женщины, вынужденные ждать некоторое время своих экипажей, — очаровательные и хрупкие женщины (я вижу, как они дрожат от холода, стоя на ступеньках лестницы или под аркой подъезда) должны бы подумать о том, что их манто недостаточно теплы, чтобы уберечь от простуды.

331. О воскресеньях и праздниках

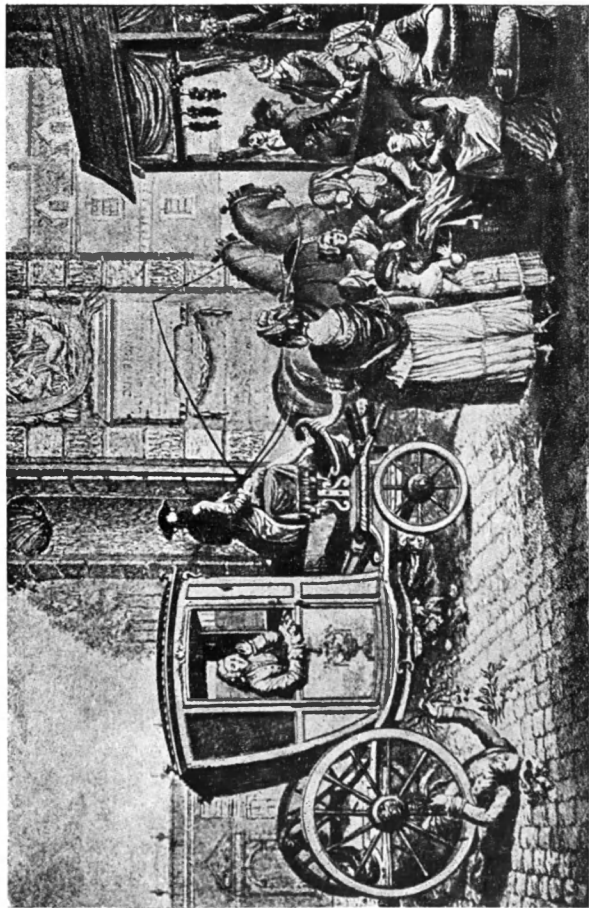
В настоящее время одни только рабочие знают воскресенья и праздничные дни. Куртий, Поршерон и Нувель-Франс в эти дни полны посетителей. Народ идет туда в поисках на-

питков, которые там дешевле, чем в городе. В итоге получается не мало беспорядков, но народ веселится или, вернее, забывает свою участь. Обычно рабочий празднует и понедельник—другими словами, напивается снова, если только чувствует себя еще способным на это.

Буржуа, который должен думать о бережливости, не переходит известных границ. Он отправляется на довольно скучную прогулку в Тюильри, в Люксембург, в Арсенал или на бульвары. Если на этих прогулках встретится хотя бы одна женщина в коротко подобранном платье, то можно держать пари, что это провинциалка.

Простой народ еще ходит к обедне, но начинает уже обходиться без вечерни, которую высший свет называет *оперой нищих*. В церкви народ должен или стоять или же платить за стул. Но на стоящих смотрят косо, а прослушать проповедь сидя стоит целых шесть су. Поэтому храмы пустуют, за исключением только самых больших торжеств, когда народ привлекают пышные церемонии. Итак, даже за то, чтобы присутствовать при богослужении, приходится платить деньги!

В неделю Тела господня обычно бывает большое стечение молящихся за вечерней и за выносом святых даров. Правда, для мелкой буржуазии это предлог для того, чтобы в такое хорошее время года отправиться в сумерки на прогулку. Молодые девушки особенно чтут вечерни, да и вообще они очень ценят воскресные дни. Любовь спешит воспользоваться уставленными церковью праздниками.



Модный врач
С гравюры неизвестного художника

Великолепный сад Тюильри теперь покинут ради аллеек Елисейских полей. Прекрасными пропорциями и планировкой Тюильри еще любуются, но для всех возрастов и всех сословий любимым местом сборища являются Елисейские поля: деревенский характер местности, украшенные террасами дома, кофейни, большой простор и меньшая симметричность—все привлекает туда.

Странно, что во всех католических государствах воскресенье почти всегда является днем беспорядков. В Париже в конце-концов упразднили *четырнадцать праздничных дней в году*, но остановились на полпути; праздничных дней все еще слишком много, однако теперь хоть часть их спасена от разврата и пьянства.

Один сапожник, увидав как-то в четверг, как пытаются поднять лежащего на мостовой пьяного сержанта, который снова и снова грузно падал на камни, бросил свой шпандырь, подошел к едва державшемуся на ногах солдату и, пристально посмотрев на него, сказал со вздохом: *Вот в таком виде и я буду в воскресенье!*

Эта черточка, которую не должен оставить без внимания философ, весьма существенна, как мне кажется, для познания народа и вообще человеческого сердца, так как она вполне выражает логику страстей.

Воскресенья и праздничные дни отмечаются, между прочим, и закрытием лавок. С раннего утра можно видеть мелких буржуа, выходящих из дома в праздничных нарядах и направляющихся к ранней обедне, чтобы иметь в

своём распоряжении весь остальной день. Они поедут обедать в Пасси, в Отёй, в Венсен* или в Булонский лес.

Люди хорошего тона в эти дни совсем не выходят из дому, не показываются ни на прогулках, ни на спектаклях, предоставляя пользоваться всем этим простонародью. В эти дни театры дают все самое избитое, посредственные актеры завладевают сценой: все сойдет для нетребовательного партера и для тех, кому самые старинные пьесы всегда кажутся самыми новыми. Актеры шаржируют в эти дни более, чем когда-либо, а публика награждает их громом рукоплесканий.

Все обеспеченные буржуа еще накануне уезжают в свои маленькие загородные домики поблизости от городских застав. Каждый везет туда жену, взрослую дочь и приказчика, если только им были довольны и если он сумел понравиться хозяйке.

Накануне туда отвозится на нагруженном доверху извозчике всевозможная провизия, включая и пирог от Ле-Сажа. Это день всяких шуток. Отец семейства рассказывает разные разности, мать смеется до слез, взрослая дочь начинает немного смелеть и держится менее прямо, приказчик, купивший себе белые шелковые чулки и новые пряжки, гордый прозвищем *красавца-парня*, всячески старается быть милым и понравиться, тем более, что он втайне стремится со временем получить руку барышни: за ней ведь дадут не менее десятидвенадцати тысяч приданого, несмотря на то, что у нее двое маленьких братьев. Но мальчики

еще учатся в пансионе и, пока не получают в коллеже награды, не принимают участия в развлечениях загородного домика. Не нужно отвлекать их от усилий сделаться в один прекрасный день, когда они выучатся латинскому языку, великими людьми, во что свято верят и отец, и мать, и все домашние.

332. Карнавал

Народ празднует день св. Мартина, Крещение, масляницу; он готов продать накануне рубашку, только бы иметь возможность купить себе в эти дни индейку или гуся на набережной ла-Валле. Перед праздниками она кишит покупателями, и в виду большого спроса цены на живность непомерно высоки. Кабаки с утра полны народа. Полицейским комиссарам нечего выходить в эти дни из дому, так как караульные и без того приводят к ним множество буянов, большинство которых выходит из загородного кабака только для того, чтобы отправиться ночевать в тюрьму.

За последние тридцать лет во время масляничного карнавала стало появляться гораздо меньше масок. То ли это удовольствие уже приелось народу, который жаждет полной свободы, то ли (и это более вероятно) он слишком обеднел, чтобы тратить на дорогое стоящее *домино*, но в последние три дня масляницы полиция, заботящаяся о создании возможно более полной картины общественного благоденствия (картины тем более яркой, чем сильнее господ-

ствующая нищета), устраивает на свой счет многочисленные маскарады. Все полицейские шпионы и тому подобные негодяи отправляются на склад, где можно получить достаточное количество вещей, чтобы одеть целых две-три тысячи ряженных. Оттуда они расходятся по городу, а затем идут партиями в предместье Сент-Антуан и изображают там подгасованную и лживую картину общественного веселья.

Чем тяжелее год, тем более рьяно прибегают к подобного рода обманам. Но обмана не скрыть под грязными лохмотьями народных масс! Тщетно стараются представить веселые сценки, полные оживления и всяческих дурачеств,—этого нельзя достигнуть, когда сердце грызет недовольство. Шутовской колпак и бубенцы звучат невесело среди этих холодных оргий; для ушей, умеющих слушать, слышны лишь нестройные жалобы. Нет ничего грустнее, чем зрелище народа, которому приказано смеяться в определенный день и который трусливо подчиняется этому унижительному распоряжению.

В то время как полиция подкупает маскированных, священники выносят во всех церквах святые дары, так как считают богохульством то, что дозволено правительством. Но это только одно из наименьших противоречий, существующих между нашими законами, нравами и обычаями.

На маслянице, в дни карнавала парижанки забывают свою лень, их внезапно пробуждает голос наслаждений. Представляется случай блеснуть на собраниях. Эти существа, в иные минуты кажущиеся полуживыми, неожиданно при-

обретают изумительную подвижность, позволяющую им легко переносить усталость от балов; вот где они проявляют полнейшую неутомимость! Бессонные ночи им нипочем: они проводят их напролет в неистовых танцах. На следующий день мужчины встают усталые, женщины же кажутся освеженными и похорошевшими.

В это время влюбленные пары, желающие сочетаться браком, спешат повенчаться, так как в течение всего поста Парижский архиепископ бывает крайне неговорчив насчет свадеб.

Немного пыли,—как говорил один турецкий шпион,—которой посыпают на следующее утро головы всех этих ряженых, умеряет их пыл, и из безумцев они вновь превращаются в спокойных и благоразумных людей.

В театрах самые непристойные пьесы ставят в последние дни карнавала, но, разучив их, продолжают давать их и постом, в дни святости и скорби; таким образом, наименее приличные спектакли бывают именно тогда, когда им следовало бы быть наиболее благопристойными.

Церковный устав, предписывающий воздержание от мяса, до такой степени стеснителен, неудобен и трудно исполним при таком громадном населении, что полиция распорядилась не закрывать мясных лавок в течение всего поста. Она поступила очень разумно, потому что легко добываемое всеми питание—первый из гражданских законов и всё противоречащее ему посягает на здоровье и свободу граждан.

Таким образом, это старинное и не столько полезное, сколько странное правило теперь уже теряет силу, или, вернее, мы теперь воз-

вращаемся к первым векам христианства, когда живность вообще считали постной пищей. Такой здравый взгляд на вещи был основан на рассказе книги *Бытия*, где говорится, что птицы и рыбы были сотворены в один и тот же день, что позволяет нам соединять их за нашим столом, а кому не придется по вкусу такая превосходная логика? Епископы и аббаты, получающие доход от монастыря, первые дают в этом пример, и едят скромное на глазах своей челяди.

333. Современные трагедии

Французская театральная публика начинает, наконец, отдавать себе отчет в однообразии ограниченных замыслов и повторяющихся характеров, которые оставляют в зрителе чувство пустоты и придают нашим современным трагедиям заметную вялость. Неизменный *шаблон* французской Мельпомены усыпляет или возмущает даже умы, наиболее преданные, в силу привычки, старым литературным взглядам. Почти все согласны в том, что французская Мельпомена, непомерно прославленная, живет исключительно подражанием; что она дала лишь несколько портретов, вместо широких картин, одушевленных множеством характеров, присущих историческим сюжетам.

Громко заявляли о том, что наша маленькая сцена представляет собой только *говорульку*, что наши двадцать четыре часа* послужили только к нагромождению целого ряда самых нелепых и странных нецелесообразно-

стей. Все согласны с тем, что *применение одного и того же драматического шаблона* ко всем народам, всем правительствам, всем событиям,—потрясающим или трогательным, простым или сложным,—представляет собой ребяческий прием. Его могли санкционировать одни только подражатели, у которых нехватало таланта видоизменить искусство, только лишенные всякой фантазии раболепные поклонники того, что было создано до них.

А потому все осмеивают (и совершенно справедливо) эту постоянную зависимость авторов как в выборе сюжетов, так и в развитии фабулы; это множество входов и выходов, непонятных и искусственных, суживающих действие и свободное развитие трагедии, которое должно соответствовать фактам и быть, короче говоря, разумным.

Стесненный поэт подрезает историческую картину, чтобы она могла войти в рамки существующих правил. Что за непонятная беспомощность!

Все смеются над драматургом, когда он без всякого стеснения берет две-три греческих пьесы и составляет из них *одну* по собственному вкусу, отсекает не нравящуюся ему голову, чтобы приставить к туловищу данного действующего лица—другую; путает родство потомков Атрея и Эдипа, не боясь разгневать этих покойных монархов; одинаково равнодушно разрабатывает любой сюжет—английский, немецкий, русский, турецкий или татарско-китайский; никогда не удосуживается прочесть толком ни оригинал, из которого он взял свою пьесу,

ни историю данной эпохи, а берет только название и смело декламирует свое странное произведение, назвав его *трагедией*. Под этим наименованием чудовище красуется на афише, и отныне получает паспорт; но что касается сознательных людей, то они идут в театр только из любопытства: чтобы посмотреть, как французский поэт коверкает историю, язык, дух и характер всех народов мира при помощи нескольких корявых стихов.

Забавно смотреть на все эти школьничьи заговоры, слушать речи этих заговорщиков, готовящих *кинжалы* и *отравленные чаши*, слышать, как один актер просвещает другого, сообщая ему в звучных рифмах о своем рождении, о своей родословной, об истории своих родителей, и смотреть на всех этих царей, действующих и говорящих на один и тот же лад и не имеющих определенного лица, причем для большего удобства поэт всех их сделал надменными деспотами, окруженными телохранителями, точно во всем мире только и существовала одна азиатская форма правления! Вот призрак, который французы, по глупой привычке, боготворят под видом *хорошего вкуса*. Они делают вид, что презирают все выросшее не на их литературном огороде; и этими смутными чертами, в которых один только француз и может распознать человеческое лицо, они бросают вызов иностранцам и, подобно мухе из басни*, трубят победу, заявляя, что только у них и имеется трагический театр.

Каждый философ, то есть тот, кто обращается к природе и людям, а не к журналистам и ака-

демикам, снисходительно улыбается, распутывая неправдоподобие, странности и лживый тон нашей трагедии.

— Как,—рассуждает он,—мы живем в центре Европы, наша страна является ареной самых разнообразных и удивительных событий, а у нас нет еще своего собственного драматического искусства?! Мы не можем сочинять без помощи греков, римлян, вавилонян, фракийцев? Мы отправляемся в поиски за Агамемноном, Эдипом, Тезеем, Орестом и проч.? Мы открыли Америку, и это неожиданное открытие соединило два света в один, создало тысячи новых отношений; мы имеем книгопечатание, порох, почту, компас, давшие нам ряд новых, плодотворных идей,—и у нас нет еще своего собственного драматического искусства?! Мы окружены всевозможными науками, искусствами, все умножающимися чудесами человеческой ловкости; мы живем в столице, с народонаселением в девятьсот тысяч душ,—народонаселением, в котором поразительное неравенство состояний, разнообразие общественных положений, мнений, характеров образуют самые резкие, удивительные контрасты, и, в то самое время, когда тысячи разнообразных личностей, каждая с присущими ей чертами характера, взывают к кисти наших художников и требуют от нас правды,—мы слепо отворачиваемся от живой природы с резко выступающими, полными жизни и выразительными мышцами, чтобы рисовать *греческий* или *римский труп*, подкрашивать его мертвенно-бледные щеки, одевать окоченелое тело, ставить его на дрожащие ноги и придавать

тусклым глазам, скованному языку, окоченевшим рукам—взгляд, язык и движения, годные только для подмостков наших балаганов. Какое злоупотребление чучелом!

Если это не самый чудовищный из всех фарсов, то, безусловно, самый нелепый или, вернее, это непозволительнейшее с нашей стороны пренебрежение к развлечениям наших многочисленных сограждан и к тем живым и поучительным картинам, о которых они нас просят. Нужно ли удивляться после этого, что большинству неизвестны даже имена наших драматургов?

Кажется, никого, кроме самих литераторов, не прельщают эти несовершенные наброски и только они одни и обсуждают их, извергая при этом целые потоки бесплодных слов. А пока они с большой ловкостью упражняются в праздных рассуждениях, искусство не двигается ни на шаг вперед. Наши трагедии попрежнему являются только бледными отражениями, только рабским подражанием, и современное поколение драматургов оставит будущему красноречивое свидетельство об удивительном упорстве нашего фальшивого и неразумного вкуса.

Молодые писатели, желаете вы познать истинное искусство, желаете вывести его из рамок, которыми оно сковано? Оставьте же в покое журналистов и их наставления; читайте Шекспира—не для того, чтобы копировать его, а чтобы проникнуться его величественной, свободной, простой, естественной и сильной, выразительной манерой; изучайте в нем верного истолкователя природы, и вскоре все

наши ничтожные трагедии, — однообразные, скудные, лишенные замысла и движения, предстанут перед вами во всей своей сухости и отталкивающем худосочии.

Литераторы, перешедшие за тридцатипятилетний возраст, содрогнутся от этой ереси, столь противоположной *здравым взглядам*, содрогнутся потому, что предрассудки деревенеют вместе с головой, в которой они засели. Они поспешат предать иноверцев самым страшным анафемам. Но вы ведь знаете, как *крикуны* отстаивали французское церковное пение, которое они именовали музыкой. Я взываю к подрастающему поколению: в один прекрасный день оно с восторгом встретит произведения, которым слепо противодействует наша глупость; тогда поймут, что во Франции делали как раз обратное тому, что нужно было делать, и история нашей трагедии повторит историю нашей музыки.

Тогда мы отдадим себе ясный отчет в смешном уродстве наших однообразных и искусственных пьес и примем благотворные нововведения, которые послужат на пользу правде, гению, на пользу нравам и удовольствиям нашей нации¹.

¹ Я первый стал с полной откровенностью оспаривать мысли, которые теперь многие разделяют. В 1773 году я издал книгу, озаглавленную: *О театре, или Новый очерк о драматическом искусстве*, Амстердам. Я выслушал за нее от журналистов, дружно объединившихся против меня, много грубой брани и ни одного довода; с другой стороны, я подвергся почти что настоящему преследованию, о котором в свое время расскажу подробно. Вместо ответа я развил свои мысли и рассуждения, изложив их еще резче и решительней,

Один персидский царь велел астрологу составить гороскоп. Этот царь, ни во что не ставивший не только прошлое, но и настоящее, очень боялся будущего. Астролог, тщательно изучив *сочетание светил*, заявил с самым невинным видом, что царь умрет от продолжительного зевка, что в точном переводе с персидского означало: *умрет от скуки*. Тогда были приняты самые заботливые меры для предотвращения всего, что могло вызвать роковой зевок, который должен был сыграть для его величества роль вестника смерти. Последовал строжайший запрет меланхоликам проходить по дворам и лестницам замков, куда мог приехать царь. Каждому придворному было приказано постоянно иметь на устах улыбку, а в голове несколько забавных сказок. Из библиотеки монарха были изъяты сочинения всех древних и новейших моралистов, всех резонеров, юристов и метафизиков; все стены были завешены картинами, полными оживления и веселья. Судебным чинам было приказано носить отныне только розовые мантии. Набрали новых шутов, назначили им щедрое жалование. Четыре раза в неделю—балы, ежедневно—комедии; оперы были исключены.

и предоставил времени, действие которого мне известно, поставить мои идеи на надлежащее место. Итак, я рассчитываю в скором времени издать труд, который будет называться: *Философическое исследование о некоторых французских, английских, немецких, испанских и проч. театральных пьесах с присовокуплением мнений многих знаменитых писателей о необходимости изменить существующую систему французского театра.*—Прим. автора.

У дверей дворца верные люди угощали кофеем всех прохожих, а всякому, кто произносил какое-нибудь острое словцо, тотчас же выдавали паспорт, с которым он мог бывать всюду. Смеяться самому и заставлять смеяться других сделалось первой обязанностью высокопоставленных лиц, достойных слуг монарха и государства. Все почести стали теперь по праву принадлежать тем весельчакам, которые рассказывали наиболее смешные истории.

Один поэт, который не был ни печальным, ни веселым, но очень забавлял тех, кто слышал его рассуждения о своих стихах, очутился как-то раз во дворце; каким образом — этого никто хорошенько не знал, но, как бы то ни было, он туда попал, а так как в этой стране обычно путают поэтов с шутами, то он без труда получил доступ к королю. Воспользовавшись этим, он добился разрешения прочесть в присутствии его величества целую трагедию своего сочинения, которую он считал удивительной, трогательной и удовлетворяющей всем требованиям Аристотеля, так как во всех греческих драмах только и видел, что одни Аристотелевы правила. Трагедия его была уже заранее расхвалена с необыкновенным жаром, и каждый, еще не зная ее, восклицал: *Чудесно!* Поэт явился и прочитал. Король зевнул и умер.

Автор был немедленно арестован по обвинению в царевубийстве и приговорен к лишению жизни посредством *мук этикета*. Он горячо протестовал — не столько против насилия, совершенного над его личностью, сколько против страшной, возмутительной несправедли-

вости по отношению к его трагедии, которой восхищалась вся Академия. Изысканный вкус руководил построением каждого его стиха, и все они были так точно скопированы с лучших образцов, что в случае надобности почти все можно было там отыскать. Вот доводы, которые поэт представил в свое оправдание.

Верховный суд считал себя обязанным вести дело со всеми требуемыми формальностями, а так как обвиняемому всегда предъявляют орудие его преступления, то поэту было приказано снова прочесть роковую трагедию перед собравшимися судьями. Поэт, как преступник, с непокрытой головой, в присутствии представителей всех сословий прочел свою пьесу. Уже начиная со второго акта все нахмуренные лица начали проясняться, и постепенно взрывы смеха, которые тщетно старались сдержать, стали раздаваться с разных сторон. Вскоре отдельные взрывы превратились в сплошной хохот. Он возвещал поэту помилование. Действительно, все судьи, встав с своих мест, в один голос заявили, что ничего нет на свете забавнее этой трагедии и что внезапная кончина его величества произошла, несомненно, от какой-нибудь совершенно иной причины. В силу этого поэт был освобожден и возвращен в круг своих поклонников, в лоно Академии.

334. Современные комедии

Почему в наши дни смеются меньше, чем смеялись в прошлом веке? Возможно, потому, что теперь люди более образованы и обладают более

тонкими чутьем, позволяющим им с первого же взгляда распознавать фальшь и натянутость в том, что заставляло наших предков хохотать от души. В обществе теперь смеются меньше потому, что там стали больше рассуждать на всевозможные темы, и потому, что, истощив все шутки, поневоле должны были обратиться к более точному и внимательному обсуждению отдельных вопросов.

Мы читали, путешествовали, видели и наблюдали нравы, резко отличающиеся от наших; мы их восприняли мысленно, и с тех пор контрасты стали поражать нас меньше; мы поняли, что *оригиналы* по-своему мыслят и действуют, точно так же, как и те, кто следует наиболее общепринятым правилам. Естественно поэтому, что вместе с знакомством с обычаями, диаметрально противоположными нашим, многие насмешки и шутки должны были потерять свою остроту.

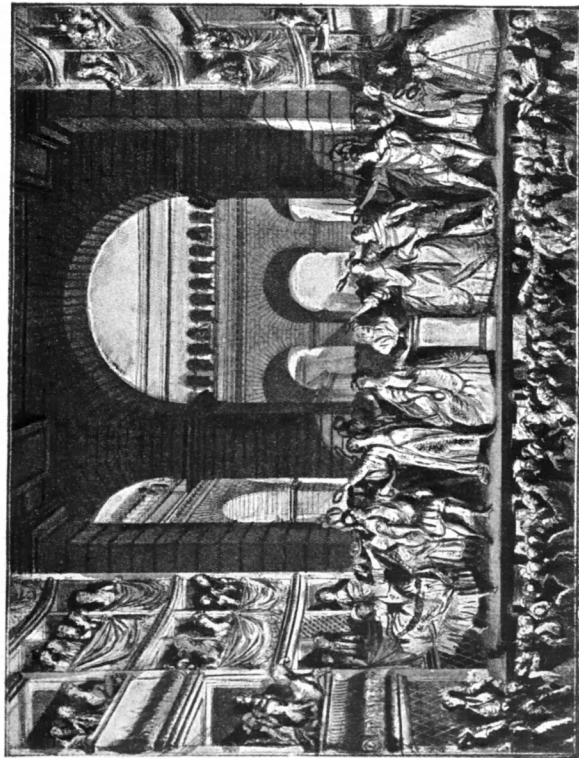
Примеры наших ближайших соседей, чтение о новых путешествиях, увеличившееся число газет, полных необыкновенными и неожиданными сообщениями, смешение всех европейских народов — все это ясно показало нам, что у каждого своя манера видеть, судить, чувствовать; тот или иной характер, поражавший нас своими странностями, оказался у наших соседей весьма обычным явлением, а следовательно, перестал нас удивлять и сделался неподходящим для нападок комедиографа.

Заметьте, что во сто раз больше смеются в каком-нибудь коллеже, в какой-нибудь общине, в монастыре, в доме, подчиненном определенным правилам. А почему? Потому что как толь-

ко там съезжают с обычной колеи, уклонение становится заметным и дает повод к смеху. В маленьком городке между жителями завязываются более тесные, более оживленные отношения, чем в большом городе, оттенки там выступают гораздо резче, потому что всё ограничено, однообразно и все друг за другом следят. Во мнениях, в обычаях, даже в одежде господствует один общий тон, нарушить который нельзя.

Но в Париже человек чересчур затерян в толпе, чтобы лицо его могло броситься в глаза; смешное проходит незамеченным. В виду того, что здесь каждый живет по-своему, а также в силу существующего поразительного смешения нравов здесь нет такого положения или характера, которые нельзя было бы извинить. И если среди этого множества народа и ходит много острых словечек, основанных на глубоком знании вещей, то отдельного человека они задевают редко; его уважают, а если случайно в него и пускают остроту, то другая на следующий день сглаживает первую. Злословят не столько по злобе, сколько для того, чтобы разогнать тоску и скуку. Понятно, что при такой точке зрения искусство комедии не может идти дальше общих картин и что на поэта, который резко объявил бы войну той или иной личности, стали бы смотреть как на нарушителя общественного спокойствия. К тому же и сходство вряд ли было бы замечено.

Комедия, не имеющая возможности нападать ни на уважаемые всеми пороки, ни на благородные странности, естественно должна огра-



Венчание бюста Вольтера

С гравюры Гоше по рисунку Моро младшего

ничиваться разговорным стилем, и именно это и случилось. Она может быть тонкой, изящной, но всегда будет сдержанной, холодной и бес- сильной; она не осмелится говорить ни о чинов- ном мошеннике, который ходит с гордо под- нятой головой, ни о продажном судье, ни о бездарном министре, ни о битом генерале, ни о самонадеянном гордеце, попавшемся в собственную ловушку, и, несмотря на то, что во всех гостиных о них говорят и потешаются на их счет, — ни один Аристофан не найдет в себе достаточно храбрости, чтобы вывести их на сцену.

Он должен писать яркие картины на совре- менные темы, но ему запрещается согласовывать заботу о нравах с требованиями искусства. Нападать на порок он может, только изобра- жая добродетель, и, вместо того чтобы таскать этот порок за волосы по сцене и наглядно по- казывать его отвратительный облик, он вынуж- ден произносить вялые нравоучительные тирады. Ни о какой комедии с жизненными характерами не может быть и речи при нашей форме пра- вления.

Сам Мольер, находивший поддержку и в своем имени и в Людовике XIV, осмелился со- чинить всего только одну комедию этого жанра; она-то и является его шедевром. В других про- изведениях его кисть не обладает уже ни такой силой, ни таким подъемом. Неопределенные мазки делают характеры менее выпуклыми. *Ми- зантроп*¹ представляет собой еще и в наши дни

¹ Эта пьеса уже неоднократно вызывала интерес- ные споры; вот мое впечатление о ней. *Мизантроп* ка- зался мне всегда гораздо слабее *Тартюфа*. Мольер писал

довольно трудно разрешимую моральную проблему, и я замечаю, что впоследствии Мольер сам сдал в композиции своих картин, что он больше уже не решался выбирать в качестве материала определенные личности, которые придали бы портретам большую жизненность.

С тех пор современная комедия, отказавшись от изображения буржуа, утратила своиственные ей веселость и естественность. Поэт, стремясь показать, что он бывает в самом лучшем обществе, выставляет теперь только герцогов, графинь и маркиз. Он старается утончить и свой стиль и идеи и создает ряд изысканных выражений. Вместо того чтобы думать, как бы придать жизнь действующим лицам, он гонится за хорошим тоном и этот деланный тон принимает за присущий театру и обществу.

Что же произошло? Честный буржуа, как ни старается, ничего не понимает в этом но-

эту пьесу, несомненно, с высокими намерениями, но, тем не менее, нельзя не признать, что при ближайшем рассмотрении она кажется двусмысленной. Мольер, если не ошибаюсь, хотел бы, чтобы добродетель была нежной, покорной, приветливой, так сказать—осторожной, покладистой, уважающей все подразумеваемые лицемерные светские условности; чтобы она никогда не сердилась, не выходила из себя, чтобы она относилась ко всему нарушающему благочиние сдержанно, осмотрительно, осторожно; но добродетель, лишенная своих отличительных черт—отваги, искренности, твердости и, так сказать, непреклонной честности, является ли попрежнему добродетелью?

Мольер, как будто, отдает Филенту предпочтение перед Альцестом и выставляет первого из них образцом манер и речей; он как бы говорит: *Будьте в иных случаях лучше веселыми лицемерами, чем честными ворчунами, будьте предупредительны ко всем*

вом для него языке, а светские люди своим его не признают. Словечки, которые поэт старался сделать как можно более тонкими и остроумными, обращаются в манерность и производят самое слабое впечатление на зрителей, которые аплодируют отдельным деталям только с тем, чтобы строже осудить в целом лишенную движения и жизни пьесу. Этот жеманный язык является крайне неуместной и неловкой потугой, какой-то утомительной непрерывной гримасой, а поэт, отказавшись от изображения характеров, в которых все смешные стороны правдивы и выпуклы, создает только мимолетную раскрашенную картинку, тогда как рассчитывает создать долговечное полотно.

Тут сказывается ум самого автора,—говорят зрители,—это он сам говорит, а не его персонажи. Он думал написать комедию для перворядных лож, но не имел успеха и у них, так как

окружающим: зачем неосторожно задевать пороки ближних? Наконец, эта пьеса Мольера, повидимому, написана под влиянием Двора; к тому же при ближайшем рассмотрении *Мизантроп* является просто юмористом; он в большинстве случаев кипит из-за пустяков. Мольер иногда выставлял определенные личности, но в этих случаях он не всегда бывал прав. Нападая на Бурсо* и де-Визе*, он нападал на своих личных противников, а не на порочных людей; делая выпад против Котена*, он мстил за оскорбленное самолюбие. Лучше было бы забыть и простить обиду; досадные личные выпады немного умаляют его славу. Сколько пороков, разъедающих общество, мог бы он искоренить! Но теперь несущественно, был ли Котен глупцом или умным человеком. А *Ученые женщины*, быть может задержавшие прогресс науки, служат только поводом для язвительных споров, позорящих литературу. *Прим. автора.*

характеры должны быть схвачены с точки зрения партера*, а никак не иначе.

Таким образом, когда комедиограф слишком стремится перещеголять своих предшественников, он впадает в ошибку; он должен стараться скрыть свое мастерство; выставление его напоказ в комедии еще несноснее, чем в трагедии.

Вот чему ни за что не поверят наши комедиографы, которые дают пощечину самой природе, когда пишут пьесы стихами, да еще загадочными. А между тем неуспех должен был бы убедить их в том, что краски фальшивы; но они будут упрямо придерживаться старого, потому что никогда не советуются с *доброй слушанкой Мольера** и читают свои пьесы одним только собратьям-острословам, вместо того чтобы спросить мнение умных людей, вникающих в сущность каждой вещи, не довольствуясь теми аксессуарами, которые эту вещь зачастую душат или уродуют.

Но все же нам преподнесли несколько комедий, не зараженных жеманством, как, например, *Севильский цирюльник* и *Обманутый опекун*. Но эти пьесы можно рассматривать только как *фарсы*, в которых есть и остроумие и удачные словечки. Это все еще далеко не те хорошие комедии, которые радуют душу правдивой и тонкой живописью. Она одна только и в состоянии понравиться развитому уму.

335. Где Демокрит?

Если комедии нет на сцене, то она постоянно разыгрывается в обществе. Для стороннего на-

блюдателя есть над чем посмеяться, подобно Демокриту*, а это как-никак полезно для здоровья.

Вы видите в обществе аббата, жалующегося на несварение желудка, слышите стоны скряги, произносящего громовые речи против людского жестокосердия, жалобы упрямых сутяг, рассуждения самодовольного актера, порицающего гордость, которой он сам преисполнен, наблюдаете спесь вельможи, прикидывающегося порой добряком, и тщеславие щеголя, горячего поклонника самых вздорных мод. Тот, кто сам более всего подает повод к сатире, отличается особой язвительностью. Тон и манеры присутствующих образуют ряд разнообразнейших сцен. Поверхностный, легкий, болтливый ум придает не сходным между собою личностям одну общую манеру держаться, причем внешний вид и поза каждого присутствующего находятся в полном соответствии с его суетными и вздорными мыслями.

Любопытно наблюдать это несметное количество болтунов, которым приписывают истинное знание всех искусств, тогда как в действительности никто из них не смог бы занять ни одним искусством; но шумливого и самоуверенного тона они от этого отнюдь не сбавляют.

Зачем же после этого ходить смотреть современные холодные комедии, не отражающие ни одной из этих странностей?

Взгляните, далее, на невообразимую смехотворность и взаимные притязания сословий, на их вечные пререкания, на хвастовство привилегиями и смейтесь пуще прежнего.

Королевские секретари, например, не знают, к какому классу себя приписать, и то поднимаются, то опускаются в собственных глазах; в них чувствуется растерянность, они ограничивают себя известными пределами, но пределы эти постоянно меняются. Какой скандал для этого питомника будущего дворянства! Их сегодняшняя строгость, их завтрашняя снисходительность— все это рисует в смешном виде как их неуверенность и поразительную обходительность, так и их отталкивающую неприступность.

Известна ли вам история честного суконщика, который имел привычку говорить кста-ти и некстати: *Пусть меня повесят, если это неправда; Пусть меня повесят, если я не сделаю того-то!* Он нажил состояние и купил себе должность королевского секретаря. На другой же день после этой покупки он воскликнул в многочисленном обществе: *Пусть мне снесут голову, если то, что я утверждаю, неверно!* Как было не рассмеяться при этом?

Должность королевского секретаря—покупное дворянство—гласит пословица. Но один из таких покупателей говорил очень разумно: *То, что кажется смешным сегодня, через сто лет покажется вполне разумным.*

Занятия, отличные от занятий соседа, являются достаточным основанием, чтобы насмеяться над ним. Нотариус и судебный регистратор взаимно считают себя выше друг друга, прокурор и судебный пристав уверены, что принадлежат к двум разным кастам, писаря устанавливают между собой еще большую разницу; писарь какой-нибудь конторы мнит себя

маленьким министром и говорит не иначе, как: *Мы сделали, мы решили, мы прикажем!* Кассир считает себя несравненно выше аукциониста, и наоборот. Не знаю, бывает ли виноторговец у торговца уксусом и не ждет ли книгопродавец, чтобы продавец бумаги сделал в этом направлении первый шаг? Советник парламента смотрит с жалостью на советника Шатле, и если вы хотите, чтобы жена какого-нибудь судейского упала в обморок, вам достаточно заговорить с ней о президентше.

В буржуазных кругах часто обсуждается вопрос, следует ли отдать визит соседу и не освобождает ли от этого то или другое звание, как, например, звание церковного старосты или синдика общины, или квартального надзирателя, или будущего эшевена, имя которого будет высечено на подножьи конной статуи короля?

Взгляните на ремесленников. Все они установили между собой своего рода границы. Не так давно королевский портной заказал себе парик у самого искусного парикмахера, ибо королевскому портному полагается быть особенно хорошо причесанным! Когда парикмахер принес и надел на голову портного свое изделие, тот с важностью спросил: «Сколько?» — «Мне денег не нужно». — «Как?» — «Так. Вы в своем деле такой же мастер, как я в своем, а потому пусть ваши ножницы скроют мне платье». — «Ошибаетесь, милейший, — мои ножницы и игла служат Двору и не станут работать на парикмахера.» — «А я, — возразил тот, — не причесываю портных». И с этими словами он сорвал с головы портного парик и убежал.

Непрерывные распри между отдельными корпорациями в высшей степени забавны. Их постоянные взаимные обвинения и судебные иски еще недавно приносили прекрасный доход суду, чем и объясняется, что он так покровительствовал корпорациям. Судебные процессы стали возникать реже с тех пор, как корпорации* объединены, хотя среди мелких торговцев несогласия продолжают процветать.

Но какое сословие в наши дни не стремится обособиться, выделиться из системы сложных общественных отношений? Каждое сословие, — так велико его ослепление, — понимает несправедливость только тогда, когда ей подвергся один из его представителей, а до угнетения гражданина из другого класса ему совершенно нет дела.

Военный смеется над ударами, которые сыплются на судейского, судейский с полнейшим равнодушием смотрит на унижающегося священника, священник думает, что может существовать независимо от других сословий, и гордость не менее, чем разница интересов, содействует отчуждению даже таких профессий, которые, по существу, соприкасаются друг с другом, между которыми существует нерушимая связь. Но, вооружившись друг против друга, они взаимно оспаривают мелкие выгоды, которых им удалось добиться накануне, чтобы завтра их потерять, так как во время этой борьбы правительство, делая вид, что желает примирить, изнуряет их, чтобы всех взять в свои руки и руководить ими по своему усмотрению.

Никто не желает подумать о том, что все различные с виду профессии связаны друг с другом и что каждая приносит в уже существующие знания новый луч света, что наука едина и что все открытия направлены только к тому, чтобы ослабить источник всех наших бед—невежество и заблуждения.

Вот почему общество, раздробленное множеством незначительных и странных различий, превратилось в наши дни в настоящую Вавилонскую башню, где царит полный хаос мыслей и чувств. Глупость выступает там наравне с гениальностью, а то и громче, каждый выставляет свой диплом, свою привилегию, свой патент; в наши дни башмачник и академик одинаково хвалятся ими. О Демокрит! Где ты?

336. Мосты

Мост Понт-о-Шанж, Пти-Пон и мост Сен-Мишель—древнейшие мосты Парижа.

Сена прячется за скверными узкими домами, выстроенными на арках этих мостов. Давно пора бы вернуть городу простор горизонтов и восстановить свободное движение воздуха—главное условие здоровья.

С мостов, где домов нет,—вид удивительный; это одно должно было бы заставить правительство позаботиться о предотвращении несчастных случаев, которые при существующих условиях почти неизбежны.

Катина*, которому его философия не мешала вести войны, говорил, что не знает ничего кра-

сивее вида, открывающегося с моста Пон-Рояль. Что бы сказал он, если бы взор его мог проникнуть вплоть до самой окраины города?

Именно оттуда и надо было смотреть на *фейерверк Мира**, пылавший в 1763 году, на громадное, густо населенное пространство, на набережные, усеянные зрителями, расположившимися амфитеатром, на крестьян, поспешивших сюда из деревень за тридцать и сорок льё и смешавшихся с парижанами; на каждом шагу виднелись люди, которые как одеждой, так и написанным на лицах изумлением ясно говорили, что любопытство привело их сюда из самой глуши провинции.

Если что-нибудь может дать понятие о Иосафатовой долине, упоминаемой в *Священном писании*, то именно это движущееся и волнующееся скопище, которое то текло бурным потоком, то образывало подвижные фаланги, тихо колыхавшиеся в минуты вдохновенного и величавого покоя. Нельзя представить себе картины более восхитительной по разнообразию, более изумительной по многолюдству!

Теперь мечтают о постройке нового моста, который послужил бы средством сообщения между предместьями Сент-Оноре, Руль и Шайо с предместьем Сен-Жермен, с Пале-Бурбоном и Домом Инвалидов. Благодаря росту города это сделалось необходимостью.

Если бы построить этот мост против аллеи Инвалидов, он соединил бы бульвары Северный и Южный и польза сочеталась бы с приятностью. К тому же тут можно было бы оставить все на месте, так как для постройки

достаточно пустырей, расположенных на обоих берегах.

Двадцать шесть набережных, одетых каменными плитами и перилами надлежащей высоты, опоясывают реку и раскрываются в восемнадцати или двадцати местах для водопоя.

Выровняв несколько улиц, можно было бы провести новую улицу от ворот Сен-Жак вплоть до ворот Сен-Мартен, которая пересекла бы весь Париж и была бы длиной в две тысячи туазов. Другую улицу такой же длины можно было бы проложить от ворот Сент-Антуан до ворот Сент-Оноре; она пересекала бы первую под прямым углом.

У нас имеется несколько закрытых сточных труб со сводами, и было бы желательно, чтобы именно такие же были бы устроены во всех частях города. В Ситè вовсе нет сточных труб, а в других местах нечистоты стекают прямо в реку.

Вода, омывшая сточную трубу Бьевра, ушла в одну из чудовищных впадин, оставшихся от каменоломен, о которых мы уже говорили*. Над этими каменоломнями выстроены дома, и их обитатели спят спокойно, не подозревая, что их жилища высятся над безднами.

Почва города полна ископаемых раковин; в ней находят несколько разновидностей ископаемых моллюсков. В окрестных каменоломнях встречаются раковины между двумя слоями почвы, один из которых мергельный, а другой каменистый.

Окружность Парижа равна десяти тысячам туазов. Неоднократно пытались ограничить это пространство, но новые здания неуклон-

но переходят намеченные пределы, болота исчезают и деревни с каждым днем отодвигаются все дальше и дальше под натиском молота и наугольника.

337. Потребление

Любой альманах вам скажет, что Париж в течение года поглощает полтора миллиона мюи* зерна, четыреста пятьдесят тысяч мюи вина, не считая пива, сидра и водки; сто тысяч быков, четыреста восемьдесят тысяч баранов, тридцать тысяч телят, сто сорок тысяч свиней, пятьсот тысяч возов дров, десять миллионов двести тысяч вязанок сена и соломы, пять миллионов четыре тысячи ливров сала, сорок две тысячи мюи угля и т. д.

Эти цифры меняются каждый год; почти невозможно получить вполне точные сведения, так как тем, кто взимает налоги с предметов потребления, выгодно не показывать всего, что они получают.

В общем, можно сказать, что парижанин воздержан в силу необходимости, очень плохо питается из-за недостатка средств и всегда экономит на еде, чтобы иметь возможность расплатиться с портным и модисткой. Но, с другой стороны, — тридцать тысяч богачей проматывают на удовольствия столько, сколько хватило бы на существование двухсот тысяч бедняков.

Париж вбирает в себя все съестные припасы и собирает дань со всего королевства. В столице не ощущают тех бедствий, какие по временам выпадают на долю деревень и провин-

ций, потому что ропот нуждающихся создал бы здесь бóльшую опасность, чем во всяком другом месте, и послужил бы роковым и заразительным примером. Снабжение столицы съестными припасами делает честь неустанному рвению городских властей, они заслуживают похвалы.

Но мы должны в то же время принять во внимание то обстоятельство, что Париж, находящийся в середине Иль-де-Франса, между Нормандией, Пикардией и Фландрией, имея в своем распоряжении пять судоходных рек—Сену, Марну, Иону, Эну и Уазу (не говоря о каналах Бриара, Орлеана и Пикардии); имея почти у самых своих ворот житницы Босы и реку, которая по выходе из города извивается на протяжении почти ста льё (а это облегчает подвоз в столицу товаров и съестных припасов), что Париж,—повторяю,—в силу своих природных преимуществ сам по себе уже находится в условиях, наиболее благоприятных для того, чтобы в его стенах царил изобилие.

Торговля в Париже почти ограничивается торговлей съестными припасами, если не считать небольшого количества предметов роскоши и изящного вкуса; зато торговля продовольствием весьма значительна.

Париж берет товары со всех заводов и фабрик королевства, но в нем самом мало фабрик из-за дороговизны рабочих рук. Он отправляет товары в самые далекие страны. Модистки и ювелиры торгуют лучше всех, потому что работа мастера ценится всегда дороже, чем сам материал.

Поэтому не все, что ввозится в Париж,—в нем

остается. Сырье привозят сюда для того, чтобы его отделать, и отправляют дальше, украсив с тем исключительным вкусом, который придает вещам совершенно новую форму.

Контора возчиков очень полезна в деле доставки товаров в самые далекие страны; служащие этой конторы исполняют поручения точно и добросовестно. Но торговцы жалуются на новые налоги, на новые исключительные привилегии, которые их теснят, а вскоре и совсем задушат.

Аббат д'Экспийи*, который дал преувеличенную цифру народонаселения королевства в целом, раздув ее до *трех миллионов*, снизил цифру населения Парижа до *шестисот тысяч душ*. За основание он берет то число *тридцать*, выбранное им для помножения на число рождений, то роспись домов и семейств, обложенных подушною податью.

Но все подсчеты так же, как и соображения нравственного порядка, в большинстве случаев оказываются непригодными, когда дело идет о столице. Если считать по числу крестин, то как же поступить со множеством иностранцев, которые приезжают сюда, остаются здесь навсегда, но здесь не крестятся? А между тем все эти иностранцы, не считая евреев, составляют, наверно, не менее четверти столичного населения.

Париж потребляет более двух миллионов осьмин хлебного зерна в год. Вот что безусловно верно и о чем не говорят новейшие альманахи. Пригород заключает в себе четыреста сорок два прихода и сорок семь тысяч шестьсот во-

семьдесят пять дворов. Границы города расширяются. Гро-Кайю превратился в значительное предместье; все огороды окружены теперь домами. Господин де-Вобан* в 1694 году определял численность населения столицы в *семьсот двадцать тысяч душ*. Считается поэтому, что в настоящее время в Париже приблизительно *девятьсот тысяч жителей*, а в пригороде около *двухсот тысяч*. Подсчет господина Бюффона так же, как и господина д'Экспийи, далеко не точен. Достаточно иметь глаза, чтобы убедиться, что за последние двадцать пять лет народонаселение повсюду увеличилось.

Среди этой *мешанины* из человеческих существ находится еще не меньше двухсот тысяч собак и почти столько же кошек, не считая птиц, обезьян, попугаев и прочего. Все это кормится хлебом или печением.

Нет почти ни одного бедняка, который для компании не держал бы у себя на чердаке собаки. Когда об этом завели как-то разговор с одним бедняком, делившим хлеб со своим верным псом, и стали ему доказывать, что кормить его он не в состоянии и что ему следовало бы с ним расстаться, бедняк воскликнул: *Расстаться с ним?! А кто же будет меня любить?*

Если даже мы признаем систему экономистов превосходной, она все равно разобьется о столицу, для которой нужен совершенно особый режим, так как миллион здешних жителей поглощает столько, сколько требуется для двух с половиной миллионов.

Город открыт со всех сторон, и окружить его каменными стенами почти что нет никакой

возможности. Он для этого слишком обширен. Потребовались бы совершенно особые городские укрепления. Париж не имеет ни башен, ни стен, ни валов, но это его не беспокоит. Взамен крепостей и прежних ворот у него есть заставы, где надсмотрщики со сборщиком пошлин во главе заставляют вас оплачивать каждую пинту* вина и каждого голубя, если он не зажарен. Какими мы покажемся в один прекрасный день мелочными дикарями в глазах здоровой политики, которая докажет народным правителям их двойную ошибку: и в рассуждениях и в расчетах!

338. Балконы

Любопытное зрелище открывается, когда с высоты какого-нибудь балкона смотришь вниз на мчащиеся по улице бесчисленные разнообразные экипажи, то и дело пересекающие друг другу дорогу, и на пешеходов, которые, подобно птицам, испуганным приближением охотника, стараются проскользнуть между колесами, готовыми их раздавить! Один, из страха быть обрызганным мчащейся каретой, пытается перепрыгнуть через ручей, но теряет равновесие и сам себя обдаёт грязью с головы до ног, другой проделывает пируэты в противоположном направлении; с лица его слетела вся пудра, подмышкой торчит зонтик.

Впереди раззолоченной кареты, запряженной парой превосходных рысаков, обитой внутри бархатом, с виднеющейся в ней сквозь стекла фигурой герцогини в блестящем, великолепном



Лекарь Тома-Великий
С гравюры неизвестного художника

наряде, тащится полуразвалившаяся извозчичья карета, крытая выгоревшей кожей, с досками вместо стекол. Бедняга понукает и бьет своих кляч, из которых одна хромая, а другая кривая. Эта еле двигающаяся извозчичья карета преграждает дорогу вспененным рысакам, рвущимся вперед; кучер с трудом сдерживает их пыл. Блестящий экипаж вынужден двигаться шагом вплоть до ближайшего перекрестка; там он стрелой вырывается вперед, выбивая искры из мостовой. Сравните его стремительность с медленным ходом тяжелых повозок, с трудом продвигающихся вперед под непомерным грузом и пугающих прохожих, которым грозит быть придавленными к тумбам осями колес.

Какой-нибудь поверенный, наняв извозчика за двадцать четыре су, преграждает путь министру юстиции; вербовщик рекрутов—маршалу Франции; девица легкого поведения не уступит дорогу архиепископу. Все сословия проходят длинной вереницей, кучера объясняются друг с другом на своем безобразновнушительном языке, не стесняясь ни судебных, ни духовенства, ни герцогинь, а стоящие на перекрестках носильщики отвечают им в том же духе. Какая смесь величия, бедности, богатства, грубости и нищеты!

Слышите вы недовольный голосок нетерпеливой маркизы, смешивающийся с чудовищными ругательствами ломовика, призывающего и ад и рай?! Все в этой движущейся картине всевозможных *визави, берлин, дезоближанов, кабриолетов* и наемных экипажей кажется странным, диким, смешным.

Взгляните на сидящую в роскошной карете с зеркальными стеклами уродливую знатную женщину, с лоснящимся от помады лицом, нарумяненную и осыпанную бриллиантами, и на идущую тут же простолюдинку, одетую в незатейливое платье, но зато сверкающую свежестью и приятной полнотой.

Взгляните на прелата, с большим наперсным крестом, утопающего в подушках и ни о чем не думающего; на пожилого чиновника, читающего в старомодной берлине чье-то прошение. Столичный щеголь, высунув голову в окно кареты, кричит, надрываясь: *Ну что же, мошенники?! Будет ли этому конец?* Его угрозы теряются в пространстве. Ему хочется выругаться, но его тоненький голосок бессилён оказать какое-нибудь действие на тугую барабанную перепонку. Все его старания приводят только в расстройство букли его прически. Какой-то доктор смотрит на него с явным сожалением, а толстый финансист с апоплексической шеей пребывает совершенно равнодушным и к тому, что происходит вокруг, и к быстрому бегу времени.

Затор все увеличивается; столпилось уже не менее шестисот экипажей и всем приходится терпеливо ждать, пока вся эта вереница не тронется, наконец, в путь.

Куда же так стремился тот безголосый *франтик*? Может быть, на свидание? Нет, ему просто хотелось показаться последовательно на трех спектаклях: в Опере, в Комеди-Франсез и у Итальянцев.

339. Фальшивые волосы

Видите вы голову этой красивой женщины, обращающей на себя внимание столь искусно сооруженной прической с длинными развевающимися локонами? Вы восхищаетесь изяществом, цветом, переливами ее волос?.. Так знайте же, что это волосы не ее. Они позаимствованы с голов умерших, и то, что в ваших глазах красит ее, представляет собой бранные останки человеческих существ, которые, быть может, были заражены ужасными болезнями; одно название этих болезней оскорбило бы слух красавицы, если бы кто-нибудь осмелился произнести их в ее присутствии.

А между тем она гордится этими волосами. Она подвергает себя опасности унаследовать вредоносные начала, которые они, быть может, еще таят в себе. И в самом деле, одно время носили ожерелья и браслеты, сделанные из плетеных волос, однако эту моду пришлось бросить из-за лишаев, которые делались на шее и на руках тех, кто носил эти вещи.

Но женщины предпочитают переносить неприятный зуд, чем отказаться от модных причесок. Они успокаивают этот зуд при помощи особого *скребка*. Кровь приливает им к голове, глаза краснеют, но все равно они не могут не водрузить себе на голову обожаемой постройки.

Помимо фальшивых волос, в прическу входит еще громадная *подушка*, набитая конским волосом, и целый лес шпилек длиной от семи до восьми дюймов, упирающихся концами в кожу,

а также большое количество пудры и помады, в состав которых входят едкие ароматичные вещества, раздражающие кожу. Свободное выделение испарины на голове прекращается, а в этой части тела это очень опасно.

Если бы что-нибудь тяжелое свалилось на эту красивую голову, она оказалась бы израненной и исколотой многочисленными стальными *дротиками*, которыми она усеяна.

Перед сном все эти фальшивые волосы, шпильки, красящие и душистые вещества стягиваются тройной повязкой. Распаленная и закутанная таким образом голова, сделавшись втрое больше нормальной, опускается на подушки.

Болезни глаз, воспаление кожи, вшивость являются следствием этого преувеличенного пристрастия к дикой прическе, с которой не расстаются даже в часы ночного отдыха. А подушечку, служащую основанием всего сооружения, меняют только тогда, когда материя уже совершенно истлеет (осмелюсь ли сказать!) от вонючей жирной грязи, которая таится под блестящей диадемой.

Большинство женщин не дает себе труда снимать на ночь все лишнее, что красуется на их голове, потому что часы удовольствия для них слишком дороги, а весь день посвящен еде, картам и танцам. Раньше двух-трех часов ночи никто не ложится, а завтра с утра надо опять начинать сначала.

Здоровье разрушается; женщины сознательно сокращают свою жизнь, они теряют и то небольшое количество волос, которое имели,

подвергают себя частым флюсам, зубным болям, болезням ушей, кожи. А тем временем простолюдинка, крестьянка, которая держит голову в чистоте, носит чистое, старательно выстиранное белье и употребляет простую помаду и пудру, не содержащие в себе душистых веществ, не испытывает ни единой из этих неприятностей, сохраняет волосы до глубокой старости, выставляет их напоказ своим правнукам, причем седина вызывает к ней еще большее уважение.

Но нужно все-таки сказать, что парикмахерское искусство в деле употребления фальшивых волос достигло высокой степени совершенства, и парик или *башня* до такой степени подражает естественным волосам, что вводит всех в заблуждение.

340. Поставщики

Только в Париже можно встретить тех неустрашимых *поставщиков*, которые годами поставляют в долг хлеб, мясо, вино, мебель, бакалейные и аптекарские товары разным маркизам, графам и герцогам. Это привилегия знати. С представителями буржуазии так бы не поступали; их *прижимают*, не оставляют в покое, когда же дело идет о титулованных особах, терпеливо ждут.

Нередко какой-нибудь знатный дворянин бывает должен мяснику за целых шесть лет, бакалейщику за пять, булочнику за четыре года; прислуга, и та подолгу не требует жалования, тогда как разночинец имеет обыкновение расплачиваться в конце каждого года.

Если над воротами дома красуется герб, обойщик обставляет весь особняк за счет предполагаемого наследства. Свободные от долгов дома можно сосчитать по пальцам: даже в самых богатых и хорошо поставленных всегда имеется изрядная задолженность.

Когда же поставщики, потеряв терпение, обращаются с просьбой рассчитаться с ними наконец, управляющий является к господину герцогу и говорит:

— Сеньёр, дворецкий жалуется, что мясник не хочет больше отпускать ему провизию, потому что за последние три года он не получил ни одного су; кучер говорит, что сейчас у вас в порядке всего только один экипаж, а каретник отказывается от чести на вас работать, пока ему не будет упрочено по счету десять тысяч франков; виноторговец отказывается пополнить ваш погреб, а портной—шить вам платье...

— Вот *наглецы!*—воскликает хозяин дома.— Обратитесь к другим. Я отказываю им в своем покровительстве.

Он находит других поставщиков, хотя с первыми так и не расплатился. Вечером он ставит на карту пятьсот луидоров, а проиграв и их и еще другие пятьсот луидоров, выплачивает проигрыш на следующий же день. Карточный долг для него несравненно важнее долга за хлеб или мясо.

341. Новая штукатурка

Употребляемая при постройке домов штукатурка приносит много вреда, так как долго не сохнет; а обычно имеют неосторожность

поселяться в только что выстроенных домах. Нет ничего опаснее: стенные испарения пагубны и являются источником бесчисленных заболеваний; их влияние в высшей степени вредно; они вызывают параличи и другие болезни, которые часто приписывают посторонним причинам.

Обычно новые дома предоставляют проституткам; это называется *просушкой штукатурки*. Но даже по истечении двух-трех лет последняя не теряет своих ядовитых свойств.

Послушаем, что говорит по этому поводу один физик; привожу его слова:

«Штукатурка и известь насыщаются во время прокаливания большим количеством флогистона, постоянно стремящегося улетучиваться. Этот флогистон, имеющий большее сродство с кислотами, чем с теми двумя землянистыми веществами, с которыми он соединен, легко от них освобождается и соединяется с углекислотой воздуха. В результате такого соединения получается летучая сера, которая в свою очередь соединяется с щелочной землей штукатурки и извести и образует особую смесь, известную в химии под именем гиперсульфура или серной печени. Присутствие этой серной печени ощущается, когда гасят известь в каком-нибудь закрытом помещении.

«На основании наблюдений всех химиков, серная печень растворяет не только большую часть металлов, но точно так же и животные и растительные вещества; особенно сильно она разъедает животные вещества, и можно легко представить себе те разрушения и расстройства,

какие она может причинять и действительно причиняет в наших внутренностях, когда мы ее вдыхаем».

Граф де-Мийи, член Академии наук, стяжавший себе громкую известность открытиями в области химии, написал докладную записку относительно *оздоровления* свежештукатуренных стен. Это подарок друга человечества большим городам и главным образом нашей столице, чересчур равнодушной ко злу, причиняемому штукатуркой. Благодаря этому ученому мы теперь имеем удовлетворительную теорию, касающуюся как самой природы этой опасности, так и способов ее устранения. Его докладная записка помещена в *Журналь де Мсьё* за 1779 год. Приглашаю всех хозяев и жильцов новых домов ознакомиться с нею.

342. Оспопрививание

Так долго отвергавшееся нами оспопрививание наконец восторжествовало. Целый ряд неизменно удачных опытов утвердил его господство; его выгоды теперь признаны. Пример монарха, его братьев, многих принцев и более трехсот тысяч простых смертных европейцев, которые подверглись без всякого вреда оспопрививанию, расположил умы в его пользу.

Когда вспоминаешь все, что было сказано и напечатано против этого спасительного средства, то отдаешь себе отчет в партийном упрямстве и в том, как часто представители медицины возражают против самых интересных открытий.

Но вместе с тем убеждаешься и в том, что время, действуя заодно с опытом, является владыкой общественного мнения, так как не неблагодарные современники награждают удачливого изобретателя, а потомство.

Прежде ошибочно думали, что оспа представляет собой случайное заразное заболевание и что от него можно уберечься надлежащими заботами и предосторожностью. В числе прочих и г-н Поле* писал об этой болезни, руководствуясь существующими взглядами на чуму. Если бы действовать по его указаниям, достаточно было бы издать особые законы и распоряжения и принять ряд полицейских мер против оспы, подобно тем, что касаются удаления уличной грязи и очистки улиц.

Это заблуждение привело г-на Поле к осуждению оспопрививания; для борьбы с опустошениями, причиняемыми этой болезнью, он советует полнейшую изоляцию больных, но все его предложения совершенно неисполнимы и химеричны.

В таком городе, как Париж, подобные мероприятия только стеснили бы жителей, прервав все отношения, все связи между гражданами, друзьями и родными. И разве удалось бы применить все это на практике, если бы даже и захотели в точности исполнить такое странное предписание?

Поскольку, согласно собственному признанию г-на Поле, стрелы этого бедствия совершенно невидимы, поскольку решительно все служит им средством передвижения, они все равно распространятся повсюду, и их не остановят

никакие преграды. Как же в таком случае сковать их в различнейшие минуты человеческого существования? А между тем оспопрививание дает единственное верное средство уничтожить болезнь и спасти и жизнь и красоту множества людей. Многочисленные опыты не позволяют уже больше в этом сомневаться.

Сколько призрачных страхов распространил г-н Поле! Какими вымышленными ужасами он нас окружил благодаря своей учености! И как хорошо, что можно немного посмеяться надо всеми этими бреднями, рожденными в тиши кабинета, где автор накапливает тысячи разнообразных доводов, опровергаемых множеством фактов!

Но в Париже оспопрививание пользуется уважением только среди высших классов и среди богачей; оно еще не спустилось ни в среду мелкой буржуазии, ни в среду ремесленников, не говоря уже о бедном люде.

Живя в Швейцарии, я вижу во время прогулок, с каким вниманием отец семейства относится к прививке оспы своим детям, начиная с самого нежного возраста. Он счел бы, что не выполнил одну из важнейших обязанностей, если бы по нерадивости не сделал этого. И в результате я вижу там новое поколение вырастающим красивым, свежим, прекрасным. На лицах не видно знаков, оставляемых этим жестоким бичом. Все лица отличаются сверкающей свежестью, придающей красивым чертам еще большее очарование.

Когда же я прогуливаюсь по Парижу, то с грустью вижу, что старые предрассудки здесь

все еще живы: какое тяжелое зрелище—вид обезображенных оспой лиц у крепких, стройных людей! Ведь прибегали даже к помощи религии, прося ее противодействовать новому обычаю, принятому всеми благоразумными народами, и неизвестно, сколько еще времени на парижских красавиц будет сыпаться ужасный *град**, который шадит города и деревни счастливой и безмятежной Гельвеции*.

Почему упрямый парижанин продолжает мириться с точно изгрызанными щеками и носами, с вывороченными веками своих дочерей, тогда как они могли бы сохранить тот лоск, который в соединении с живостью и изяществом сделал бы их самыми очаровательными созданиями Европы? Походка, осанка, умение одеваться—все это выгодно отличает их от женщин других народов.

Первые труды в защиту оспопрививания вышли из недр нашей столицы; швейцарцы поспешили заимствовать это новшество. Пока мы теряли время и силы на бесплодные брошюры, пока мы сражались против очевидности, пока духовенство вмешивалось в разрешение этих чисто врачебных вопросов, мудрый народ, смеющийся над суевериями и широко понимающий свободу, воспользовался благами оспопрививания, предоставив нам безрассудные споры и слепое упрямство.

Но в Париже здравый смысл представляет собой, пожалуй, самое редкое явление, во всяком случае гораздо более редкое, чем ум. Именно его-то и нехватает здешним жителям. Если приглядеться к ним поближе, то у всех

у них окажется больше остроумия и воображения, чем логики. Здравый смысл, более свойственный республикам, гораздо реже встречается у народа, не живущего политической жизнью. Он не дает себе труда разыскивать истину, ибо что стал бы он с ней делать? Каждый относится совершенно безразлично к тому, что не составляет его профессии. Он видит только ее одну, а все знания, касающиеся общественных интересов, или ускользают от него, или задевают его очень поверхностно.

Мы не раз обращали внимание на то, что парижанину недостает образования, что он упрямо следует предрассудкам, идущим вразрез с его действительными выгодами, что многие устаревшие идеи ему еще дороги. Недостаток образованности в народе представляет собой далеко не пустяшный изъян, так как он с каждым днем суживает как религиозные, так и политические представления, подвергает важнейшие вопросы пустым шуткам и насмешкам; благодаря невежеству народа очень легко заставить его двигаться в любом направлении, как марионетку, пока он не приобретет некоторых основных знаний.

343. Площади

В Париже есть две площади, на которых красуются статуи Людовика XIV, окруженные трофеями и атрибутами его побед: это площадь де-Виктуар и площадь Вандом. Монарх дорого поплатился за кичливую надпись:

*Viro immortal!*¹ Именно стремление к господству и создало в Европе этому бессмертному великое множество врагов, которые в конце-концов и пошатнули его трон. Все эти закованные в цепи рабы, вся эта горделивая бронза возбудили против него соперников, которые,— не будь всего этого оскорбляющего их металла,—сохранили бы свое миролюбие.

Палящая на распростертых крыльях Слава, увенчавшая короля при жизни, земной шар, лежащий у его ног, палица, Геркулесова шкура... Настоящее величие пренебрегло бы этой мишурой. Во времена своего блеска он выставил армию в двести сорок тысяч пехоты и шестьдесят тысяч всадников, не считая морских сил с шестьюдесятью тысячами матросов. Но в конце своего царствования он был очень счастлив заключить мир. Государство свое он оставил в долгах и на пути к полному разрушению.

Надписи на его статуе на площади Вандом отличаются безвкусной тяжеловесностью и утомительным многословием: недаром их сочиняли в Академии изящной словесности!

На площади Рояль мы видим конную статую Людовика XIII, представленного в образе римского полководца, без седла и стремян. В надписях говорится только об *Армане Ришелье*; здесь на первом месте стоит подданный, а не повелитель. На этот раз поэт прав,— в уста монарха он вкладывает такие слова:

Арман!—всех дел моих властитель благосклонный,
Отвсюду мне принес оружие ты, законы,
И славою своей ты осиял мой трон.

¹ Бессмертному мужу (*лат.*).

То, что этому предшествует, еще удивительнее. Людовик XIII говорит:

Своей рукой я спас от рабства всю Европу,
И если б труд моей судьбы не подкосил,
Напад' на Азию, я плен господня гроба
Усильем пламенным тотчас бы прекратил!

Людовик XIII, если бы пожил еще, напал бы на Азию, чтобы отомстить за пленение святого гроба! К какому времени должны быть отнесены эти стихи? Они написаны в 1639 году. Таким образом, идея крестовых походов еще не окончательно заглохла в ту эпоху?! Что за идеи получили мы в наследство, создатель!

С площади Людовика XV открывается восхитительный вид. Начиная с дворца Тюильри вплоть до Нейи взор не встречает на своем пути никаких препятствий. Желаете вы узнать имена *добродетелей-кариатид*, поддерживающих карниз пьедестала? Это: *Сила, Миротлюбие, Осторожность, Справедливость*. Дальше, на одном из барельефов, Людовик XV дарствует Европе мир. Скульптор имел в виду предпоследнюю войну*. Знатоки больше восхищаются породистым рысаком, чем фигурой короля. Начал лепить эту статую Бушардон, закончил ее Пигаль. Но когда же, наконец, наши скульпторы выучатся делать что-нибудь другое, кроме фигур монарха верхом на коне, с поводьями в руках? Неужели нельзя найти другой позы для повелителя целого народа? И до сих пор все еще приходится с удивлением читать на этих общественных памятниках имена эшевенов! Нельзя ли было бы заменить их именами

генералов, которые поддерживали трон или мстили его врагам?

Статуя доброго Генриха IV на мосту Пон-Нёф, несмотря на всю свою уединенность, привлекает внимание гораздо больше, чем статуи остальных королей. Этот памятник пользуется большой популярностью; на него смотрят с нежностью и благоговением.

Кто поверит, что кардинал Ришельё, который выставлял свое имя всюду, где только мог, велел привесить к решетке этого памятника надпись, в которой называет себя, ни мало не стесняясь присутствием Генриха Великого: *Vir supra titulos*¹.

Торговки апельсинами и лимонами—этими столь же прекрасными, сколь и полезными плодами,—образуют длинную вереницу у ног доброго короля. Вокруг его статуи всегда толпится народ. Днем и ночью толпы граждан проходят мимо и приветствуют его изображение.

Хотелось бы прикоснуться к основанию этой всеми чтимой статуи. Вскоре за ее оградой выстроят лавки, в которых будут торговать хорошенькие продавщицы дамских нарядов, и это украшение не будет неприятно тени героя, никогда не остававшегося бесчувственным к очарованиям красоты.

Кроме площади Людовика XIV, в честь этого монарха воздвигнуты еще триумфальные арки в память его побед, но нет ни одного памятника, который говорил бы о его поражениях*.

¹ Мужем, стоящим выше всех титулов (*лат.*).

Взгляните на ворота Сен-Дени—на этот шедевр архитектуры. Опять монарх во всей своей славе. А как унизил его Евгений*! На воротах Сен-Бернар вы видите Людовика XIV, держащего в руках рог изобилия с надписью: *Ludovicò Magno abundantia parta*¹. Во время голода один гасконец перевел слова *abundantia parta* словами: *изобилие исчезло* (*l'abondance est partie*); и эта бессмыслица вовсе не была лишена смысла.

Ворот Сент-Антуан больше не существует. Ими благоразумно пожертвовали ради удобства, так же как и воротами Сент-Оноре и воротами де-ла-Конферанс. Нет больше церкви Трехсот на улице Сент-Оноре, нет и дворца Мушкетеров. За последние четверть века лицо города изменилось, и изменилось к лучшему: хорошее предзнаменование для будущего! Когда же, наконец, будет уничтожено все, что затрудняет уличное движение, и все, что носит отпечаток безвкусицы и пошлости? Будем же писать, будем неустанно говорить о благоустройстве города. Будем надоедать высшим должностным лицам, которые, очевидно, желают, чтобы им надо-едали.

Когда же начнут, наконец, делать на памятниках надписи на французском языке, чтобы народ хоть отчасти понимал то, что хотят ему сказать? Наш язык обладает точностью и силой, зачем же постоянно пользоваться языком римлян?

¹ Удел Людовика Великого—изобилие (*лат.*).



Конторка общественного писца
С гравюры Гуттенберга по рисунку Вилля

344. Парламент

Ведут ли парламенты свое происхождение от Генеральных штатов? Заменяют ли они их в силу самой природы монархии, допускающей по необходимости эту промежуточную инстанцию? Полезнее ли они королям, чем народам? Не они ли завершили отмену наших древних вольностей, предложив нации вместо них пустой и обманчивый оплот? Являются ли члены парламентов представителями нации, раз их должности в одно и то же время и наследственны и продажны, что характерно для аристократии, находящейся во главе монархии? Кто их уполномочил то предавать короля, то противодействовать королю, без согласия на то народа?

Но, с другой стороны, разве они не ставили порой спасительных преград указам о чрезвычайных податях и не останавливали чересчур жестоких мероприятий абсолютной власти? Не бывали ли они порою мудры и сильны? Но почему они почти всегда отставали от идей своего века? Почему они действовали то под давлением Двора, то против того же Двора, и чаще всего сами того не сознавая?

Почему Парижский парламент как бы оторвался от провинциальных? Почему он воспротивился уничтожению барщины и уничтожению корпораций? Почему он поддерживает самые старые и противозаконные привилегии, раз феодальная система отжила свое время и не может уже существовать, раз во главе государства стоит один хозяин? Почему под давле-

нием королевской власти парламент отказал протестантам в гражданских правах? Зачем он неоднократно переходил со стороны на сторону, точно ему хотелось только подать свой голос? Откуда его странная слабость в одном случае и поразительная сила в другом?

Следует ли это учреждение какой-нибудь определенной политике или действует наудачу? Не похоже ли оно на ту маленькую гирьку, что бегаёт на весах? Здесь она равна нулю, там—уравновешивает значительную силу.

Почему парламенты, которые должны были бы быть дороги монархам, так много выигравшим от их внедрения в государственное тело, постоянно подвергались неудовольствию и прихотям тех же монархов? Что представляет собой регистрация указов? Я никогда не мог этого как следует понять. Что такое эти *возражения* (*remontrances**), которые иногда обладают мощным патриотическим красноречием, достойным республик, а на деле не имеют ровно никакого значения? И наконец, что представляет собой сопротивление членов парламента воле монарха? Являются ли они представителями нации или просто судьями, созданными для того, чтобы именем короля отправлять правосудие?

Вот затруднительные вопросы, не относящиеся к этой книге и на которые я не возьмусь ответить. Соображения и факты могут говорить в пользу той или иной стороны, но только определенные обстоятельства сделают парламент либо тенью, либо действительностью.

Если в настоящее время царствуют Бурбоны, то они обязаны этим твердости Париж-

ского парламента времен Лиги. Возможно, что опять настанут приблизительно такие же времена и что влияние этого учреждения опять окажется таким же неожиданным и таким же решающим.

В прошлом он творил как зло, так и добро. Послушный каким-то невидимым движущим силам, которые в данный день имеют над ним власть, он производит впечатление крайне неустойчивого в своих мнениях. Он всегда последним воспринимает здравые новые идеи. В наши дни он, повидимому, стремится бороться с философией, голос которой в последнее время был для него так полезен. Он не прав.

Основание Французской академии* (кто бы мог это подумать!) внушило ему в свое время сильную тревогу. Натравленный на иезуитов, он чересчур яростно пожрал свою добычу. Повидимому, им владеет тайное желание все уничтожать, вместо того чтобы созидать или переделывать с мудрой последовательностью.

Парижский парламент в 1663 году приказал сжечь заживо Симона Морена* за то, что он объявил себя *единосущным Иисусу Христу*. Это чудовищное варварство имело место в *прекрасный век* Людовика XIV, в то самое время, когда король устраивал пышные и изящные празднества, когда писали Корнель, Расин и Ла-Фонтен, когда живописал Лебрен, когда Люлли, и Кино* сочетали свои таланты. Но поэты, художники, скульпторы и музыканты украшают нацию, а не просвещают ее.

Смелый философ спас бы жизнь Симону Морену, доказав безумие и судей и осужден-

ного. Но такого философа не нашлось. Буало написал в тот год плоскую сатиру*, но не на парламент, предавший страшной пытке несчастного безумца, а на некоторых авторов, которые писали менее удачные стихи, чем он сам. Расин, запершись в своем кабинете, сочинял французскую трагедию* по образцу греческой; он принес в жертву свою *Ифигению** и говорил о *Калхасе**, но не решился сделать ни малейшего намека на эту ужаснейшую современную жестокость. Сам Фенелон, и тот ничего не сказал. Кто из знаменитых людей произнес по этому поводу хотя бы одно слово? Вечным стыдом покрыли себя изысканные поэты *великолепного века* Людовика XIV, который мне очень хотелось бы назвать *веком полуварварским*.

В настоящее время за действиями судей наблюдают, и ни один их несправедливый поступок не проходит, не вызвав возражений. Когда тот же парламент приговорил к жестокой казни несчастного де-Ла-Барра*, —общий крик негодования, встретивший этот безумный приговор, спас жертву от бесчестия и вызвал к судьям больше ненависти, чем к трибуналу инквизиции.

Тот же голос разума спас в 1776 году автора *Философии природы*. Шатле отдал приказ об его аресте, и его уже держали в тюрьме вместе с *Дерю**, но, несмотря на страстное желание судей послать писателя на Гревскую площадь *на публичное покаяние с факелом в руках*, —общественное мнение так восстало против этого бессмысленного приговора, что парламент, в качестве высшей судебной инстанции, приговор отменил и писателя оправдал.

Преследование со стороны Шатле носило такой нелепый, презренный характер, что даже неспособно было создать автору мало-мальской известности, и он так и остался в тени. Этот странный случай остановил на себе внимание публики не надолго. Можно подумать, что я говорю здесь о каком-нибудь очень далеком событии, тогда как оно произошло совсем еще недавно.

По постановлению того же парламента, продолжают позорить тела самоубийц и подвешивать их за ноги к виселице, вместо того чтобы считать этих людей за *меланхоликов*, действительно одержимых недугом.

Парламент предписывает сжигать *педерастов*, не думая о том, что такое наказание этой гнусности является всенародным позорищем и что это один из тех постыдных проступков, которые нужно тщательно скрывать.

Житель Лиона и ла-Рошели принужден приезжать судиться в Париж. Это значит искать справедливости немного далеко! Но это закоренелая привычка и ее трудно было бы изжить, так как, несмотря на всю свою дикость, она все же имеет некоторое основание.

В те времена, когда короли ездили в незатейливых экипажах, напоминающих дорожные повозки, советники и председатели приезжали во дворец верхом на мулах. Сейчас, когда французские короли могут тратить на себя и свой дом несравненно больше, вполне справедливо, чтобы и советники и председатели, составляющие *возражения* и *регистрарующие*, получали некоторую долю богатств и роскоши своих монархов.

Парламент опирается в грозные времена на своих адвокатов и прокуроров и заставляет их постыдиться ради своих собственных интересов. В списке адвокатов числится пятьсот пятьдесят человек: больше, чем бывает судебных процессов в течение одного месяца. В тяжелые времена прокурорам не очень-то по вкусу *возражения**. Более гордые адвокаты объявляют о закрытии своих контор, но втихомолку деловые бумаги пишутся и советы даются попрежнему. Разница только в том, что клиенту в этих случаях приходится пользоваться потайной лестницей.

Когда какую-нибудь книгу одобряет вся Европа, когда все читают ее и восхищаются изложенными в ней новыми, яркими, справедливыми идеями, выступает прокурор, составляет обвинительный акт, полный нелепостей, унаследованный высокопарными выражениями, и, выхватив из книги, подобно журналистам, несколько фраз, подчеркивает их. Книгу приговаривают к сожжению у главной лестницы или у лестницы Сен-Бартеlemi как *еретическую, схизматическую, лживую, резкую, богохульную, нечестивую, посягающую на власть, возмущающую спокойствие государств* и проч. и проч. Не пропускается ни одного эпитета.

Зажигают вязанку хвороста в присутствии нескольких уличных бездельников, которые случайно находятся здесь; секретарь заменяет книгу, приговоренную к сожжению, старой, источенной червями Библией. Палач сжигает этот запыленный священный том, а подвергнутое проклятию и всеми разыскиваемое про-

изведение секретарь прячет в свою библиотеку.

Все еще оглушенный ударом, который нанес ему канцлер Моцу*, парламент не знает, какого направления держаться, его мысли кажутся нерешительными, спутанными; он не знает, должен ли он верить в самого себя, основываясь на своих старинных правах, или должен предоставить событиям идти своим чередом, чтобы извлечь потом выгоду из тех или других обстоятельств. Повидимому, он остановится на последнем: его спокойствие похоже на сон; одни думают, что он умер; «Очнется»,—говорят другие. «Если он не подает никаких признаков жизни,—говорят третьи,—то только потому, что готовится к своему воскресению и в тиши обдумывает то, чего ему всегда нехватало,—искусную политику. Возможно, что он теперь изучит дух своего века лучше, чем делал это до сих пор».

Что бы там ни было, этот институт все еще обладает большой силой, которая нередко беспокоила трон. Какова же эта сила?—спросите вы.— Сила инерции!

345. Духовенство

Его местопребывание, так сказать, невидимо: оно находится главным образом в Версале; здесь оно работает втайне, здесь вблизи изучает клавиши, на которых будет потом играть. Свое существование и доверие к себе оно поддерживает ловкими, искусными приемами, видоизменяя их в зависимости от обстоятельств.

Сословием, обладающим наименьшим количеством предрассудков (кто бы мог это подумать!) является именно духовенство. Оно отлично знает, что делает; ему известны течение и колебания господствующих мнений, оно вполне отдает себе отчет в своем положении, и если оно фанатично в своих предписаниях, то в действительности фанатизма в нем нет. Дрожа, оно устремляет свой взор на пропасть, в которую влекут его законы судеб, и старается только отдалить момент, который само считает неизбежным. Но, отдаляя его, духовенство не выказывает ни страха, ни отваги и, извлекая пользу из окружающих страстей, в то же время ограждает себя от страстей, которые волнуют другие сословия и мешают им идти к общей цели.

Оно само накладывает узду на своих суеверных приверженцев, которых презирает, тогда как к врагам своим оно относится с уважением. Оно образовано; оно никогда не совершит крупных ошибок; оно думает о своей пользе и готово отказаться от власти, когда этого потребуют время и обстоятельства; словом, оно защищается единственным оружием, которое у него осталось; считая его прозрачным, оно все же не расстается с ним, потому что знает Двор, вельмож, знает народ и то безотчетное уважение, какое люди питают к противозаконным, но старинным привилегиям.

Оно бережно обращается со всеми, вплоть до писателей, ведущих с ним борьбу. Оно отвечает им только молчанием, предоставляя теологические прения профессиональным спор-

щикам и опираясь с большей уверенностью на действительную силу—на свое богатство.

Это сословие, мне кажется, владеет искусством самой тонкой и пока что самой удачной дипломатии. Оно теперь терпимее, чем когда-либо, оно не добивается уже тайных приказов об аресте протестантов и их дочерей, оно занято изысканными мирными удовольствиями и считает себя вполне удовлетворенным, пока внешняя, обрядовая сторона культа не образует никакой брешки; оно относится безразлично к противным ему мнениям, не ставит им неосторожных преград, ибо прекрасно сознает, что, поступая иначе, оно придало бы этим мнениям только большую силу.

Оно попрежнему считает самыми страшными своими врагами протестантов и в особенности анабаптистов, число которых в некоторых французских провинциях все растет. Но оно очень близко к тому, чтобы заключить нечто вроде дружеского пакта с философами, потому что видит, что ничего не потеряет, продолжая сохранять свою веротерпимость, в противном же случае подвергнет себя большой опасности.

Когда духовенство начнет перерождаться, его превращение совершится быстро; оно легко и сразу оторвется от всего химерического, чтобы привязаться к реальному. Оно знает, что самое его богатство ускорит одряхление. Оно предвидит, что борьба будет непродолжительна и что слабая сторона будет вынуждена уступить во всем, лишь бы сохранить наиболее крупные и ценные обломки разрушенного. *Мощь католического духовенства*,—сказал Гель-

вещей,—*всегда губительна для мощи государства*. Как же самому духовенству не убедиться в истине этой аксиомы?

Писатели,—желаете вы наказать духовенство, *отплатить ему*, как говорится, той же монетой? Не пишите ничего ни против догматов, которые оно умеет чтить, ни против его привилегий, полученных им еще в предшествующие века, ни против его интриг, без которых оно не может жить. Но постоянно твердите ему о том, что церковное имущество—собственность бедных, что епископы являются только его хранителями, что траты епископов на роскошь, на пышность, на удовольствия являются не чем иным, как настоящим воровством, явным нарушением *святых канонов*¹. Говоря так, вы скажете им страшную истину, которую они сами не могут не признавать; украсьте эту плодотворную истину самыми убедительными и воодушевленными словами, чтобы она проникла во все сердца и все умы. Разве мало у вас поводов для громовых речей, когда какой-нибудь князь церкви, умирая, оставляет своим наследникам два-три миллиона франков, скопленных нечестными путями, за счет бедняков? Опирайтесь на это и напоминайте, что епископ, умирая, не должен оставлять ничего, кроме савана для своего погребения.

А потом предоставьте епископам клеветать на вас в своих посланиях, которые либо вовсе не читают, либо читают, чтобы посмеяться.

¹ Они сами все решительно подтверждают, что церковное имущество по праву принадлежит беднякам.
Прим. автора.

Они пишут эти красноречивые послания потому, что им платят за это сто тысяч экю в год. А что могут они вам сделать?

Кому раздают епископства? Дворянам. Большие аббатства? Дворянам. Все крупные бенефиции? Дворянам. Как! Нужно быть дворянином, чтобы служить богу? Нет, но этим путем Двор привязывает к себе дворянское сословие; военная служба оплачивается так же, как и многие другие менее важные заслуги, церковными деньгами.

Что такое список бенефиций*? Были ли когда-нибудь подобные списки в первобытной церкви? Сколько еще времени они будут у нас существовать? Они уже подверглись и незаметно подвергаются различным превращениям, а затем... Но кто может предвидеть будущее?

В королевстве насчитывают сто пятьдесят тысяч духовных лиц. Все они холосты. Апостолы были женаты. В течение нескольких столетий духовные лица были женаты, и Тридентский собор* уже готов был разрешить брак священников. Сто пятьдесят тысяч человек, пребывающих в безбрачии, опасном для них самих и для окружающих! Можно ли этому поверить? Если бы о таком факте упоминалось в древней истории, он возбудил бы сомнения. А если бы мы оказались вынужденными поверить ему, то на какие бы только размышления он ни навел?!

Что же касается мудрого закона о неотлучном пребывании епископа в своей епархии, то он так открыто и постоянно нарушается, что излишне об этом говорить. Паства не знает

своего пастыря и относится к нему только как к богачу, который развлекается в столице и весьма мало заботится о своем стаде.

346. Версальская галерея

В день Пятидесятницы парижанин отправляется на галиоте в Севр, а оттуда бежит пешком в Версаль, чтобы посмотреть на принцев, побывать в парке и в зверинце. Для него открыты двери больших апартаментов, но закрыты двери малых, самых богатых и интересных¹.

В полдень все толпятся в галерее, чтобы посмотреть на короля, который идет к обедне, на королеву, на Мсьё и Мадам *, на монсеньёра графа д'Артуа и на графиню—его супругу; а потом все спрашивают друг друга: *Видел короля?—Да, он смеялся.—Верно, он смеялся.—У него довольный вид.—Ну, еще бы! Есть отчего быть довольным!*

Господин Мур обратил внимание на то, что во время обедни, когда выносят святые дары, глаза всех устремлены на короля и что никто не становится на колени перед алтарем.

За торжественным королевским обедом парижанин заметил, что король ел с большим апше-

¹ Вернувшись домой, простонародье рассказывает домашним известную историю сторожа зверинца. Долгие годы на обязанности этого ливрейного привратника лежало ежедневно поить верблюда шестью бутылками бургундского. Животное, наконец, сдохло; тогда сторож подал на высочайшее имя прошение; ходатайствуя разрешить ему заменить собою умершего верблюда. *Прим. автора.*

титом, а королева выпила всего только один стакан воды. И это будет темой для разговоров в течение целых двух недель, служанки будут вытягивать шеи, чтобы слышать все эти новости.

Что же касается картин, статуй, разных предметов древности,— на это у парижанина глаз нет, зато он любит зеркала, позолоту, тронным балдахином и количеством блюд, красующихся на королевском столе. Вызолоченные экипажи, швейцарцы*, королевские телохранители* и барабанщики также производят на него большое впечатление.

Что больше всего удивило одного дикаря, привезенного ко двору Карла IX*, так это вид швейцарцев, ростом в десять футов, с усами и аллебардами, подчиняющихся маленькому бледному человечку на тощих ногах. Парижанин далек от того, чтобы понять размышления дикаря. Другой дикарь, увидав картину, изображающую св. Михаила в ту минуту, когда он борется с дьяволом и без всяких усилий, с величественным спокойствием валит его на землю, вскричал: *О! Какой красивый дикарь!* Если бы об этом рассказали парижанину, он так же плохо понял бы эту остроту, как и предыдущую, будь он хоть членом одной из шести гильдий* или нотариусом.

Ничто так не забавляет философа, как возможность прогуляться по этой галлерее и побродить по Версалю. Ему не о чем просить ни министров, ни чиновников. Он знает их только с виду, он заходит в их приемную, присутствует на обедах принцев и принцесс,

его веселят все эти выходы, реверансы, лакеи, официанты, вся важность смешного этикета. Он вспоминает тогда некоторые страницы своего любимого Рабле¹ и втихомолку смеется, ибо здесь человеческий род выставляет себя в самом смешном свете. Он смотрит на все эти высочества, преосвященства и высокопреосвященства, толпящиеся бок-о-бок с пажами и лакеями; здесь спокойный наблюдатель может ничего другого не делать, как только рассматривать всех и всё.

Как не позволить себе этого удовольствия хотя бы три-четыре раза в год! Существует ли на любом языке комедия, хотя бы слегка напоминающая ту, которую ежедневно преподносит зрителям *ойль-де-бёф**? Тому, кто хоть раз видел царедворцев *столь ничтожными перед Солнцем**, выражаясь словами скромного буржуа, — они уже никогда и нигде не покажутся великими.

Но нужно объяснить иностранцам, что такое *ойль-де-бёф*. Это передняя, названная так по имеющемуся в ней овальному окну. В ней живет огромный, плечистый швейцарец-камердинер, точно большая птица в клетке. В этой передней он пьет, ест и спит и почти никогда не выходит из нее. Остальная часть королевского дворца для него не существует. Простые ширмы отделяют его кровать и стол от сильных мира сего. Двенадцать звучных слов украшают его память и исчерпывают его обязанности: *Проходите милостивые государи, проходите! Милостивые*

¹ Кто читал Рабле и усмотрел в нем только шута*, — глупец, завись он хоть Вольтером. *Прим. автора.*

государи, король!—Удалитесь.—Сюда входить нельзя, монсеньёр! И монсеньёр безропотно спешит прочь.

Камердинера все приветствуют, никто ему не противоречит; его голос гонит из галереи целые сонмища графов, маркизов и герцогов. Он изгоняет принцев и принцесс, и обращается к ним только с односложными словами; с менее важными лицами он и вовсе не разговаривает; он открывает и затворяет стеклянную дверь для одного только государя. Все остальное в мире ему совершенно безразлично. При звуке его голоса отдельные маленькие группы царедворцев то сплачиваются в одну большую группу, то рассеиваются. Глаза всех устремлены на его громадную руку, отворяющую и закрывающую дверь. Покоится ли она, находится ли в движении, она оказывает изумительное действие на всех, кто на нее смотрит. Получаемые ею новогодние подарки доходят до пятисот луидоров, так как никто не осмеливается вложить в нее такой презренный металл, как серебро.

Вечером группа царедворцев опять проходит через *ойль-де-бёф* и останавливается у закрытой двери, ожидая, чтобы она отворилась. Это люди, притязающие на редкую честь ужинать за столом государя. Один царедворец дождался такой милости целых тридцать пять лет, был верен во все дни жизни этой неблагодарной двери, но умер, так и не дождавшись, чтобы она отворилась перед ним. Каждый льстит себя надеждой, которая не угасает, несмотря на постоянные разочарования. По прошествии двух часов эта обожаемая и тесни-

мая в благоговейном трепете дверь приоткрывается, показывается камер-лакей со списком в руке и выкрикивает семь-восемь имен, имен счастливых, которые входят или, вернее, про- скальзывают в узкий вожделенный проход. Затем лакей быстро захлопывает дверь перед самым носом остальных, которые, делая вид, что не горюют от такой немилости, уходят с печалью и отчаянием в душе.

Не знаю, что именно—случайность или политика удалили монарха на некоторое расстояние от столицы; не знаю, было ли это обдуман- ным шагом, но, судя по его результатам, кажется, что это было делом самой тонкой политики. Это удаление на четыре льё, делающее монарха как бы невидимым, скрывающее его от глаз и криков толпы, оказало большое влияние на образ правления.

Король приезжает в Париж либо в виде милости, благодеяния, либо показывается там в образе властелина, приезжающего, чтобы изъяснить свою волю.

Один парижский буржуа вполне серьезно спросил своего собеседника-англичанина:

— Скажите, что представляет собой ваш король? У него такой плохой дом, что жалко смотреть! Взгляните на нашего, он живет в Версале. Вот действительно великолепный замок! Есть ли у вас что-нибудь подобное? Какое величие, какой блеск, какая пышность! Одета золотом толпа! Все это дело Людо- вика XIV. Он истратил около восьмисот мил- лионов на дворец и его парки. Это был великий государь! Одного свинца для водопроводов



Дьячок за обедом
С гравюры Дюпона по рисунку Доменника

пошло на тридцать два миллиона. Он сжег окончательный счет; это самый великолепный дворец изо всех существующих в мире. Даже Дворы наших принцев богаче, чем Двор вашего короля.

И он продолжал в таком духе, а англичанин, ошеломленный подобными рассуждениями, молча взирал на парижанина, не зная, что ответить.

Ныне царствующая королева* повелела расставить реверберы вдоль всего пути от Версаля до заставы Конферанс, так что теперь можно пройти от самого *ойль-де-бёфа* вплоть до главной Венсенской аллеи, то есть целых пять с половиной льё, по освещенной дороге. Ни один ни древний, ни современный город не являл подобного полезного великолепия. Любое удобство, становясь общественным, приобретает характер величия, и к нему уже неприменимо слово *роскошь*.

Господин Шерлок*, несомненно, уезжал из Парижа по этой восхитительной дороге, ибо он сказал: *Никогда никто еще не бывал весел, покидая Париж. Какова бы ни была причина отъезда, все с грустью расстаются с Парижем.* Особенно грустно, если не ошибаюсь, бывает тогда, когда покидаешь Париж, отправляясь в разные версальские конторы испросить там какую-нибудь милость или молитвь о справедливости, или приводить в исполнение какой-нибудь план. Приходится говорить с чиновниками, которые слушают, ничего не отвечая, и, еще не выслушав, уже принимают то или иное решение.

Версаль, насчитывающий сто тысяч душ, заметно растет и становится все величественнее. Сто двадцать лет назад это была убогая деревня; сейчас его улицы широки, хорошо проветриваются и почти круглый год там можно гулять, не пачкая башмаков.

Хотя Версаль и является очагом всех наиболее важных административных и политических дел, он, находясь в орбите столицы, всегда будет послушным ее спутником и будет во всем неизменно разделять судьбу своей планеты.

Дух этого второстепенного города ничем не отличается от того, что царит во дворце, а этот последний можно изучить в один день. То, что делалось вчера, будет делаться и завтра, и кто видел один день, видел весь год.

Во Франции насчитывается шестнадцать тысяч кавалеров ордена Сен-Луи*, из коих десять тысяч живет в Париже и его окрестностях. Кавалеры разъезжают в каретах, называемых *ночной горшок**, из Парижа в Версаль, осаждают версальские канцелярии, заполняют передние, толпятся в *галлерее*, разносят новости, безумолку рассуждают о минувших войнах, несут всякий вздор о политике; ибо на все смотрят только с военной точки зрения и никак не могут привыкнуть к переменам, которые создаются ходом событий.

Жители этих мест охотно убеждают себя в том, что Версаль превосходит по красоте всю Европу и что совершенно излишне путешествовать, раз не увидишь ничего лучшего. Поэтому здесь никак не могут понять фантазии вельможи, едущего в Голландию, Англию,

Швейцарию, Италию, Германию и Россию. Его упрекают в чужачестве.

Здесь каждый гордится своей должностью, считая себя, так сказать, членом королевской семьи, раз он находится неподалеку от сапога монарха. Подающий на королевский стол блюда именуется камергером, а несущий королевскую мантию—шталмейстером. Никто не осмеливается ни в коем случае присваивать себе функций своего соседа. За королевским столом исполняются тридцать или сорок разнообразных обязанностей, вплоть до принесения из кухни половника, что возложено на особого чиновника. Кто в состоянии добратся до первоисточников и проследить подразделения этих должностей, покупаемых за деньги, а затем в свою очередь оплачиваемых! Какой омут! Чей глаз осмелится измерить его глубину!

Народная ненависть ни при каких обстоятельствах не затрагивает монарха. Ей надо для этого пройти чересчур много инстанций; она обрушивается на чиновников, на управляющих, на высших должностных лиц, на второстепенных и третьестепенных министров. Они принимают на себя все недовольство, все оскорбления; им приписывают все общественные бедствия. Они существуют, чтобы умерять вражду в случае ее возникновения. Народ чувствует, что монарх никогда не стал бы его ненавидеть, что он желает ему добра и стремится к добру, потому что в его же выгодах желать его и стремиться к нему.

Наконец, Версаль—это страна, где люди всю свою жизнь проводят стоя. В Версале нигде

и никогда не сидят. Один восьмидесятичетырехлетний царедворец, современный Симеон Столпник*, провел на ногах по меньшей мере сорок пять лет в передних короля, принцев и министров.

Этикет очень утомляет придворных, но не меньше утомляет и тех, в честь кого он установлен; этикет—это закон для тех, кто издает законы. Таким образом—все вознаграждается.

347. О Дворе

Слово *Двор* теперь уже не производит на нас такого впечатления, как во времена Людовика XIV. Двор уже не ставляет нам господствующим мнений, не создает репутаций, какого бы рода они ни были; теперь уже не говорят со смешным пафосом: *Двор высказался за то-то и то-то*. Приговоры Двора оспариваются; теперь говорят, не стесняясь: *Двор в этом ничего не понимает; у него нет на этот счет никаких мнений, да и быть не может,—это не его дело*.

Двор и сам не осмеливается высказывать своего мнения ни по поводу новой книги, новой пьесы или нового шедевра, ни по поводу какого-нибудь из ряда вон выходящего события: он ждет приговора столицы, он даже старается поскорее его узнать, чтобы не попасть впросак, высказав мнение, которое будет кассировано обществом, да еще с уплатой судебных издержек.

Во времена Людовика XIV Двор был образованнее города, в настоящее время город образо-

ваннее Двора. Их мнения редко согласуются, и это не должно удивлять, так как полученное ими образование чересчур различно, чтобы не сказать—противоположно. Двор молчит по поводу многих вопросов из осторожности и даже из робости, до такой степени голос совести громче, чем желало его выставить угодничество. Город говорит с уверенностью решительно обо всем, Двор чувствует, что не должен рисковать высказывать свое мнение по поводу целого ряда вопросов из боязни получить суровую отповедь. Город, в котором сосредоточены все искусства и науки,—причем их смешение придает им еще большую мощь,—смело берется все решать, потому что сознает свою силу и уверен в своей правоте, уже неоднократно испытанной, тогда как Двор смутно чувствует, что ему недостает многих знаний, способных подтвердить его мнение.

Таким образом, Двор утратил свое прежнее влияние на изящные искусства, литературу и все, что в наши дни с ними связано. В прошлом веке ссылались на одобрение того или иного царедворца или принца, и никто не осмеливался противоречить. Тогда суждения о тех или иных вопросах не были еще ни достаточно обоснованы, ни достаточно быстры; приходилось руководствоваться мнением Двора. Философия (вот еще одно из ее преступлений!) расширила горизонт, и Версаль, являющийся лишь точкой на этом горизонте, занял подобающее ему место. Происшедшая перемена во взглядах и мыслях еще очень нова. Когда подумаешь о том, что прежде мнениями руко-

водила власть и отдашь себе отчет, как эти мнения возникали, когда вспомнишь, что представлял собой Двор Людовика XIV с точки зрения идей и вспоминаешь царившие в нем предрассудки, когда подумаешь о том, что представляла собой набожность того времени, что проделывалось *версальским проповедником, руководителем совести, духовником короля*; когда вспомнишь, что обвиненный Люксембург* намеревался искать защиты у отца Ла-Шеза, — тогда с удивлением видишь, не смея еще этому верить, какая невероятная разница существует между прошлым веком и настоящим.

Теперь одобрение или неодобрение, воспринимаемое потом всем королевством, исходит от города.

Людовик XIV дрожал при звуке голоса Боссюэ, вселившего в его душу воображаемые страхи. В наши дни Боссюэ и его проповеднический вид, его тон, его угрозы были бы освидетельствованы и он не внушил бы мистических страхов даже самому незначительному чиновнику. Именно город показал Двору действительную ценность того, что его некогда ужасало.

348. Крайности сходятся

Вельможи и чернь очень близки друг к другу своими нравами. Первые не боятся предрассудков, так как уверены™ в своем влиянии и богатстве; вторая, которой нечего терять — ни чести, ни уважения, живет распущенно, ничем не стесняясь. Я нахожу даже, что в ха-

рактуре их ума тоже много общего. У селедочниц, если отбросить их стиль, найдется не мало очень удачных выражений, точно так же, как и у знатных особ: то же богатство языка, та же оригинальность оборотов, та же свобода выражений и образов. Здесь, безусловно, существует аналогия для того, кто умеет снимать внешние покровы: тут воняет рыбой, там пахнет мускусом.

Вельможи не щедрее нищих, но получите что-нибудь от вельможи, и он будет к вам привязан. А почему? Потому что, дав вам, он будет ждать от вас процентов. Точно так же поступает и бедняк: если он даст займы какому-нибудь несчастному, он уже не отстаёт от него и удваивает благодеяния, не желая потерять своего. Некто попросил у кардинала де-Флэри* одно экю.—«На что вам экю?»—«Дело в том, что, дав мне сейчас одно экю, вы потом дадите мне еще несколько»,—ответил тот.

Если вы служите у какого-нибудь принца, постарайтесь, чтобы он для вас что-нибудь сделал,—этим вы составите себе состояние. Нищий поэт попадает к его высочеству; принц из тщеславия делает для него все возможное. Он его не любит и не уважает, но благодаря поэту слава принца возрастет, так как будут говорить: *Он благодетельствовал одного поэта! Всякий приближающийся к нему бывает щедро осыпан милостями, вполне соответствующими высокому положению принца.*

Сила знатных,—говорила одна очень умная женщина,—*только в представлении простых людей. И разве это не удивительное явление,*

по поводу которого умеющий размышлять мог бы написать целую книгу?

Вельможи, как и простолюдины, не верят в честность. Все они говорят: *Честность взвешивается*. Всего труднее им понять, что человек может быть нравственным и добродетельным.

У них всегда просят. Они редко дают за заслуги, чаще за лесть и интриги. *Богатые и знатные должны беспрестанно помогать окружающим*, — говорит г-жа де-Шуази девице де-Монпансье, — *иначе они ни на что не нужны*.

Вельможа считает свое мнение непогрешимым. Раз он сказал *да*, он из гордости никогда от этого не откажется, так как не хочет, чтобы могли подумать, что у него две различные точки зрения. Среди его слуг может оказаться десяток мошенников, что он и сам поймет впоследствии, но все же он будет продолжать им покровительствовать; свое упрямство он сочтет за благородную стойкость, непомерная гордость введет его в заблуждение, подобно тому как недостаток знаний постоянно вводит в заблуждение простолюдина.

Голодный кричит без стеснения, потому что голод поневоле заставляет его жаловаться. Иной вельможа из честолюбия громко ратует за общественную свободу и произносит громовые речи в храме правосудия, а за его стенами сам нарушает законы. Чего добивается первый? Куска хлеба. Чего добивается второй? Важной должности.

Вельможи не платят своих долгов так же,

как не платит их и младшая братия. Первые вечно берут займы у неимущих, которым, после того как они долгое время служили пищей богачам, удается в конце-концов, объединившись, расстроить состояние надменного заемщика.

Я редко встречался с вельможами, но мельком я их все же видел. Я знаю, что гордость присуща всем; их же гордость основана обычно на влиянии и могуществе. Они прекрасно знают, что могут оскорблять безнаказанно, и охотно пользуются этим преимуществом. Они словно считают своим долгом презирать всех и вся; гений и добродетель их пугают и раздражают; они хотели бы смеяться над гением и добродетелью не из зависти, но из чувства ненависти, потому что они всегда ставят свое звание и состояние выше действительных достоинств, какими являются талант и добродетель. Титулы и богатство служат им щитом, с помощью которого они уклоняются от самых священных обязанностей. Их внешнее добродушие в большинстве случаев только ловушка или же разновидность еще более утонченной и обдуманной гордости. Их благодеяния носят такой оттенок, что не вызывают чувства благодарности. Их блестящие речи, их вежливое обращение могут ослепить только неопытного человека; вообще же не трудно составить о них правильное мнение и увидеть, что у большинства из них мелкие, тщеславные душонки и что ум их лишен благотворного света полезных знаний; они раздирают родину, а не служат ей; они умеют только строить козни, чтобы делать зло, хитрить

при Дворе и обманывать младшую сестру, ослепляя ее обещаниями¹.

Беда тому, кто им поверит: он зря потеряет свои лучшие годы. *Нужно изредка посещать великих мира сего*,—говорил Ла-Брюйер:—*не ради их самих, но ради тех умных и достойных уважения людей, которых можно у них встретить.*

Будьте уверены, вельможи будут всегда тщеславиться своим богатством, будут стараться его раздувать, никогда не будут довольствоваться тем, что имеют, и всегда будут унижать тех, кто живет более полезным и почтенным трудом, чем они. Однажды какой-то министр с презрением отозвался о тех, кто, как он сказал, *пишет ради денег*. На его несчастье, он сказал это в присутствии Жан-Жака Руссо. «А вы, ваше превосходительство, для чего пишете?»—скромно спросил его философ.

Низшие и высшие слои общества соприкасаются. По этому поводу, друг читатель, я расскажу вам сейчас маленькую басню. Я позабыл имя ее автора.

Ступеньки

Где больше двух в одной объединились рамке,
Там дело не пройдет без ссор.
Ступеньки лестницы-стремянки
Затеяли однажды спор

¹ Некто сочинил нижеследующие стихи:

Я давно уже стою на последнем месте,
Но этим не обижен, не сержусь, не смущен.
Я не воспользовался ни малейшей милостью,
Зато не получал и поворного отказа.

Прим. автора.

О рангах и происхождении
Ступенька верхняя на первенство права
Отстаивала, и слова
Лились у ней рекою в подтвержденье:
«Как вам далеко до меня, друзья!
Притом же всякому из вас своя
Дана судьба и положенье,
А этим самым упразднен
И безрассудный равенства закон».

В ответ ей: «Все ведь мы из дерева, однако,
И только случай нас поставил всех».
«Допустим! Но уж раз поставлен всякий,
То преимущества освящены навек!
Святит нам время то, что случаи создали;
Чтоб ниспровергнуть этот строй,
Уж вы немножко опоздали;
Теперь молчанию язык учите свой!»

Мудрец, с досадою услышав этот вздор,
Подходит к лестнице, не чающей сюрприза,
И, верх перепрокинув книзу,
Тем самым прекращает спор¹.

349. Светские мудрецы

Светские мудрецы не только двуличны, но и двуязычны. Один знатный вельможа, и к тому же честный человек, сказал однажды своему сыну: «Вы очень неосторожны». — «Что же я такое сделал?» — спросил тот. «Вспомните, как вы вчера злословили...» — «Но, сударь, я сказал то же самое, что говорил вам на прошлой неделе; мне казалось, что вы были того же мнения». — «Верно, — ответил отец, — но тогда мы были наедине; к тому же тот, о ком вы говорили, тогда еще был не у дел».

¹ Перевод А. А. Соколовой.

350. Апология литераторов

Яростная клевета особенно нападает на литераторов. Их изображают нарушителями спокойствия государств, потому что они проявили себя врагами злоупотреблений и покровителями общественной свободы. Какими только полезными идеями мы им ни обязаны! Из какой бездны заблуждений и жалких предрассудков ни вывели они правителей народов! Чему другому учат они, как не любви к человечеству и правам человека и гражданина? Есть ли хоть один важный общественный вопрос, который бы они не исследовали, не обсудили, не выяснили? Если деспотизм смягчился, если монархи стали бояться народного голоса и научились уважать этот верховный суд, то единственно только перу литераторов мы обязаны этой новой, доселе неизвестной уздой. Может ли теперь министр или король похвастаться тем, что его незаконный поступок прошел безнаказанным? И самая слава королей не ждет ли санкции философа? Он безвестен и бессилен, но он заставляет громко звучать голос всемирного разума. В жизни литераторы представляют собой небольшую группу граждан, рассеянных по разным местам и то скорбящих о несчастьях родины и человечества, то—что особенно часто—облекающих себя в добродетель, если и не вполне бесплодную, то, во всяком случае, такую, плоды которой так медлительны и неощутимы, что ум порой начинает в них сомневаться.

В то время как на них нападает людская

злоба и невежественность, они презируют эти стрелы, которым все равно суждено сломаться, ибо ничто не может противостоять мировой известности. Благодаря превосходству разума литераторы предвидят похвалы, которые получат от [восприимчивых] людей настоящего и будущего поколения, и награду за свои труды усматривают в укреплении всего того, что способствует общественному благу.

А потому следует всячески чтить этих людей; они расширяют наши знания и создают как нравственный кодекс народов, так и гражданские добродетели частных лиц. Поэма, драма, роман—любое литературное произведение, живо изображающее добродетель, воспитывает читателя, незаметно для него самого, по образцу тех добродетельных личностей, которые действуют в книге. Они увлекают читателя и тем самым учат нравственности, не говоря о ней. Писатель не углубляется в рассуждения, часто сухие и утомительные. Путем искусно скрытой работы он представляет читателю различные душевные качества, облеченные в образы, которые способствуют их восприятию. Он заставляет нас любить великодушные поступки, и человек, противящийся рассуждениям и догматическим наставлениям, наслаждается простодушной и искренней кистью, которая пользуется восприимчивостью человеческого сердца, чтобы внушить ему то, что обычно отвергается ожесточенным себялюбием. Автор заставляет себя слушать, доставляя наслаждение; и предписания самой суровой морали оказываются воспринятыми, а цель писателя

при этом не обнаруживается: *Pectora mollescunt*¹.

Монтень говорит, что *хорошо родиться и жить в развращенный век, потому что, по сравнению с другими, можно легко сойти за добродетельного человека*. В данном случае Монтень неправ: в такое время не верят в чужую добродетель и не радуются своей собственной; самым бескорыстным поступкам приписывают низкие и подлые побуждения; человека лишают чести и не чувствуют к нему никакой благодарности за его самопожертвование. При всеобщей испорченности все выглядят одинаково; из толпы выделяются только ловкие люди да несчастные.

351. Литературные ссоры

Когда хотят унижить литераторов, говорят о их ссорах, носящих резкий и нередко скандальный характер. Правда, в пылу споров они выказывают себя плохо понимающими свои собственные интересы и оттачивают друг против друга оружие, которое должны были бы повернуть против врагов.

Пора бы им об этом подумать. Их враги стали бы тогда бессильны, а литература без этих печальных междоусобиц приобрела бы внушительность, которая покорила бы ее противников. Было бы гораздо достойнее, если бы литераторы оставались равнодушными к мелочным нападкам, вместо того чтобы проявлять

¹ Сердца смягчаются (лат.).

чрезмерную чувствительность, выражающуюся в ребяческих воплях. Самые маленькие писатели, будучи неизменно самыми гордыми, обычно поднимают много шума из-за малейшего укола, причиненного их самолюбью. Что же касается знаменитых литераторов, то они или позволяют себе раз и навсегда отомстить своим оскорбителям с тем, чтобы больше к этому уже не возвращаться, или, что гораздо мудрее,—презирают нанесенное им оскорбление. *Оно само рушится, как только начинаешь его презирать*,—говорит Тацит.

В конце-концов, литераторов можно упрекать только в том, в чем упрекают и все остальные сословия—адвокатов, докторов, художников и др. Часто по какому-нибудь самому ничтожному поводу люди, слывущие за наиболее мудрых, затевают ярые ссоры и наносят друг другу оскорбления, которые нередко заканчиваются кровопролитием; когда же литературные противники желают уничтожить путем злобных насмешек плоды наших трудов и бессонных ночей, от нас требуют исключительной сдержанности! Хотят, чтобы мы вели борьбу хладнокровно, вежливо, умеренно, в то время как задевают наши самые чувствительные струны! Да! Стоит прислушаться к какому-нибудь спору, возникшему во время разговора о чем-нибудь самом незначительном,—какое столкновение мнений! Сколько пыла вносят обе спорящие стороны! Какое соревнование иронии и сарказма! Когда же начинают презрительно отзывать о наших произведениях, когда нас упрекают в том, что мы плохо поняли прочи-

танное, плохо размышляли, плохо написали, от нас требуют хладнокровия, которое все так часто теряют по самому ничтожному поводу! Не значит ли это требовать слишком многого от тех, кого считают одаренными большей чувствительностью сравнительно с остальными людьми?

Но, осуждая споры литераторов, публика лицемерит; в сущности, она ничего против их споров не имеет, так как ее забавляет зрелище такой нелепой борьбы. Публика, в общем, лукава, беспечна и очень жадна до всякого рода сатир,—все это качества, как раз подходящие для того, чтобы выслушивать колкости, посылаемые друг другу враждующими сторонами. Не награждает ли она пальмой первенства наиболее заядлого спорщика, того, кто с наибольшим искусством и горячностью пускает наиболее острые, и язвительные стрелы? Разве не говорят: *Лагарн ловко поддел Клемана* и *Клеман ловко поддел Лагарна*? Не доставляет разве публике удовольствия видеть удары, наносимые и возвращаемые литераторами друг другу? Не обсуждает ли она вопросы о сравнительной силе нанесенных противниками ударов? Не считает ли она их почти равными по мощи и достойными быть увенчанными одним и тем же лавром и достойными продолжать издание журнала, чтобы устраивать подобные представления на потеху зрителям?

В разговорах бранят писателей, желая придать себе этим полный достоинства и приличия тон, но это не мешает бежать за сатирическим листком, лежащим в передней, и торо-



Игроки

С гравюры Романа по рисунку Вилля

пливо искать в нем желанную эпиграмму. Если же она недостаточно резка, если, забыв свою обычную желчь, журналист на этот раз сдал, то, пожимая плечами, говорят: *В этом номере нет ничего пикантного.* Когда ненасытная злоба читателя, громко проповедующего согласие и миролюбие, не находит удовлетворения, он с презрением бросает листок, говоря: *Если так будет продолжаться, я прекращу подписку.*

Сказать ли правду о большинстве читателей? Пословица говорит: *Не будь укрывателей, не было бы и воров.* Если бы большинство не было склонно покровительствовать всему, что унижает известных писателей, то они не вели бы между собой войны. Таким образом, публика ответственна за те крайности, которые писатели позволяют себе, так как она подкупает толпу журналистов и поощряет их рвать друг друга на части. За последние несколько лет журналисты особенно охотно идут навстречу этим оскорбительным ожиданиям публики. Никогда еще презрение к благопристойности не заходило так далеко; а что касается критики, то она сделалась такой резкой, такой педантичной, что утратила влияние, на которое рассчитывала.

Эти мелкие и бесцельные ссоры, порождаемые завистью и партийным духом мелких писателей, желающих кичиться друг перед другом своими преимуществами, столь же смешны, как и постыдны, так как в большинстве случаев дело идет о рифмах, полустышьях, о неудачном слове и т. п. Чем пустяшнее причины, тем оже-

сточеннее нападки. Незначительность предмета спора выставляет обе стороны в самом смешном свете, ибо и те и другие так горячатся, точно все кругом рушится.

Ей-ей, и судей, и истцов,—всех нужно бы связать!

Но бесполезно было бы увещевать по этому поводу поэтов: они приходят в неистовство, превращаются в каких-то одержимых, споря об изяществе того или иного стиха, о превосходстве той или иной трагедии Расина, *о вкусе*,—слово, которое они постоянно употребляют и о смысле которого обычно не имеют никакого понятия. Я присутствовал при совершенно невероятных прениях по этому поводу, и если бы я передал во всех подробностях диалог выступавших, здравомыслящие люди обвинили бы меня в намеренном искажении действительности. Свои статьи спорщики пишут непосредственно после таких безобразных схваток, чем и объясняется, что в них так много слов и так мало мыслей.

Правда, публика, занятая другими событиями, видит литературные дела сквозь некий туман; она не обладает действительным знанием того, о чем идет речь. А потому она мирится со всякой грубостью, и так как лень лишает ее возможности вынести точный и обоснованный приговор, то ей нужен кто-нибудь, кто подсказал бы ей то или другое решение (хотя бы и неправильное) и время от времени побуждал бы ее выносить произведению смертный приговор. Ибо что может быть грустнее, как выслушивать похвалу своим современникам?! В Па-

риже, если и хвалят что-либо, то только под влиянием общего увлечения или под влиянием партийных выгод. А—как говорил Гельвеций— все, что не божественно, становится отвратительным. В иных кружках приходится быть одновременно и строгим хулителем и восторженным энтузиастом и быстро переходить от одной из этих крайностей в другую, чтобы слыть за человека, умеющего правильно судить о людях и о книгах.

Считают, что такому громадному городу, как Париж, необходимо получать ежедневно известную порцию легких сатир для поддержания постоянного волнения и беспокойства, и совершенно был прав тот, кто сказал, что *хорошая брань всегда лучше принимается и запоминается, чем любое хорошее рассуждение*. Вот в нескольких словах вся теория журналистики.

Когда появляется какая-нибудь хорошая книга,—здравомыслящие люди, прежде чем высказать о ней свое мнение, читают ее и думают о ней; глупцы же сразу начинают кричать, кричат долго и марают кучи бумаги. Вспомните, как было встречено появление *Духа законов*, *Эмilia* и тому подобных книг.

Счастливы литераторы, не ведающие этой прискорбной войны! Ее можно избежать, заботливо наблюдая за своим самолюбием, так как борьбе обычно дает начало чересчур гордящийся своими знаниями ум, желающий заставить всех думать по-своему. Противоречат же того, чтобы унижить ближнего, чтобы удовлетворить затаенную досаду, а вовсе

не для того, чтобы чему-нибудь научиться. Колькость спешит сорваться с пера, часто даже помимо нашей воли, а стоит позволить себе нанести кому-нибудь несколько ударов, как уже становишься врагом этого человека. Нападающий прощает всегда менее охотно, чем пострадавший.

352. Изящная словесность

Трон ее в Париже. Занимающихся же ею даже слишком много; но так как основательно заниматься политикой во Франции почти что запрещено, так что склонности к политике нет никакой возможности проявляться свободно, а все другие области знания, относящиеся к естественной истории или химии, требуют большего количества свободного времени и хорошего состояния, то ум парижанина все же предпочитает область изящной словесности всякой другой. Бедняк в такой же мере, как и богач, может отдаваться ее очарованию. В этом ее преимущество. К тому же она охватывает все, что относится к воображению, а поле это неизмеримо, и для путешествий по нему больших денег не требуется. Чувствительная душа и тонкий ум равно могут находить удовлетворение в чтении поэтов, романистов, историков. Все это всегда будет создавать такое множество любителей изящной словесности, какого никогда не будет у точных наук; последние, не говоря об известной их сухости, требуют еще некоторых усилий, не давая со своей стороны сразу же тех наслаждений, какие дает изящная

словесность. Литература заставляет забывать скуку, одиночество, несчастье, она радуется все возрасты, заполняет все часы и минуты, и сам Цицерон, хотя и был государственным человеком, написал о ней похвальное слово, которое до сих пор сохранило всю прелесть новизны и одинаково хорошо воспринималось во все времена.

Кто может при первом взгляде подумать, что все открытия, все полезные изобретения, все усовершенствования в области механики, все лучшие политические системы зависят от изящной словесности? Она всегда предшествовала точным наукам, она украшала их, и благодаря именно ей нация и восприняла все те науки, которые впоследствии так высоко оценила. Воображение и чувство являются источником всего, даже того, что кажется наиболее далеким от них. Иногда бывает достаточно, чтобы в какой-нибудь еще дикой стране занялась заря литературы, чтобы вскоре там появились и искусство и смелые изобретения.

Такая связь между изящной словесностью и науками существует у всех народов, причем настоящая причина этого еще не вполне выяснена; известно только, что человек прежде всего начинает чувствовать, а затем уже отдает себе отчет в своих ощущениях. В этом отношении нравственный мир, пожалуй, напоминает мир физический, где цветы всегда предшествуют плодам, и это может примирить суровых ненавистников граций с легкомысленными приверженцами блестящей литературы.

Из этой же первопричины, следовательно, возникают и хорошие законы. Повидимому,

необходимо начинать со слов, чтобы притти потом к идеям, и легко заметить, что каждое установление носит вначале отпечаток приятного и красивого. Сказывается ли в этом непрерывный прогресс природы? Как детство человека приятно и весело, зрелый же возраст плодотворен, так и искусства сначала выступают в блестящем наряде и говорят чувствам человека значительно раньше, чем начинают обогащать его ум.

Но тот, кто умеет наблюдать развитие человеческого ума, видит, что мало-по-малу все роды литературы стремятся к усовершенствованию общественной нравственности. В этом заключается благо как отдельных личностей, так и народов в целом. Все писатели стремятся к этой полезной цели. Мораль ни печальна, ни неприятна, ни мрачна; поучая, можно и увлекать, и нравиться, и забавлять. Действительно крепкие умы и сильные души отнюдь не презирают того, что может содействовать распространению знаний путем разукрашивания их пестрыми красками фантазии. Театральная пьеса, будь то даже комическая опера, может сделаться немного менее легкомысленной и стать от этого только привлекательней. *Обязанность добродетельного человека*,—говорит Монтень,—*изобразить добродетель как можно прекраснее.*

Стоит кому-нибудь написать книгу политического или нравоучительного содержания, как все тотчас же начинают твердить давно известный припев: *Бесцельная работа! Напрасные труды! Нравы не могут меняться. Злоупотре-*

бления всегда останутся такими же. Ничто не может на них повлиять. Люди всегда будут такими же, какие они есть, а правители такими же, какими были. Сказать это легко; но опыт решительно опровергает такое утверждение.

За последние тридцать лет в наших понятиях произошла громадная и крайне важная перемена. Общественное мнение представляет собой теперь в Европе такую силу, противостоять которой невозможно. Таким образом, учитывая прогресс знаний и вызываемые этим перемены, можно надеяться, что знания принесут миру величайшее благо и что все тираны содрогнутся от единодушного крика, который прозвучал и продолжает звучать, наполняя собой Европу и пробуждая ее.

С помощью литературы и писателей здравые идеи в течение последних тридцати лет с необыкновенной быстротой распространились по всем провинциям Франции; появилось несколько прекрасных государственных умов. Все просвещенные граждане действуют в настоящее время в одном направлении. Новые идеи распространяются легко; всё, что имеет отношение к образованию, смело воспринимается. Наконец, наблюдательная способность, проявляющаяся в настоящее время повсеместно, обещает нам впереди такие же выгоды, какими пользуются некоторые наши счастливые соседи.

Писатели одарили нас истинными сокровищами, заронив в нас более здравые, более человеческие идеи, внушив нам нетрудные добродетели, преисполненные снисходительности,

воспитывающие и украшающие общество. Ригористы в области морали, повидимому, совсем не знали человека и только раздражали его страсти, вместо того чтобы их успокаивать и умерять. Наконец, путь, по которому в последнее время движется литература, несомненно принесет пользу человечеству; те, кто не верит в ее благотворное влияние, либо слепцы, либо лицемеры.

Влияние писателей таково, что в настоящее время они уже могут открыто заявлять о своей власти, не скрывая своего вполне законного господства над умами. Основываясь на заботе об общественном благе и на действительном знании человека, они будут руководить народным умом; воля граждан в их руках. Нравственность сделалась главным предметом изучения благожелательных умов; литературная слава отныне, повидимому, предназначается тому, кто с большей твердостью будет защищать общественные интересы. Литераторы, проникнутые сознанием этих священных обязанностей, будут стремиться держаться на должной высоте, и уже сейчас смелая правда начинает проявлять себя повсюду. Нужно думать, что эта всеобщая тенденция вызовет в итоге благотворный переворот.

353. Три короля

Недавно Париж посетили северные государи: датский король, в честь которого был дан ряд великолепных и дорогих празднеств; шведский король, приехавший сюда наследником престола, а уехавший монархом и замышлявший

в этом городе пресловутую революцию, которую не привел в исполнение и наконец, император, который для того, чтобы пользоваться большей свободой, нанял *меблированный особняк* на улице Турнон и мог поэтому хорошо осмотреть столицу, вплоть до самых мелочей. В 1781 году император опять был в Париже, но на этот раз только проездом.

Я очень внимательно присматривался ко всем троицам и навсегда запомнил их лица, ибо им всем будет отведено место в истории нашего времени.

Как и шестистам тысячам жителей Парижа, мне очень хотелось бы увидеть в его стенах прусского короля. Между прочим, говорят, что он приезжал сюда, соблюдая строжайшее инкогнито, после заключения мира 1763 года. Одна дама, прожившая восемь лет в Берлине, уверяла меня, что как-то встретила в Тюильри человека, до такой степени похожего на героя Европы, что была поражена, а тот, на кого она смотрела, взглянул на нее тоже с нескрываемым изумлением и, отвернувшись, поспешил удалиться.

Предполагают, что Фридрих посетил ту кофейню, именуемую *Пещерой Прокоса*, которая была некогда местом сборища писателей, полем их литературных сражений и ссор, и где так часто шла речь о прусском короле, о сражениях, о его победах, его дипломатии, его сочинениях и о редкостных, прекрасных качествах его души.

Император посещал артистов, ремесленников, фабрикантов, но не имел дела ни с одним писателем, вероятно потому, что все они доста-

точно проявили себя в своих сочинениях. Он присутствовал раз на заседании Французской академии и обратился к секретарю с вопросом: «Почему Дидро и аббат Реналь не состоят членами Академии?»—«Они не выставляли своих кандидатур»,—ответил секретарь. Весьма мудрый и тонкий ответ!

Я видел Морица*, Фонтенеля, Монтеस्कьё, аббата Прево, Мариво, Вольтера, Жан-Жака Руссо, Ла-Кондамина*, Бюффона, Гельвеция, аббата Реналья, Кондильяка, Дидро, д'Аламбера, Томà, Сервана*, Мармонтеля, Ле-Турнёра*, Мабли, Кондорсе, Ленге, Ретифа-де-ла-Бретона, Тюрго, Мирабо, Неккера, Рамо, Ванло*, Глюка, Верне*, Аллегрена, Руэля*, Вокансона*, Жаке Дроза*, Сервандони*, Клеро*, Фальконе, Франклина, Роднея*, Юма, Стерна, Гольдони, Галлера*, Бонне* и др. Кажется, достаточно блестящее поколение. Но, увы! Я не видел ни Фридриха, ни Екатерины, этой великой государыни, а я так люблю встречать среди своих современников людей, отличающихся великими делами: я стараюсь угадать в их чертах отпечаток присущей им гениальности.

Когда я узнал о смерти знаменитого капитана Кука, то помимо того, что я горячо скорбел об утрате, я был не мало огорчен и тем, что мне ни разу не удалось увидеть этого бесстрашного мореплавателя.

Чего только ни дал бы я волшебнику, если бы такой существовал, за то, чтобы он вызвал и показал мне величественные тени Карла Великого, Густава*, Кромвеля, Микельанджело, де-Гиза, Сикста V, Елизаветы, Бекона, Каль-

вина¹, Галилея, Ньютона, Шекспира, Ришельё, де-Тюренна, Царя*, лорда Четема* и других.

Как люблю я чувствовать себя маленьким, мысленно окружив себя этими великими людьми и наслаждаясь их лицезрением. Сильные, высокие души, какое достоинство придаете вы человеку!

354. О влиянии столицы на провинцию

Оно чересчур сильно сравнительно с влиянием политическим, чтобы можно было подробно разобрать его проявления. Поэтому я скажу здесь только о тех чарах, которые соблазняют столько юных голов, рисуя им Париж приютом свободы, удовольствий и самых упоительных наслаждений.

Но какое разочарование ждет этих молодых людей там, куда они так стремились! В прежние времена дороги, соединяющие столицу с провинциями, не были ни такими свободными, ни такими избитыми. Каждый город оберегал своих детей, которые жили в его стенах с самого дня рождения и становились впоследствии опорой престарелых родителей. В наши дни юноша продает свою часть наследственного имения, чтобы истратить ее вдали от семьи; он выкачивает из нее все, что может, чтобы блеснуть на миг в этом вертепе разврата.

¹ Этот преобразователь, создавший новую эпоху, был неутомимым проповедником. Он произнес и написал две тысячи двадцать три проповеди,—все на разные темы. Они хранятся в Женевской библиотеке, где их можно видеть. *Прим. автора.*

Молодая девушка вздыхает и стонет оттого, что не может сопровождать брата. Она негодует на свой пол и на природу. Родительский дом ей уже больше не мил. Она с жаром рисует себе картины столичных удовольствий и роскошь Двора. Она мечтает об этом по ночам. Она видит Оперу, видит себя катающейся на городском валу в великолепном экипаже; ее обожают, все взоры устремлены на нее.

Она слышала, что в Париже женщины окружены поклонением, что нужна только красота, чтобы быть всеми любимой, что женщине остается только выбрать в этой толпе рабов того, кто ей особенно нравится, что мужей там поднимают насмех, едва только они заикнутся о своей власти. Девушка сравнивает эту свободную, сладостную жизнь с той, которую она ведет в родительском доме, где царит бережливость и порядок, и воображение ее чересчур увлечено, чтобы она могла сдерживать его; отныне она сможет предложить своему верному возлюбленному только уважение.

Мать поддерживает все ее иллюзии. Она сама жадна до столичных новостей. Она первая с восторгом восклицает: *Он прямо из Парижа! Он был при Дворе!* И молодая девушка уже не видит в окружающих ни прелести, ни ума, ни богатства.

Слушая эти рассказы, подростки представляют себе в преувеличенном виде то, в чем опыт в один прекрасный день их жестоко разочарует; они легко поддаются этому поветрию, ввергающему провинциальную молодежь в бездну порока. Счастлив тот, кто теряет только

часть своего состояния и набирается мудрости на остальные дни жизни! Только самым последним беднякам и гениям дано безнаказанно посещать столицу. Тот же, кто живет в счастливой посредственности, как в смысле таланта, так и в отношении материальных средств, в столице только проиграет.

Возвращающиеся из Парижа к себе на родину считают себя вправе презирать все, что не согласуется с обычаями и нравами столицы; они лгут себе и окружающим. Если в глубине души им и пришлось *уточнить* представление, составленное себе о Париже, они все же продолжают кричать о его чудесах, но сердца их в этом уже не участвуют. Они раздувают свои парижские впечатления, которые напоминают описания общественных празднеств: тот, кто о них читает, представляет их себе гораздо более блестящими, чем тот, кто их видел собственными глазами.

355. Что станет с Парижем

Фивы, Тир, Персеполь, Карфаген, Пальмира более не существуют... Эти города, горделиво возвышавшиеся на земном шаре и, в силу своего величия, могущества и крепости, казалось бы, имевшие право рассчитывать почти что на вечное существование, исчезли, оставив после себя лишь слабые следы.

Целый ряд других городов, некогда тоже процветавших и многолюдных, теперь являет взорам зловещую пустыню, несколько одино-

ких колонн, несколько разбитых памятников, — печальные останки их былого великолепия. Увы! Современные большие города ждет та же участь.

Река, искусно сжатая величественными каменными набережными, будет запружена колоссальными обломками зданий, выйдет из берегов и образует грязные зловонные заводи; развалины закупорят вытянутые по шнуру улицы, а на многолюдных и оживленных сейчас площадях ядовитые пресмыкающиеся — плоды гниения — будут обвиваться вокруг опрокинутых полупогребенных колонн.

Что же именно — война, чума, голод, землетрясение, наводнение, пожар, политическая революция, что именно уничтожит этот великолепный город?¹ Или, быть может, целый ряд причин, действуя сообща, произведут это ужасное разрушение?

Оно неизбежно. Его совершит медлительная и страшная рука веков, подрывающая самые стойкие империи, стирающая города и королевства и приводящая новые народы на потухшие пепелища исчезнувших.

Заметим на всякий случай для отдаленных веков то, что сейчас всем известно, а именно,

¹ Агезилай*, победив фригийцев, велел раздеть их и нагими выставить на продажу, а одежды сложить отдельно. Но никто не хотел их покупать, потому что они были слишком изнежены и слабы, чтобы стать хорошими рабами. Все бросились на их пожитки. Тогда Агезилай, возвысив голос, сказал своим воинам: *Вот люди, с которыми вам придется сражаться, а вот добыча, которая послужит вам наградой.* Когда я читаю об этом, меня пробивает дрожь. *Прим. автора.*

что Париж лежит на 20° долготы и на 48° 50' 10" северной широты.

Спасайся же, моя книга, спасайся от пламени и от дикарей, расскажи будущим поколениям о том, что представлял собою некогда Париж. Скажи, что я исполнил свой долг гражданина, что я не обошел молчанием всех тайных ядов, которые лихорадочно волнуют города, а потом вызывают у них предсмертные судороги. Когда чудовищные богатства, все более и более сосредотачивающиеся в небольшом числе рук, придадут неравенству состояний еще более устрашающие размеры, тогда огромное государственное тело не сможет более держаться на ногах; оно согнется под собственной тяжестью и погибнет.

Погибнет! Боже! О, когда земля незаметно скроет его развалины, когда пшеница вырастет на той возвышенности, где я сейчас пишу, когда сохранится лишь смутное воспоминание о королевстве и его столице, тогда орудие хлебопашца, взрывая землю, наткнется, быть может, на конную статую Людовика XV, и собравшиеся археологи заведут бесконечные рассуждения, подобно тому как мы теперь рассуждаем на развалинах Пальмиры.

Но каково же будет изумление того поколения, если только любознательность заставит его предпринять раскопки погибшего и погребенного города! Гигантский скелет столицы испугает взоры; одни раскопки повлекут за собою другие, и наши правнуки, увидав наш мрамор, нашу бронзу, медали, надписи, взволнуются желанием узнать, что собой представляли мы

сами. И если моей книге суждено будет пережить разрушение, наши потомки, может быть, примут за фантастический роман написанные в ней истины: до такой степени их нравы и идеи будут отличны от наших! О древние несуществующие города Азии! Исчезнувшие империи! Народы, самые имена которых нам неизвестны! Знаменитые атланты! И вы, народы, жившие на этом шаре, поверхность которого беспрестанно изменяется, — скажите, каковы были ваши знания? Неужели всему суждено погибнуть? Неужели все труды человека, которые он надеялся увековечить благодаря драгоценному открытию — книгопечатанию, в конце-концов погибнут; раз пламя пожаров, самовластие, землетрясения и варварство уничтожат решительно все, вплоть до легких листков, где запечатлены мысли гения?

Наш умственный взор погружается в мир истории на четыре тысячи лет — не больше. Но и в этом мире нам видны только вершины, окруженные облаками, в которых теряется наш взор. Все эти отдаленные факты, хоть и разделены друг от друга громадными расстояниями, соприкасаются, точно близкие соседи, и в этом промежутке веков множество событий ускользает от нас. То же случится и с нами: будущее поглотит даже наиболее важные факты, оставив только смутные воспоминания и имена веков. О времена! Всё, — люди, города, царства, — всё кончается одним *hic iacet*¹.

Геркуланум и Помпея, разрушенные одним

¹ Здесь покоится (*лат.*).



Бродячий певец
С гравюры Моро младшего

и тем же извержением Везувия около тысячи семисот лет тому назад и обнаруженные в наши дни, показывают нам свою живопись, скульптуру, все свои искусства и домашнюю утварь, и мы можем составить некоторое представление о богатом воображении и мастерстве древних художников. Лава, пепел и пемза сохранили эти памятники точно для того, чтобы дать нам понятие о том, во что в свою очередь превратятся наши города. Но можно ли думать об этом бедствии, не испытывая страха перед несчастными случайностями, неистовством природы и еще более страшным неистовством завоевателей? Чем явимся мы через две тысячи лет перед любопытным взором наблюдателя? Какая статуя, какая книга всплывет из бездны, которая поглотит наши искусства, разрушенные временем или яростью королей?

Адский порох (складов которого становится в Европе все больше и больше, причем одной искры достаточно, чтобы все взорвать) не делается ли в руках честолюбия или мщения могучим средством разрушения, в тысячу раз более опасным, чем пылающие вещества, выбрасываемые вулканом из неистощимых кратеров? Бедствия, посылаемые природой, ничтожны по сравнению с теми, что создал человек на собственную погибель и на погибель миллионов городов.

Древние, медленно разворачивающиеся манускрипты, найденные в домах Геркуланума и Помпеи*, написаны на греческом языке, но это простая случайность. Какой из наших книг суждено через три тысячи лет познакомить

потомков с нашими нравственными и физическими познаниями? Какой книге суждена честь вновь разжечь потухнувший светоч науки? Возможно, что какой-нибудь словарь, который мы сейчас презираем, будет найден с восторгом, и та или другая компилятивная работа, которую мы считаем снотворной, будет для нашего потомства ценнее, чем стихи Корнеля, Расина, Буало и Вольтера. Да, возможно, что никому ненужная сейчас брошюра будет пользоваться особым вниманием новых народов.

Пусть же наши надменные писатели не присваивают себе права презирать тех или иных своих собратьев, так как никто из современного поколения не может ни назвать, ни угадать автора, произведения которого через три тысячи лет будут особенно цениться, автора, который будет господствовать над умами и просвещать их.

Париж в развалинах! Когда-то Ксеркс, окинув внимательным взором свое несметное войско, заплакал, подумав о том, что вскоре многие из этих людей исчезнут с лица земли. Почему же мне, под влиянием того же чувства, заранее не оплакать наш восхитительный город?

В мгновение ока одна столица оказалась погребенной под развалинами, сорок пять тысяч человек погибло одновременно, состояния двухсот тысяч человек были уничтожены, общий убыток дошел до двух миллиардов. Какая яркая картина превратностей судьбы человека! Этот ужасный случай произошел 1 ноября 1755 года*.

А между тем, этот страшный удар, сразу все разрушивший,—спас Португалию в политическом отношении. Она была бы завоевана, если бы не это бедствие; оно вызвало перемены, сравняло частные состояния, объединило умы и сердца людей и отвратило угрожавшие ей потрясения.

По внешнему виду прежний Лиссабон представлял собой чисто африканский город; другими словами, это было обширное село, в котором не было ни порядка, ни стройности; улицы были узки и плохо расположены. Землетрясение в три минуты смело то, что робкая рука человека разрушила бы еще не так скоро. Жалкий мавританский стиль погиб, и новый город вознесся пышным и великолепным.

Что мы знаем о последствиях тех или других бедствий? Что мы знаем? Париж в развалинах! О! Я скажу, как говорится в *Мемноне*:
Как жаль!

356. Предположение

Я поделюсь одним предположением, которое, наверное, назовут вздорным, странным, безумным, но у меня есть причины, почему я не хочу о нем умолчать. Если бы все государственные сословия, собравшись вместе, по зрелому суждению признали, что столица истощает королевство, опустошает деревню, держит крупных землевладельцев вдали от их поместий, подрывает земледелие, укрывает множество разбойников и бесполезных ремесленников, постепенно развращает нравы, отдаляет эпоху обра-

зования правительства, грозного для иностранцев, которые живут свободнее и счастливее нас; если бы, повторяю, все сословия, учтя и взвесив всё, постановили поджечь Париж с четырех концов, предупредив об этом за год всех жителей... что получилось бы в итоге этой великой жертвы, принесенной родине и будущим поколениям? Было ли бы это действительной услугой провинциям и королевству в целом? Предлагаю вам, читатель, обдумать и решить эту интересную задачу. Имейте в виду, что к сожжению я предназначаю и Версаль, который является лишь ответвлением этого чудовищного города: ведь Версаль существует только Парижем, как и Париж существует, повидимому, только для Версаля.

Итак, поразмыслите, дорогой читатель. Своего мнения я вам сегодня не скажу: я буду осторожен. С помощью хороших глаз, вроде ваших, можно увидеть вещи, которые другие не видели или видели плохо, что сводится к тому же.

А вы, мои милые парижане, согласились бы быть сожженными,—я подразумеваю, конечно, только дома и здания? Но не имея понятия о том, как я вас люблю, вы готовы меня самого обречь на сожжение, предполагая, что... Ну, соберите же скорее все ведра, все городские пожарные трубы, чтобы потушить этот страшный пожар. Вот уже остался только дым. Хорошо! Теперь вы можете быть спокойны за свои восьмиэтажные дома. Будем же, как и раньше, продолжать есть гонесские булки*, и *кривая вывезет как-нибудь!*

357. Ответ газете «Курье де л'Ероп»

В *Курье де л'Ероп* от 3 июля 1781 года помещен нижеследующий отзыв о первом издании настоящего труда. Чувство уважения заставляет меня ответить.

*«На свете больше таких вещей, которые нас пугают, чем таких, которые причиняют нам зло,—*говорил один муж древности, Сенека, если не ошибаюсь. Это верное положение особенно применимо к людям, одаренным большой чувствительностью и крайне живым воображением¹; они во всем видят крайности; пустышных неприятностей, пустышных зол для них не существует. Один писатель только что выпустил в свет книгу, называемую: *Картины Парижа*. Это отнюдь не портрет, потому что все черты тут преувеличены². Все, что говорили наши проповедники, начиная с капуцина, поучающего по деревням, вплоть до оратора, произносящего речи в присутствии короля, все, что написали моралисты против роскоши, дурных нравов, злоупотреблений богатством и тщеславия великих мира сего,—все это бледно по сравнению с тем, что говорит автор в этих двух томах. Не знаешь, смеяться ли, негодовать ли³, ибо ни один пророк не упрекал Израиля за его

¹ Исключают ли эти качества способность правильного суждения? *Прим. автора.*

² Не думаю. Призываю в свидетели всех, кто хорошо изучил предмет, исследовав его так же внимательно, как я. *Прим. автора.*

³ Это—как будет угодно критику. Я старался быть правдивым, я не хотел ни льстить, ни оскорблять; трудно было идти по этой узкой тропе. *Прим. автора.*

беззаконие с большей силой, с ббольшим жаром и рвением.

«А между тем, это отнюдь не пасквиль¹. Это труд чувствительного и отважного гражданина, которого не останавливают мелочные соображения. Он захотел видеть то, на что обычно никто не смотрит, он устремлял свой взгляд на такие предметы, от которых все старательно отворачиваются. Он наблюдал подонки населения и на Крытом рынке, и в тюрьмах, и в больницах, и в Бисетре², везде, вплоть до кладбища Кламар. Проникая в эти клоаки человечества, он наблюдал ужасающие страдания, преступления и такие положения, которых в другом месте нельзя себе представить и описания которых не найдешь ни в какой другой книге³, потому что немногие обладают достаточной силой, чтобы отправиться в поиски таких скорбных наблюдений. Он пришел к заключению, что неравенство состояний—причина всех зол⁴, и обрушился с исключительным жаром на богатей, на их черствость, на их постыдную жизнь. Он заканчивает свой труд советом сжечь Париж⁵.

¹ Критик ко мне весьма милостив! Вы, читавшие мою книгу, скажите: может ли мое сочинение вызвать хотя бы отдаленное сравнение с такой мерзостью, как пасквиль? Зачем было упоминать это слово? Оно меня тяготит. *Прим. автора.*

² Я сказал о Бисетре лишь несколько слов, но я еще поговорю о нем в следующих томах. *Прим. автора.*

³ Вот похвала, которая мне очень лестна; постараюсь заслужить ее и в дальнейшем. *Прим. автора.*

⁴ Да, отвратительное неравенство. Кто может, подумав о нем, не согласиться со мною? *Прим. автора.*

⁵ Я не советовал жечь Париж; прочтите главу *Предположение*. Автор не сумел или, вернее, не захотел

Все это кажется бредом. Если бы Париж был таким, каким его описывает автор, он не смог бы просуществовать и двух недель. Читатель это чувствует, а потому впечатление, на которое рассчитывал автор, пропадает. Разумеется, каждый человек рождается для того, чтобы страдать и умереть—как в хижинах, так и на троне, но всюду, где страдание преобладает, начинается разрушение, что и заставляет почти всех философов утверждать, что прирост народонаселения свидетельствует о благоденствии данного народа. Эта книга страдает отсутствием плана и метода¹, и напоминает *Париж* только заключающимися в ней противоречиями. Часто в одном месте автор отрицает то, что утверждает в другом².

«... Выступая в одной из глав как истинный богослов с горячей проповедью против богатства, он говорит в другой: *Собираемая в Париже милостыня весьма обильна. Если число частных бедствий уменьшилось, то мы этим обязаны тем светлым душам, которые таятся, делая добро. Порок, безрассудство и гордость любят красоваться на виду у всех; нежное участие,*

меня понять. Само название главы указывает на суть дела. Зачем приписывать мне мысль, которой я не имел? Нет, я не бредил, когда писал это сочинение. Какое счастье, если бы это был бред! *Прим. автора.*

¹ Иначе и не могло быть. Лишь бы мысли были правильные—вот главное. *Прим. автора.*

² Слова иногда противоречат друг другу; факты—никогда. Если сопоставить две отдельные фразы, выхваченные из обширного сочинения, любого автора можно уличить в противоречии. Водворите фразы на их место, и к ним вернется их логика. *Прим. автора.*

щедрость, добродетель прячутся от глаз пошляков, чтобы служить человечеству в тишине, без гласности и чванства, довольствуясь взором Предвечного.

«... Все это верно, справедливо и хорошо выражено, но как же это согласуется с предыдущими разглагольствованиями?¹ В двадцати главах он говорит о женщинах так, точно весь Париж представляет собой публичный дом, где целомудрие и благопристойность не смеют показаться², а между тем есть глава, в которой говорится: *Тем не менее, существует класс женщин, вполне достойных уважения,—это класс мелкой буржуазии. Они привязаны к своим мужьям и детям, заботливы, бережливы, хорошие хозяйки; они представляют собой образец мудрости и трудолюбия. Но эти женщины не обладают материальными средствами, а потому стараются их копить; у них нет внешнего блеска, они мало образованы, и в обществе их*

¹ Напыщенность—это порок стиля; но можно напыщенно защищать и добро и зло. Я не отрицал, что существуют милосердные души; но разве этим исключается наличие большего числа душ черствых, нечувствительных и разве это опровергает утверждение, что ничтога—удел большинства горожан? *Прим. автора.*

² Вот образ и выражения, которых я не употреблял. Я с удовольствием отметил, что добрые нравы нередки в среде буржуазии, и я мог после этого, не впадая в противоречие, изобразить порок, шествующий с высоко поднятым челом. И чем постыднее порок, чем обнаженнее и наглее разврат, тем дольше мне приходилось оставаться на его изображении. Описывать контрасты не значит себе противоречить. Критики спешат торжествовать при помощи неправильных сопоставлений. *Прим. автора.*



Немец-знахарь

С гравюры Гельмана по рисунку Берто

не замечают, а между тем в Париже именно они-то и делают честь своему полу.

«Это опять-таки верно, но класс мелкой буржуазии составляет почти две трети всего населения Парижа. Таким образом, строгий судья потратил так много сил только на знать, которая все равно слушать его не будет¹, и на простонародье, которое его не поймет, а следовательно надеяться ему решительно не на что. Почти все таланты выходят из среды мелкой буржуазии, в которой нравственность еще существует и будет существовать всегда. *Medio-critas aurea*², говорил Гораций еще тогда, когда, как и в наши дни, этот класс был единственным носителем добродетели и счастья.

«Меня особенно удивило то, что в своем рвении автор самым решительным образом оспаривает господина *Бюффона*, аббата *д'Экпийи*^{*}, господина *Моо* и всех, кто делал подсчет народонаселения королевства и Парижа³. Все они согласны в том, что население Парижа составляет от шестисот семидесяти до восьмисот тысяч жителей, а двое последних утверждают, что за время царствования Людовика XV народонаселение королевства увеличилось по

¹ Почем знать? Разве не следует предлагать их вниманию картины и мысли, которые могут произвести впечатление на их надменные души, ибо души эти, хотя и одурманены чрезмерными наслаждениями, все же не умерли для добра? *Прим. автора.*

² Золотая середина* (*лат.*).

³ Я не опровергал этих писателей. Я меньше их наблюдал, но я наблюдал и высчитывал по-своему. Ниже я отвечаю на это обвинение,—единственное, основанное на фактах. *Прим. автора.*

крайней мере на два миллиона душ. Эти три истинных философа не произносят громких речей; они вымеряют, высчитывают. Они произвели опись, составили кадастр, поскольку это можно было сделать, и, не сообщив друг другу о своих работах, все трое единогласно заявили, что во Франции никогда еще не было столько вспаханной земли, как сейчас; что болота Ониса и Фландрии, так же как и часть пустошей в окрестностях Бордо, превращены в наши дни в пастбища и посевы и что скалы Прованса, совершенно бесплодные пятьдесят лет тому назад, теперь покрыты виноградниками¹. Но так как автор книги желает непременно представить нас нищими и несчастными и утверждает, что Париж пожирает королевство², *quærens quem devoret*, то ему пришлось опровергнуть подсчеты ученых, правдивых людей и заменить плодами своего возбужденного воображения точные арифметические данные. Не разрешит ли нам этот писатель, предлагающий сжечь Париж или сделать из него морской порт,—а он серьезно предлагает и то и другое³,— посоветовать ему сжечь свою книгу⁴ или, лучше, изъять из нее некоторые преувеличения и напк-

¹ Все это не имеет никакого отношения к количеству парижского населения, о котором идет в данном случае речь. *Прим. автора.*

² Не все королевство в целом, а то, что окружает столицу на сорок льё в окружности. Узнайте, что говорят на этот счет соседние провинции. *Прим. автора.*

³ Критик несколько ошибается; пусть прочтет, что у меня написано, чтобы убедиться в этом. *Прим. автора.*

⁴ Вместо того чтобы ее сжечь, я увеличил ее объем втрое. Это, пожалуй, одно и то же. *Прим. автора.*

ценность? Тогда эта вещь, написанная с благородной непринужденностью, свойственной защитникам человечества, не только окажется шедевром философии и красноречия, но заслужит быть принятой во всех судах, дабы судьи, познакомившись с ее содержанием, поспешили исправить все чудовищные злоупотребления, против которых автор восстает с такой благородной отвагой и которые—надо надеяться—будут исправлены, тем более, что он и сам говорит, что многие из них уже уничтожены за время его работы над этой книгой—другими словами, со времени вступления на престол Людовика XVI».

Так как главный упрек моего критика касается того, что я раздул цифру народонаселения Парижа, подняв ее до девятисот тысяч жителей, то я отвечу более или менее подробно только на этот упрек, и не потому, чтобы я пренебрегал остальными, а потому, что данный упрек не представляет собой ловушки для моего самолюбия.

Данные изучения народонаселения Франции господином Моó могут быть применимы к ее народонаселению вообще, но ни в коем случае не к нашей столице, так как здесь первенствующее значение имеют не физические, а нравственные факторы. Сравнения количества смертей и рождений недостаточно; прилив иностранцев образует особый класс жителей, про которых можно сказать, что они не рождаются и не умирают. Провинции вливают в столицу толпы путешественников, бывающих в ней только проездом и беспрерывно сменяющихся.

Иной общественный праздник привлекает тысяча пятьдесят иностранцев. В настоящее время Париж насчитывает гораздо больше жителей, чем шестьдесят лет тому назад. Подсчет продолжительности жизни, служащий за основу изысканиям этого рода, — всегда ошибочен, когда дело касается Парижа. Всех рождающихся в нем детей отсылают кормилицам; половина из них умирает, но в метрических книгах городских приходов их смерть не отмечается. Следовательно, нельзя руководствоваться ни записью рождений, ни записью смертей.

В настоящее время не так уже верят докторам, как раньше; аптекаря разоряют, так как к ним уже не бегают попрежнему часто за разнообразными ядами; они становятся *химиками*, чтобы совесть не упрекала их за смерть сограждан; они сами осуждают докторов, которые уже не решаются с прежней самоуверенностью хвастаться своими смертоносными системами. Благодетельная химия упростила лекарства. Только некоторые старые и невежественные лекари из Сен-Кома продолжают прописывать больным обильные кровопускания да ужасные, сложные микстуры, — этот позор медицины и фармакопей, — которые глотали наши отцы, несмотря на естественное отвращение. Смертность в наши дни значительно уменьшилась даже в больницах.

В настоящем труде я не занимался арифметическими вычислениями, но, тем не менее, мои выводы основаны не на догадках, а на новых, возводимых в столицах зданиях, на увеличившемся населении некоторых кварталов, на ото-

двигаемой все дальше и дальше городской черте, на множестве рантье, приезжающих поселиться в Париж.

К тому же, как точно определить пределы столицы? Не относятся ли теперь *Гро-Кайу*, *Нушель-Франс*, *Куртий*, *Пти-Жантийи*, *Вожирар* и прочие предместья к самому городу, раз дома их соприкасаются и сливаются с городскими?

Итак, несмотря на критику *Курье де л'Ероп*, я все же считаю, что население Парижа доходит до девятисот тысяч душ, и останусь при своем мнении до тех пор, пока *Курье де л'Ероп* не докажет мне противоположного; причем могу заверить его в том, что с целью подойти насколько возможно ближе к истине мною сделан ряд изысканий, которых он не предпринимал.

Если включить сюда же население больших сел, расположенных вокруг столицы и посылающих в город ежедневно своих жителей, которые остаются здесь всего несколько дней и непрерывно сменяются новыми, то народонаселение столицы окажется действительно колоссальным. Повторяю, достаточно иметь глаза, чтобы убедиться в этом.

Меня упрекают, наконец, в том, что я преувеличил народную нищету. Должен на это ответить, что я не раз умышленно сдерживал свою кисть, чтобы не показалось, что я сгущаю краски. Вот что мы читаем в *Журналь де Пари*, находящемся под строгой опекой и наблюдением придирчивого цензора:

«Одна бедная женщина, обремененная детьми и находящаяся в самой ужасной нищете, написала господину кюре церкви Сент-Маргерит:

*Вот уже два дня, как у меня нет ни куска хлеба; дети мои умирают с голоду, а у меня нет сил притти к вам, чтобы на коленях молить вас о помощи. Уважаемый пастырь спешит на помощь несчастной семье. Среди бледных, искаженных страданием лиц он видит четырехлетнего ребенка, лежащего на полу и обращающегося к матери со следующими душераздирающими словами: *Мама! Так значит я должен есть свой стул?*»—*Журналь де Пари*, вторник, 14 января 1777 года¹.*

Этой несчастной была оказана широкая помощь; но она лишь одна из тысячи таких же несчастных, находящихся в самой крайней нужде.

О богач! Если, прочитав эту книгу, ты найдешь в ней хоть одну мысль, которая тебе понравится; если этот труд или одно из моих предыдущих сочинений тебя чему-нибудь научили или доставили тебе хотя бы самое маленькое удовольствие; если они хоть слегка взволновали твой ум или сердце,—ты мой должник, и я имею право на твою признательность. Хочешь расплатиться со мной, чтобы я был вознагражден за все свои бессонные ночи? Дай от своего избытка первому страждущему, первому несчастному, которого встретишь. Дай

¹ Я мог бы, пользуясь официальными документами и частными письмами привести в ужас сомневающихся, если бы обнародовал все дошедшие до моего сведения подробности. В этой книге я изложил только выводы из этих данных и утверждаю, что я ничего не преувеличил. *Прим. автора.*

моему соотечественнику в память обо мне. Подумай о том, что, чем больше ты дашь, тем большее благо принесешь самому себе. Дай, чтобы я мог с радостью сказать себе, что в этом мире я подал повод совершить доброе дело, и пусть этот великодушный дар будет единственной похвалой моему труду.

Конец

КОММЕНТАРИИ

9*. «*Corruptio optimi pessima*»—латинская поговорка: «Худшее—искажение лучшего».

13. *Шатле*—верховный суд в Париже.

17. *Изредка только пловцы...*—цитата из «Энеиды» Горация (I, 118); перевод Валерия Брюсова.

— *Базои*—старинная корпорация парижских парламентских клерков, восходящая к XIV веку.

18. *Девушка Клерон* (Клер-Ипполит-Жозеф Легри-де-Латюд, по сцене Claijon, 1723—1802)—одна из величайших французских трагических актрис. Однажды, в самый разгар своей славы, Клерон отказалась выйти на сцену, требуя удаления нежелательной ей актрисы; спектакль пришлось отменить, а Клерон была заключена в тюрьму Фор-л'Эвек, где весело провела несколько дней, окруженная многочисленными поклонниками. Однако, вернувшись из тюрьмы, Клерон нашла свое место занятым. В 1799 году она издала свои мемуары.

— *Возлюбленная Танкреда*—т. е. Аменаида, героиня трагедии Вольтера «Танкред» (1760).

19. *Фор-л'Эвек*—старинная тюрьма, куда заключали главным образом провинившихся актеров и неисправных должников; разрушена в 1780 году.

20. *Дюкло играла однажды в «Горации»*. Мари-Анн де-Шатонёф Дюкло (Duclos, 1670—1748),—знаменитая французская трагическая актриса. «*Гораций*»—трагедия Корнеля (1640).

* Цифры в начале примечаний обозначают соответствующие страницы книги.

21. *Мадмуазель Дюмениль*, Мари-Франсуаз (Dumesnil, 1711—1803)—знаменитая французская трагическая актриса.

— *Мадмуазель Сенваль*—мадмуазель Альзиари (по сцене Sainval, род. 1742), французская трагическая актриса на амплу королев, благородных матерей и покинутых женщин; играла в Комеди-Франсез до 1779 г., когда была уволена в результате интриг.

22. *«Мнимый больной»*—комедия Мольера (1673).

— *Замор*—герой трагедии Вольтера «Альзира» (1735).

23. *Превиль*—см. прим. к стр. 146 тома I.

— *Бризар*—Жан-Батист Бризар (по сцене Brizard), знаменитый французский актер; в 1757 г. по совету Клерон и Дюмениль перешел с провинциальной сцены на столичную, где выступал с большим успехом до 1786 года.

— *«Полиевкт»* и *«Аталия»*. *«Полиевкт»*—трагедия Корнеля (1643). *«Аталия»*—трагедия Расина (1702).

24. *Жанно*—персонаж комедии Дорвиньи. См. прим. к стр. 406 тома I.

— *Дезессар*, Дени Дешане (по сцене Desessarts, 1740—1793)—французский актер, выходец из судейского сословия.

— *Забавный осел*. В старину существовал обычай во время боя петухов, быков и собак пускать на арену осла, который забавлял публику своим растерянным видом.

25. *Стентор*—герой троянской войны, обладавший голосом сокрушительной силы. В переносном смысле—человек с зычным голосом.

3). *Оросман*,—герой трагедии Вольтера «Заира» (1732).

— *«Нанина»* или *«Побежденный предрассудок»*—трехактная комедия в стихах Вольтера (1749); написана под влиянием «Памели» Ричардсона.

— *Шантийи*—старинный замок в 40 км. от Парижа, принадлежавший роду Конде. При Луи-Анри де-Конде (1692—1740), министре Людовика XV, в Шантийи был построен театр. В другом месте Мерсье пишет: «Ни одна местность в окрестностях Парижа не может сравниться с Шантийи. Нельзя себе представить более прекрасного сочетания искусства и природы».

— *Принц Конде*. Имеется в виду Луи-Анри-Жозеф герцог Бурбонский, принц Конде (Condé, 1756—1830).

31. *Бабийяр*—см. прим. к стр. 125 тома I.
32. *Колизей*—здание, построенное в Елисейских полях к свадьбе дофина, будущего Людовика XVI (1771). Предназначалось для спектаклей, танцев, празднеств, фейерверков. По внешнему виду здание напоминало римский Колизей; отсюда и название.
34. *Дюгазон*, Жан-Батист-Анри Гурго (по сцене *Dugazon*, 1746—1809)—французский комический актер, автор нескольких комедий.
35. *Комюс*—см. прим. к стр. 403 тома I.
36. *Карлино*—прозвище Шарля-Антуана Бертинацци (*Bertinazzi*, 1713—1783), артиста парижской Итальянской комедии, знаменитого исполнителя роли Арлекина.
38. *Курциус*—мастер восковых фигур, по происхождению немец; открыл в Париже в 1770 г. паноптикум, пользовавшийся большой популярностью и просуществовавший вплоть до Империи. Паноптикум Курциуса разделялся на две части: в одном зале помещались фигуры великих людей, в другом—известных преступников.
- *Жанно*—см. прим. к стр. 406 тома I.
- *Дерю*—см. прим. к стр. 36 тома I.
- *Граф д'Эстен*, Шарль-Эктор (*d'Estaing*, 1729—1794)—выдающийся французский адмирал, участник колониальной войны с Англией. Во время революции был гильотинирован.
- *Ленге*—см. прим. к стр. 276 тома I.
41. *Считают себя не ниже бессмертных*—т. е. не ниже писателей—членов Французской академии.
- *Когда ему рукоплещут в Лувре*—т. е. во Французской академии, заседавшей в то время в здании Лувра.
- *Девять сестер* (Девять муз)—название одной из масонских лож.
46. *Томà*—см. прим. к стр. 128 тома I.
48. *Полидор*—персонаж итальянской комедии: уродливый, глупый и самодовольный любовник.
49. *Грессе*—см. прим. к стр. 306 тома I.
- *Колардо*, Шарль-Пьер (*Colardeau*, 1732—1776)—второстепенный французский поэт, драматург и переводчик.
- *Дора*—см. прим. к стр. 345 тома I.
50. В 1801 г. Мерсье издал двухтомный словарь новых и старинных, но вышедших из употребления слов,

которые он предлагал ввести в язык. Труд Мерсье оказал некоторое влияние на французскую лексику; многие из предложенных им слов вошли в обиход.

51. *Руссо*. Мерсье имеет в виду поэта Ж.-Б. Руссо (см. прим. к стр. 324 тома I).

52. *Ошибочнее такого взгляда...* Мерсье выступает здесь противником классической французской трагедии XVII века. Сам Мерсье, как известно, является, наряду с Дидро, создателем и теоретиком «мещанской драмы».

— *Тимофей* (V век до н. э.)—древне-греческий поэт и музыкант; считался одним из искуснейших исполнителей на кифаре.

— *Маленькие брошюрки...* Ср. прим. к стр. 173 тома I (о графине Тасион).

53. *Ваде*—см. прим. к стр. 173 тома I.

54. *Патриотические писатели...* Мерсье имеет в виду энциклопедистов.

— *Неаполитанские... празднества*. В Неаполе был обычай устраивать на площади гору, символизировавшую Везувий или Этну. Склоны горы обсыпались тертым сыром, изображавшим золу. Из кратера вулкана выбрасывались сосиски, жареное мясо и обсыпанные сыром макароны.

— *Ладзарони*—итальянское прозвище чернорабочих, поденщиков, нищих.

— *Равайак*—см. прим. к стр. 419 тома I.

— *Дамьен*, Робер-Франсуа (Damiens, 1715—1757)—маньяк, совершивший покушение на Людовика XV с перочинным ножом; был приговорен к четвертованию.

55. *Датский король*. Имеется в виду популярный в свое время король Фридрих V (1723—1766).

57. *Те Деит*—благодарственный молебен.

59. *Аббат Пеллегрин*, Симон-Жозеф (abbé Pellegrin, 1663—1745)—посредственный французский поэт и драматург; одновременно был и священником, пока архиепископ Парижский не предложил ему сделать выбор между церковью и театром. Пеллегрин выбрал театр. Именно к нему относится эпиграмма, приводимая Мерсье в главе 224. В одной из пьес Пеллегрена герой говорит: «L'amour a vaincu Loth!» (Любовь победила Лота). Эту же фразу можно понять на слух и как; «L'amour a vîngt

culottes» (У Амура двадцать штанов). На одном из представлений некий остряк подал из зала реплику; «Так он хоть бы одну пару пожертвовал автору».

59. *Некий принц...* Принц Конти и аббат Прево.

61. *Де-Ла-Барр д'Авиль*, Жан-Франсуа Лефевр (de La Barre, 1747—1766)—юноша, родом из Аввиля, казненный по обвинению в кощунстве; его процесс привлек всеобщее внимание.

63. *Праздник Тела господня*—католический праздник, празднуемый летом.

65. *Маркиз де-Брюнуа*—Арман-Жан-Жозеф де-Монмартель (Brunoy), сын крупного финансиста, прославился своей расточительностью.

67. *Де-Лаланд*, Жозеф-Жером Ле-Франсе (de Lalande, 1732—1807)—французский астроном. Когда он в 1773 г. собрался сделать доклад о кометах, публика почему-то решила, что Лаланд объявит о предстоящем столкновении Земли с другой планетой. Эти слухи так взволновали население, что потребовалось вмешательство начальника полиции, который разрешил собрание только после того, как убедился, что доклад не содержит ничего предосудительного.

68. *Архиепископ Парижский*—Кристоф де-Бомон (см. прим. к стр. 280 тома I).

— *Защитник... общества Иисуса*—т. е. иезуитов.

— *Пассионеи*, Доминико (Passionei, 1682—1761)—итальянский кардинал, ученый; заведывал Ватиканской библиотекой; находился в переписке со многими выдающимися современниками; собрал большую коллекцию древностей и книг. Был противником иезуитов, что и помешало его избранию на папский престол.

69. *Знаменитый ответ Жан-Жака Руссо*. Имеется в виду послание Руссо к Парижскому архиепископу де Бомону: «Jean-Jacques Rousseau, citoyen de Genève, à Christophe de Beaumont, archevêque de Paris» (1763).

— *Лекуврёр*, Адриенна (Lecouvreur, 1692—1730)—знаменитая французская трагическая актриса. Ввиду того, что все актеры считались отлученными от церкви, отпевание Лекуврёр встретило затруднения со стороны духовенства.

70. *Шарантон*—городок в 8 км. от Парижа; шаран-

тонский протестантский собор был построен при Генрихе IV.

70. *Найтский эдикт*—см. прим. к стр. 483 тома I.

73. «*Магомет*» или «*Фанатизм*»—трагедия Вольтера (1741).

— *Юбилей*—у католиков день всепрощения; юбилей празднуется каждые двадцать пять лет, а также по особому указанию папы.

75. *Синдик*—выборный старшина ремесленной или торговой корпорации.

76. «*Деревенский колдун*» — одноактная пастораль; текст и музыка Ж.-Ж. Руссо (1752).

77. *Налог на восстановление дворца*. О восстановлении Лувра см. прим. к стр. 216 тома I.

78. *Неккер*, Жак (Nesker, 1732—1804)—французский банкир, министр финансов.

80. *Пактол*—золотоносная река в Лидии (Греция); в переносном смысле—неиссякаемый источник богатства.

90. «*Точно пивка*»..—цитата из «Поэтического искусства» Горация (ст. 476).

91. *Двадцать тысяч проституток* В этой же главе Мерсье дважды называет цифру в тридцать тысяч.

— *Лон-Шан*—см. прим. к стр. 282 тома I.

92. *Самки царедворцев*... Игра слов; «*Courtisan*» по-французски означает «царедворец».

93. *Д'Аржанс*—см. прим. к стр. 266 тома I.

— *Я отсылал*... см. главу 238.

94. «*Звонкие пустышки*»—цитата из «Поэтического искусства» Горация (ст. 322).

97. *Левитов*—т. е. духовенства.

98. *Страна, прославленная вздохами Юлии*—т. е. берега Женевского озера, где разворачивается действие романа Руссо «Юлия или Новая Элоиза».

110. *Нашим Лукрециям нечего опасаться Тарквиниев*. Лукреция—знатная римлянка, подвергшаяся насилию со стороны Тарквиния, сына римского царя, и лишившая себя после этого жизни (в 510 г. до н. э.).

112. *Нинон*. Мерсье, повидимому, имеет в виду знаменитую Нинон де-Ланкло (Lenclos, 1620—1705), прославившуюся умом, образованием и красотой; салон Ланкло посещался многими выдающимися людьми того времени.

112. *Честерфильд*, Филипп (Chesterfield, 1694—1773)—английский государственный деятель; известен «Письмами к сыну», в которых дает наставления в духе великосветских идеалов.

115. *Потеряв жену, муж разоряется*—так как в большинстве случаев брачный контракт предусматривал раздел имущества и не давал мужу права наследовать жене.

125. *Лагарп*—см. прим. к стр. 392 тома I, к слову «Бармакиды».

128. *Анакреон* (560—478 до н. э.)—древне-греческий лирический поэт.

— *Батилл*—посредственный римский поэт, прославившийся тем, что приписал себе двустипхи Вергилия и снискал этим благосклонность Августа, но вскоре был разоблачен.

131. *«Кружок»*—одноактная комедия Пуэнсине (см. прим. к стр. 375 тома I).

134. *Двадцать четыре часа*. Подразумевается правило классической поэтики, согласно которому действие драматического произведения должно развертываться в отрезке времени, не превышающем суток.

— *Тибулл*, Альбий (55—19 до н. э.)—римский элегический поэт.

141. *Самоубийцы не волочат на салазках*. В средние века самоубийство считалось тяжким грехом. Труп самоубийцы подвергался всяческим издевательствам: его волочили по улицам, подвешивали к столбу вниз головой, не хоронили и т. д. В XVII веке был издан указ о конфискации имущества самоубийц, а потому наследники обычно прилагали все старания к тому, чтобы доказать, что покойник был невменяем.

147. *«История торговли европейцев с Индией»*—сочинение аббата Реналя (см. прим. к стр. 455 тома I).

150. *Дора*—см. прим. к стр. 345 тома I.

161. *Отель-Дьё*—дословно «Божий дом».

162. *Ландри* (ум. в 656 г.)—Парижский архиепископ. Основанный им монастырь Отель-Дьё был впоследствии превращен в странноприимный дом, а затем в больницу.

169. *Венсен де-Поль* (Vincent de Paul, 1576—1660)—священник, основатель Парижского приюта для подкидышей.

169. *Панегирист Декарта и Марка Аврелия*—т. е. Антуан-Леонар Томà (Thomas, 1732—1785)—французский литератор и поэт, член Французской академии, автор ряда «Похвальных слов», неоднократно премированных Академией; упоминаемые Мерсье «Похвальные слова» являются шедеврами Томà (1765 и 1770).

— *Ле-Сюёр*, Эсташ (Le Sueur, 1616—1655), известный французский художник, автор сюиты картин «Житие святого Бруно».

170. *Король-философ*—т. е. прусский король Фридрих II.

171. *Четверка и пятерка*—особо редкая выигрышная комбинация; купивший «четверку» и «пятерку» выигрывает только в том случае, если выигрыш падет на каждый из четырех или пяти билетов.

177. *Беспорядки, предшествовавшие воцарению Генриха IV*—т. е. религиозные войны между католической Лигой и гугенотами.

181. *Рикс и Лоран*. Барон Пьер-Поль *Рикс де-Бонрепо* (Riquet de Bonrepos, 1604—1680)—французский инженер-самоучка, автор проекта сооружения Лангедокского канала, осуществленного в 1666—1681 гг. Канал соединяет Атлантический океан со Средиземным морем при посредстве реки Гаронны. Пьер-Жозеф *Лоран* (Laurent, 1715—1773)—инженер, осушил большие заболоченные пространства во Фландрии и Эно; разработал проект Сен-Кантенского канала, соединяющего бассейн Сены, Сомы и Шельды.

182. *Париж был портом*—см. прим. к стр. 245 т. I.

184. *Аббон* (Abbon, 850—923)—монах, автор поэмы «Осада Парижа норманнами», представляющей большой исторический интерес.

— «*Записки*»—т. е. «Записки о Галльской войне».

185. *Бертло*.—повидимому, Клод-Франсуа Бертло (Berthelot, 1718—1800), французский инженер-самоучка, из рабочей среды.

189. *Одиннадцать ударов палача*. Перед колесованием палач разбивал тело осужденного одиннадцатью ударами железным брусом по ногам, рукам, в грудь и т. д.

192. *Дамьен*—см. прим. к стр. 54.

— *Кавалеры ордена Сен-Луи*—см. прим. к стр. 146 тома I.

193. *Шарло и Берже*—имена известных в то время палачей. Дамьен был казнен Шарло. Впоследствии имя Шарло стало нарицательным именем палача.

— *Картуш*—см. прим. к стр. 126 тома I.

— *Равайак*—см. прим. к стр. 419 тома I.

— *Дерю*—см. прим. к стр. 36 тома I.

— *Автор «Философии природы»*—барон Гольбах (Holbach; 1723—1789).

195. *Генерал Лалли*. Граф Тома-Артюр Лалли, барон де-Толлендаль (de Lally, 1702—1766), губернатор французских владений в Индии; был несправедливо обвинен в измене, добровольно явился в Париж для дачи показаний и после двухлетнего заключения в Бастилии был казнен.

196. *Смертоубийца*. Мы условно перевели этим словом французское «assassineur», употребляемое парижским простонародьем вместо «assassin».

201. *Сен-Фуа*—см. прим. к стр. 426 тома I.

— *Герцог Гиз, властитель Парижа*—см. прим. к стр. 426 тома I.

202. *Бюсси Леклер, Жан (Bussy Leclerc)* во времена Лиги был назначен герцогом Гизом на должность коменданта Бастилии; в 1589 г. заключил в эту тюрьму всех членов парламента, не согласных с мероприятиями руководителей Лиги.

— *Венсенская башня*. Башни Венсенского замка (в окрестностях Парижа) служили в то время тюрьмой.

— *Д'Аржансон*. Повидимому, речь идет о Маркене-Рене-Вуайе д'Аржансоне (d'Argenson, 1652—1721), занимавшем пост начальника полиции, а затем председателя государственного финансового совета и министра юстиции.

203. *Железная маска*. Так назывался таинственный узник, всегда носивший на лице черную бархатную маску. Он прожил в Бастилии с 18 сентября 1698 г. до своей смерти—19 ноября 1703 г.; его похоронили под именем Маркиоли. Вольтер в своем «Веке Людовика XIV» усомнился в подлинности этого имени, и с тех пор было высказано множество различных предположений о личности «Железной маски». Теперь можно считать установленным, что под маской скрывался граф Маттиоли, министр мантуанского герцога; он выдал иностранным

державам тайну покупки Францией Мантуанской крепости и, таким образом, изменил родине и нанес ущерб Франции. В 1679 г. он был схвачен на венецианской территории и заключен в Пиньерольскую крепость (около Турина), затем был отправлен на о. Сент-Маргерит и, наконец, заключен в Бастилию.

207. *Шаритон*—городок под Парижем, в котором находится известное убежище для умалишенных, основанное в 1641 г. и обслуживаемое монахами ордена Шарите. Во времена Мерсье это убежище служило кроме того и тюрьмой для лиц, арестованных по личному распоряжению короля.

— *Мадлен*. Монастырь св. Мадлены основан в начале XVII века. Служил местом заключения женщин дурного поведения, которых называли «мадлонеттами».

— *Сент-Пелаж*—тюрьма; построена в 1665 г.; служила тому же назначению, что и Мадлен.

— *Сальпетриер*—см. прим. к стр. 203 тома I.

215. *Дюкло*—см. прим. к стр. 327 тома I.

— «*Надо подавать*»...— слова Сен-Симона, автора «Мемуаров».

218. *Борегар*, Жан-Никола (Beauregard, 1731—1804)—французский проповедник.

219. *Злословящие англичан*...—т. е. реакционные, дворянские и клерикальные круги. Англия была в то время передовой буржуазной страной и являлась идеалом для французских буржуа (в частности и для Мерсье).

221. *Французская академия* была основана Ришельё в 1634 г.

224. *Патрю*, Оливье (Patru, 1604—1681)—знаменитый французский адвокат, член Французской академии. При вступлении своем в Академию произнес благодарственную речь, которая имела большой успех; с тех пор установилась традиция произносить вступительную речь. Патрю был блестящим оратором; речи его изданы в двух томах в 1732 г.

225. *Лене*, Александр (Lainez, 1650—1710)—французский поэт и ученый; при жизни упорно отказывался печатать свои стихи.

228. *Апеллес и Зевксис*—древне-греческие живописцы (V—IV вв. до н. э.), произведения которых до нас не дошли.

229. *Шпанхейм*, Иезекииль (Spanheim, 1629—1710)— немецкий дипломат и археолог; в 1697—1702 гг. был посланником при французском короле. Оставил ряд научных трудов, среди которых наиболее известен «*Præstantia et usu numismatum antiquorum*» (Рим, 1664).

— *Члены этого учреждения...* Академия надписей— основана Кольбером в 1663 г.; первоначально занималась составлением надписей для государственных памятников и медалей; с 1701 г. выделилась в самостоятельное научное учреждение, занимающееся вопросами истории и археологии.

— *Между соседями, которых разделяет в Лувре только тоненькая стенка.* Академии заседали в то время в Луврском дворце (см. прим. к стр. 97 тома I).

232. *Енох*—по Библии, сын Каина.

233. *Гвоздари избрали покровителем св. Клу.* «Cloud» (клу) по-французски означает «гвоздь». Клу (522—560), сын орлеанского короля Хлодомира, основал в окрестностях Парижа монастырь, получивший назв. Сен-Клу.

236. *Шамуссе*, Клод-Эмбер Пиаррон (de Chamousset, 1717—1773)— французский филантроп. Основал образцовую больницу, где каждому больному предоставлялась отдельная кровать (новшество по тому времени), учредил кассу взаимопомощи, ввел страхование от огня, подал мысль об учреждении городской почты.

239. *Дерю*—см. прим. к стр. 36 тома I.

240. *Литльтон* — повидимому, Джордж Литльтон (Littleton), английский поэт и министр, современник Мерсье.

243. «*Nec temere, nec timide*»—«Не с безрассудной храбростью, но и без робости» (*лат.*)

247. *Одино*, Никола-Медар (Audinot, 1732—1801),— артист и драматург. В 1769 г. организовал предствление марионеток на Сен-Жерменской ярмарке, причем куклы пародировали артистов Итальянской комедии; представления эти имели большой успех. Вскоре Одино построил на Сен-Мертенском бульваре театр «Амбигю Комик», где сначала играли куклы, а затем стали выступать дети, разыгрывавшие пантомимы. Впоследствии в его театре впервые стали ставиться мелодрамы, называвшиеся тогда «пантомимами с диалогом» («*pantomime dialoguée*»).

247. *Николе*—см. прим. к стр. 356 тома I.

— *Колизей*—см. прим. к стр. 32.

— *Ваксхолл*—парк, открытый в Париже в XVIII веке в подражание знаменитому лондонскому увеселительному парку.

— *Гимар*, Мари-Мадлен (Guimard, 1743—1816)—знаменитая французская балерина.

249. *Цвета casa-dauphin* и *opéra brulé* (сгоревшей оперы). Мода на эти цвета была связана с рождением дофина и пожаром Оперного театра.

Прюн-мсье—сорт слив.

253. *Начиная с 1699 года...* В 1699 г. альманах, основанный в 1682 г., был посвящен Людовику XIV и стал называться *королевским*.

256. «*Меркюр де Франс*» попал в руки одного *педанта*. Повидимому, Мерсье имеет в виду Мармонтеля (1723—1799), редактировавшего этот журнал в 1750—1760 гг. См. также прим. к стр. 212 тома I.

— *Панкук* (Panckoucke) — семья книгоиздателей. В данном случае речь идет о Шарле-Жозефе Панкуке (1736—1798), издателе и литераторе, несколько лет владевшем «Меркюр де Франс». Когда Мерсье говорит о Панкуке как о писателе, он называет его *господином* Панкуком, подчеркивая тем самым, что литераторы достойны особого уважения.

257. *Реналь*—см. прим. к стр. 455 тома I.

258. *Зульцер*, Иоганн-Каспар (Sulzer, 1716—1779)—немецкий врач, введший в Германии предохранительные прививки.

263. *Меропа*—героиня одноименной трагедии Вольтера (1743).

268. *Сын Франции*—титул сыновей французского короля.

270. *Сатурналии*—праздник у древних римлян в честь Сатурна (покровителя земледелия). Сатурналии приходились на время зимнего солнцестояния и продолжались семь дней, на протяжении которых рабы уравнивались в правах с хозяевами.

273 *Брак с левой руки*—брак, не равный в социальных отношениях.

274. *Тюрень*, Анри де-Ла-Тур д'Овернь, виконт (Ту-

генне, 1611—1675)—один из крупнейших французских полководцев.

276. *«Аталиа»*—трагедия Расина (1702). *«Жанно»*—комедия Дорвиньи (см. прим. к стр. 406 тома I). *«Кастор и Поллукс»*—опера Рамо (1737).

283. *Филипп, герцог Орлеанский*—регент, правивший Францией за несовершеннолетнего Людовика XV (с 1715 по 1723 г.).

285. *Панье*—то же, что кринолин.

298. *Дора, торговец гравюрами*. Повидимому, Мерсье намекает на поэта Клода-Жозефа Dorat (1734—1780), имевшего обыкновение издавать свои посредственные стихи с многочисленными превосходными гравюрами Марийе и Эйзена (Marillier, Eisen); благодаря гравюрам эти издания ценятся и поныне.

299. *Дидо* (Didot)—семья книгоиздателей.

— *Граф д'Артуа* (1757—1836)—брат Людовика XVI и Людовика XVIII, впоследствии король Карл X (1824—1830).

302. *Тулузская академия фонаричков* существовала с начала XVIII века. Члены Академии собирались вечером и расходились по домам с фонарями в руках (отсюда и название). Академия ежегодно устраивала конкурс на сочинение сонета в честь короля по заданному буриме. Автор лучшего сонета награждался серебряной медалью.

— *Элиан*, Клавдий (II—III вв. н. э.)—греческий писатель-компилятор.

303. *Маршал Ришельё*, Луи-Франсуа-Арман де-Виньеро дю-Плесси, герцог (Richelieu, 1696—1788)—внучатый племянник кардинала Ришельё, полководец, дипломат. Прославился своими любовными похождениями, за которые трижды сидел в Бастилии, а также злоупотреблениями во время губернаторства в провинции Гиен (Жиронда).

305. *Сошелет в Канаду*. Канада была занята Францией в начале XVI века, но усиленной колонизацией этой страны французское правительство занялось лишь в XVII веке. В 1763 г. в итоге Семилетней войны Канада отошла к Англии.

— *Томэ*—см. прим. к стр. 169.

308. *«Ibam forte via sacra...»*—цитата из сатиры Горация (I, 9, ст. 1); перевод Валерия Брюсова.

— *Журден*—герой комедии Мольера «Мещанин во дворянстве» (1670).

— *Берлина*—род кареты.

311. *Святая стекляшка*—чаша, которую, по преданию, пользовался Реми при крещении Хлодвига I, в 496 году. Чаша хранилась в Реймском соборе; во время революции (1793) она была разбита.

313. *Аллоброги*—кельтское племя, населявшее юго-восток древней Галлии, т. е. нынешнюю Савойю.

320. *«Ученые женщины»*—пятиактная комедия Мольера (1672).

321. *В 1778 г. Вольтер приехал в Париж*—см. прим. к стр. 436 тома I.

324. *Мсье и Мадам*—титулы младшего брата короля и его жены.

326. *Табуреты у короля, королевы*. По придворному этикету, сидеть в присутствии короля или королевы имели право только герцогини; это право называлось «droit du tabouret».

328. *Антрме*—первое блюдо, подаваемое за обедом или ужином (помимо закусок).

332. *Пармантье*, Антуан-Огюстен (Parmentier, 1737—1813)—французский филантроп и агроном; распространил во Франции культуру картофеля.

333. *Триптолем* (греч. миф.)—Элевсинский царь; изобрел плуг, научился у Цереры земледелию и в свою очередь обучил ему своих подданных.

— *Ленге*—см. прим. к стр. 276 тома I.

334. *Батат*—растение из семейства вьюнковых, с мучнистыми клубнями.

335. *Спички*. В то время спичек не было, их заменяли лучины, пропитанные серой и загоравшиеся только от соприкосновения с огнем. Такой «спичкой» можно было пользоваться несколько раз. Еще при жизни Мерсье (1809) был изобретен способ воспламенять такую лучину путем погружения ее в концентрированный раствор серной кислоты. Самовозгорающиеся (от трения) спички появились лишь в 1832 г.

338. *Рождение дофина*—т. е. старшего сына Людовика XVI. Родился в 1781 г., умер в восьмилетнем возрасте.

340. *Убежище младенца Иисуса* было основано аббатом Жаном-Батистом Ланге (Languet, 1675—1750), которого современники обвиняли в корыстных коммерческих операциях. Убежище было предназначено для больных женщин; призываемые вырабатывали кожаные перчатки, вошедшие в моду среди парижанок и дававшие убежищу громадный доход.

343. *Мерлан*—прозвище парикмахеров. Когда носили пудренные парики, парикмахеры бывали обычно осыпаны пудрой, что и дало повод к сравнению их с рыбой, посыпаемой мукой перед жарением.

347. *Гонесские булочники*. Гонес—местечко к северу от Парижа, славившееся пекарями.

351. *Грипп*. «Grippe» означает по-французски «хватать». Отсюда игра слов.

354. *Пасси, Отёй, Венсен*—предместья Парижа; ныне входят в черту города.

358. *Двадцать четыре часа*—см. прим. к стр. 134.

360. *Муха из басни*. Имеется в виду басня Ла-Фонтена о мухе, которая страшно суежилась, воображая, что помогает лошадям тащить в гору тяжелый дилижанс («Басни», VII, 9).

371. *Бурсо*, Эдм (Boursault, 1638—1701)—французский комедиограф, соперник Мольера.

— *Де-Визе*, Донно (de Visé, 1638—1710)—французский писатель, основатель журнала «Меркюр Галан».

— *Котен*, Шарль, аббат (Cotin, 1604—1682)—французский проповедник и писатель.

372. *Партер*. В те времена в партере не было кресел или скамей: зрители стояли. Здесь собиралась самая требовательная публика—литераторы, учащаяся молодежь, небогатая буржуазия,—все истинные любители и знатоки театрального искусства. Партер шумно высказывал свое одобрение или неодобрение, а актеры внимательно прислушивались к суждению собравшейся здесь публики.

— *Добрая служанка Мольера*. По преданию, Мольер имел обыкновение читать свои новые произведения своей служанке.

373. ...*посмеяться, подобно Демокриту*. Мерсье намекает на комедию Реньяра «Влюбленный Демокрит» (1700). В последней сцене Демокрит отклоняет предло-

жение афинского царя остаться при его дворе и удалится, чтобы вволю посмеяться над смешными сторонами придворной жизни.

376. *Корпорации*. В дореволюционной Франции все ремесленники были объединены в корпорации, которых насчитывалось до ста десяти. Заниматься каким-либо ремеслом мог только член корпорации. Функции между отдельными корпорациями (даже смежными) были строго разграничены; нарушение интересов другой корпорации каралось штрафом. Корпорации угнетали мастеровых, вмешиваясь даже в личную жизнь своих членов; например, мастеровой имел право жениться, только став мастером. Начиная с 1614 г., третье сословие неоднократно ходатайствовало об уничтожении корпораций. В 1776 г. Тюрго сделал попытку провести реформу, но парламент отклонил его законопроект, согласившись на роспуск лишь двадцати одной корпорации. Остальные были укрупнены, причем доступ в них был значительно облегчен. После этой реформы двадцать профессий были объявлены свободными; ими мог заняться всякий желающий. Это право было предоставлено цветочникам, башмачникам, учителям танцев, отходникам, рыболовам-удильщикам, садовникам и т. д.

377. *Катина*, Николà (Catinat, 1637—1712)—один из крупнейших полководцев Людовика XIV, прозванный солдатами «отцом мысли» («le père de la pensée»).

378. *Фейерверк Мира 1763 года*—т. е. по случаю так называемого «поворного (для Франции) мира», которым кончилась Семилетняя война.

379. *Каменоломни, о которых мы уже говорили*—см. главу 5.

380. *Мюи*—старинная французская мера жидкости и сыпучих тел; парижское мюи равнялось 18 гектолитрам.

382. *Аббат д'Экпильи*, Жан-Жозеф (d'Expilly, 1719—1793)—выдающийся французский географ, автор «Географического, исторического и политического словаря Галлии и Франции» (1762—1770).

383. *Вобан*, Себастьян Ле-Претр (de Vauban, 1633—1707)—французский маршал и военный инженер. Подвергся опале за представленный Людовику XIV проект сокращения налогов.

384. *Пинта*—старинная французская мера жидкостей; в Париже равнялась 0,93 литра.

393. *Поле*, Жан-Жак (Paulet, 1740—1826)—французский врач, изучал главным образом оспу. Кроме того, занимался изучением грибов и написал о них несколько книг, в том числе классический «Трактат о грибах» (1793).

395. *Град*. В подлиннике—игра слов, основанная на том, что «grêlé» означает и побитый градом и «рябой» (от оспы).

— *Гельвеция*—древнее название Швейцарии.

398. *Предпоследняя война*—так называемая «война за Австрийское наследство», в которой приняло участие большинство европейских государств (1741—1748).

399. *Войны при Людовике XIV*. При Людовике XIV Франция участвовала в нескольких войнах (с Испанией; с Голландией; с Аугсбургской лигой, заключенной между Австрией, Испанией, Швецией и рядом германских княжеств; третья война с Испанией). Войны эти, значительно возвысив престиж Франции, сильно подточили ее экономическое благосостояние.

400. *Евгений*. Имеется в виду принц Евгений Савойский (de Savoie-Carignan, 1663—1736), один из крупнейших полководцев своего времени. Поссорившись с Людовиком XIV, он перешел на службу к Австрии (1683) и разбил французскую армию при Уденарде (1708) и Мальплаке (1709).

402. *Remontrances*. В дореволюционной Франции насчитывалось 12 провинциальных парламентов, являвшихся высшим судебным органом в данной провинции. Юрисдикция парижского парламента распространялась на все королевство. Кроме того, на парижском парламенте лежала обязанность «регистрировать» королевские указы, причем в случае несогласия с указом парламента имел право представить королю свои возражения, которые назывались *remontrances*.

403. *Основание Французской академии*—Французская академия основана кардиналом Ришельё в 1634 году.

— *Симон Морен* (Morin, ум. 1663 г.), сектант. Несколько раз подвергался тюремному заключению; а в 1663 г. был приговорен к сожжению на костре, как неисправимый еретик. Издал книжку «Мои мысли» (1647).

403. *Люлли*, Жан-Батист (Lulli, 1633—1687)—франц. композитор, родом итальянец; автор нескольких опер.
— *Кино*, Филипп (Quinault, 1635—1688)—французский драматург, автор нескольких оперных либретто.

404. *Буало*... написал *плоскую сатиру*. Имеется в виду VII сатира Буало, в которой он утверждает себя как сатирического поэта (1663).

— *Расин*... сочинял *трагедию*. В 1663 году Расин написал свою первую трагедию «Братья-соперники».

— *Ифигения*—героиня одноименной трагедии Расина (1674).

— *Калхас*—греческий прорицатель, участник троянской войны, потребовавший, чтобы Ифигения была принесена в жертву богам.

— *Де-Ла-Барр*—см. прим. к стр. 61.

— *Дерю*—см. прим. к стр. 36 тома I.

406. *Прокурорам не очень-то по вкусу «возражения»*—потому что в отличие от частных тяжб составление «возражений» не давало им дохода.

407. *Канцлер Мопу*—см. прим. к стр. 151 тома I.

411. *Список бенефиций*. Согласно конкордату 1516 г., право распределять награды (бенефиции) среди французского католического духовенства было предоставлено французскому королю, который обычно поручал это дело придворному духовнику («grand aumônier»).

— *Триденский собор*—см. прим. к стр. 224 тома I.

412. *Мсьё, Мадам*—см. прим. к стр. 324.

413. *Швейцарцы* (Cent-Suisses)—солдаты личной охраны короля.

— *Королевские телохранители*—личная охрана короля, состоявшая из представителей высшего дворянства.

— *Карл IX*—французский король с 1560 по 1574 г.

— ...*шесть гильдий*. Одновременно с сокращением числа ремесленных корпораций, реформа Тюрго предусматривала разделение торговцев на шесть гильдий (по признаку коммерческой специальности).

414 ...*усмотрел в нем только шута*...—Намек на слова Вольтера: «Рабле очень хорош в своем роде, но с нас вполне достаточно одного такого забавника».

— *Ойль-де-бёф* (буквально «бычий глаз»)—приемная в Версале, куда выходил к собравшимся вельможам

король. Приемная освещалась одним единственным овальным окном; отсюда и название.

414 ...*перед Солнцем*, т. е. перед королем.

417. *Царствующая королева*—т. е. Мария-Антуанетта.

— *Господин Шерлок*—повидимому, английский художник Sherlock (1738—1795), учившийся одно время в Париже у Ле-Ба.

418. *Кавалеры ордена Сен-Луи*—см. прим. к стр. 146 тома I.

— *Ночной горшок*. Так назывались наемные экипажи, обслуживавшие окрестности Парижа.

422. *Люксембург*, Франсуа-Анри, герцог (1628—1695)— крупный французский полководец.

423. *Флёри*, Андре-Эркюль (Fleury, 1653—1743)—кардинал, французский государственный деятель; играл руководящую роль при Людовике XV.

442. *Мориц*—т. е. граф Мориц Саксонский (1696—1750), маршал Франции, один из крупнейших полководцев того времени.

— *Ла-Кондамин*, Шарль-Мари (La Condamine, 1701—1774)—французский ученый.

— *Серван*, Жозеф-Мишель-Антуан (Servan, 1737—1807)—французский публицист, прокурор Гренобльского парламента; его брат Жозеф был военным министром в эпоху революции (1792).

— *Ле-Турнёр*, Пьер (Le Tourneur, 1736—1788)—известный французский композитор.

— *Ванло*, Жан-Батист (Vanloo, 1684—1745) и Карл (1705—1765),—французские художники.

— *Верне*, Клод-Жозеф (Vernet, 1714—1789)—французский художник-маринист.

— *Руэль*, Гийом-Франсуа (Rouelle, 1703—1770),—французский химик.

— *Вокансон*—см. прим. к стр. 334 тома I.

— *Дроз*, Жак (Droz, 1721—1790)—швейцарский механик.

— *Сервандони*, Жан-Жером (Servandoni, 1695—1766)—итальянский архитектор и художник; работал главным образом во Франции.

— *Клеро*, Алексис-Клод (Clairaut, 1713—1765)—выдающийся французский математик; восемнадцатилетним юношей был избран членом Академии наук.

442. *Родней*, Джордж (Rodney, 1717—1792)—английский адмирал, участник американской войны.

— *Галлер*, Альбрехт (Haller, 1708—1777)—швейцарский физиолог, поэт, эрудит-классик; противник энциклопедистов.

— *Бонне*, Шарль (Bonnet, 1720—1793)—швейцарский философ и естественник.

— *Густав*—т. е. Густав Ваза (1496—1560), шведский король.

443. *Царь*. Подразумевается Петр I.

— *Лорд Четем*—Вильям Питт-Старший (Pitt, 1708—1778), английский государственный деятель.

446. *Агезилай* (399—361)—спартанский царь; одержал ряд побед над персами, которым принадлежала Фригия.

449. *Раскопки Геркуланума и Помпеи* начались в 1711 г., когда случайно, при рытье колодца, были впервые обнаружены остатки древнего города.

450. *1 ноября 1755 года* в Лиссабоне произошло одно из самых сильных землетрясений, известных в истории.

452. *Гонесские булки*—см. прим. к стр. 347.

457. «*Золотая середина*»—перефразировка стиха из оды Горация: «*Auream quisquis mediocritatem Diligit.*» (II, X, 5).

— *Аббат д'Эспийи*—см. прим. к стр. 382¹.

¹ За перевод латинских цитат и ряд других указаний, касающихся античной культуры, приношу глубокую благодарность Ф. А. Петровскому. Е. Г.

ПЕРЕЧЕНЬ ИЛЛЮСТРАЦИЙ

1. Гуляние в Пале-Рояле. <i>С грав. Дебюкура</i>	16
2. Ярмарочный певец. <i>С грав. Романа по рис. Сека (Гос. музей изобраз. искусств в Москве)</i>	32
3. Площадь Мобер. <i>С грав. Альяме по рис. Жора (Гос. музей изобраз. искусств в Москве)</i>	48
4. Общественный писец. <i>С грав. Буассье</i>	64
5. Спящая красавица. <i>С грав. Авриля по рис. Мерсье (Гос. музей изобраз. искусств в Москве)</i>	80
6. Торговка украшениями. <i>С грав. Видаля по рис. Лоренса (Гос. музей изобраз. искусств в Москве)</i>	96
7. Истинное счастье. <i>С грав. Симоне по рис. Моро младшего (Гос. музей изобраз. искусств в Москве)</i>	112
8. Маскарад. <i>С грав. Моро младшего по его же рис. (Гос. музей изобраз. искусств в Москве)</i>	128
9. Слепая доверчивость. <i>С грав. Аллу по рис. Шено (Гос. музей изобраз. искусств в Москве)</i>	144
10. Знахарь. <i>С грав. Мижг по рис. Тузе</i>	152
11. Кабачок Рампоно. <i>С грав. неизв. художника</i>	160
	487

12. Происхождение живописи. С грав. Уэрие по рис. Шено (Гос. музей изобраз. искусств в Москве)	192
13. Торговка печеными яблоками. С грав. неизв. художника по рис. Грёза (Гос. музей изобраз. искусств в Москве)	208
14. Кофейня. С грав. Сент-Обена	224
15. Поводырь с медведем. С грав. Мижсе по рис. Тузе	240
16. Приключение на балу. С грав. Дюкло по рис. Фрейдеберга (Гос. музей изобраз. искусств в Москве)	256
17. Вход в кабачок Рампоно. С грав. неизв. художника	272
18. Выставка картин в Лувре в 1787 г. С грав. Мартини по его же рис. (Гос. музей изобраз. искусств в Москве)	288
19. У нотариуса. Прерванное бракосочетание. С грав. де-Лоне по рис. Обри (Гос. музей изобраз. искусств в Москве)	304
20. Менуэт новобрачной. С грав. Дебюкура по его же рис. (Гос. музей изобраз. искусств в Москве)	320
21. Советчик в делах туалета. С грав. Вуайе по рис. Лоренса (Гос. музей изобразит. искусств в Москве)	336
22. Модный врач. С грав. неизв. художника	352
23. Венчание бюста Вольтера. С грав. Гоше по рис. Моро младшего	368
24. Лекарь Тома-Великий. С грав. неизв. художника	384
25. Конторка общественного писца. С грав. Гуттенберга по рис. Вилля (Гос. музей изобраз. искусств в Москве)	400
26. Дьячок за обедом. С грав. Дюлюи по рис. Дюмениля (Гос. музей изобраз. искусств в Москве)	416
27. Игроки. С грав. Романе по рис. Вилля Гос. музей изобраз. искусств в Москве).	432
28. Бродячий певец. С грав. Моро младшего	448
29. Немец-знахарь. С грав. Гельмана по рис. Берто	456

ОГЛАВЛЕНИЕ

Часть III

206. Стряпчие. Судебные пристава	11
207. Базош	17
208. Актеры	18
209. Даровые спектакли	22
210. Как объясняются хозяева с кучерами . . .	24
211. Речь, произнесенная в театре Комеди-Фран- сез перед началом дарового спектакля . .	25
212. Рукоплескания	27
213. Любительские спектакли	29
214. Колизей	32
215. Сен-Жерменская ярмарка	33
216. Итальянские актеры	36
217. Бульварные зрелища	37
218. Чтения	39
219. Ростовщики, дающие краткосрочные ссуды	42
220. Шарлатаны	46
221. Стихоплеты	49
222. Каламбуры	52
223. Фейерверки	53
224. Обедни	57
225. Обедня сороки	61
226. Праздник Тела господня	63
227. Исповедальня	65

228.	Свидетельство об исповеди	68
229.	Часовня Сен-Жозеф	69
230.	Протестанты	70
231.	Религиозная свобода	71
232.	Плебеи	74
233.	Поголовная подать	76
234.	Оперные хористки	79
235.	Отращение к браку	81
236.	Под любым названием	82
237.	О некоторых женщинах	83
238.	Публичные женщины	84
239.	Куртизанки	91
240.	Содержанки	92
241.	«Развращенный крестьянин», сочинение г-на Ретифа де-ла-Бретона	93
242.	Балы в Опере	95
243.	Без названия	98
244.	Собачки	100
245.	Самонадеянность	102
246.	Продажа воды	103
247.	Барышни	106
248.	Любовные связи	108
249.	О женщинах	111
250.	Кокарда	116
251.	Развод	—
252.	Контрасты	118
253.	Истерические припадки	119
254.	Об идоле Парижа—о «прелестном»	121
255.	Погребальные шествия	130
256.	Об одном бедняке	135
257.	К богачам	138
258.	Самоубийства	139
259.	Сети Сен-Клу	142
260.	Капиталисты	143
261.	Откупное ведомство	144
262.	Ломбард	146
263.	Монополия	148
264.	Мелочная торговля	150
265.	Фальсификация	153
266.	Нищие	—
267.	Работоспособные нищие	156
268.	Нуждающиеся	159

269.	Отель-Дьё	161
270.	Кламар	165
271.	Подкидыши	166
272.	Королевская лотерея	171
273.	Двусмысленная глава	173
274.	Сожаления, и притом совершенно излишние	179
275.	Пожелание	180
276.	Париж-порт	182
277.	Тюрьмы	186
278.	Смертный приговор	188
279.	Палач	191
280.	Гревская площадь	193
281.	Недоповешанная служанка	198
282.	Бастилия	201
283.	Анекдот	204
284.	Места заключения	207
285.	Подследственные отделения	209
286.	Жизнь сановника	211
287.	Проповедники	216
288.	Англофоб	219
289.	Французская академия	220
290.	По поводу слова «вкус»	226
291.	Академия надписей и изящной словесности	227
292.	Корпорации	230
293.	Прикладчики	232
294.	Булавщики и гвоздари	—
295.	Притеснения прессы	233
296.	Городская почта	234
297.	Должники	240

Часть IV

298.	Возражения	245
299.	Королевский альманах	250
300.	Меркюр де Франс	253
301.	Писатели, родившиеся в Париже	258
302.	Носильщики	264
303.	Дыни	270
304.	Девушка на выданьи	271
305.	Визиты	273
306.	Уединение	275
307.	Афиши	276

308. Картины, рисунки, эстампы и прочее	280
309. Аукционы	282
310. Шляпы	284
311. Свадьбы	288
312. Брак. Прелюбодеяние	293
313. Книги маленького формата	298
314. Мастера письма	301
315. О старинном обществе «Эвр-форт»	303
316. Ворота	307
317. Швейцарец с улицы Урс	310
318. Савойяры	312
318. Отцы и дети	314
320. Светский язык	316
321. Светский тон	317
322. Великосветский тон	319
323. Отмена глупых обычаев	321
324. Поверхностные замечания	323
325. Хлеб из картофеля	332
326. Милостыня	335
327. Приход Сен-Сюльпис	339
328. Убежище младенца Иисуса	340
329. Рекомендательные конторы. Кормилицы	342
330. Часы дня	343
331. О воскресеньях и праздниках	351
332. Карнавал	355
333. Современные трагедии	358
334. Современные комедии	366
335. Где Демокрит?	372
336. Мосты	377
337. Потребление	380
338. Балконы	384
339. Фальшивые волосы	387
340. Поставщики	389
341. Новая штукатурка	390
342. Оспопрививание	392
343. Площади	396
344. Парламент	401
345. Духовенство	407
346. Версальская галлерей	412
347. О Дворе	420
348. Крайности сходятся	422
349. Светские мудрецы	427

350. Апология литераторов	428
351. Литературные ссоры	430
352. Изящная словесность	436
353. Три короля	440
354. О влиянии столицы на провинцию	443
355. Что станется с Парижем	445
356. Предположение	451
357. Ответ газете «Курье де л'Ероп»	453
Комментарии	465
Перечень иллюстраций	487

Редактор Л. Я. Рейнгард
Художественная редакция
М. П. Сокольников.
Лит.-техническ. наблюдение
В. В. Чешихина
Техред. Л. А. Фрязинова
Наблюдение на производстве
М. И. Козлов

Сдано в набор 1. IX. 35. Под-
писано в печать 25. V. 36.
Тир. 5.300. Уполн. Главли-
та Б 21345. Зак. тип. 1120.
Зак. «Ас» 184. Инд. А-1.
Бум. 82×110 ¹/₃₂. П. л.
15¹/₂+29 вкл. У.-а л. 18,2

Отпечатано в 16-й типогра-
фии треста «Полиграфкни-
га», Трехрудный, 9

Цена Р. 8.00
Переплет Р. 2.00